АЛЕКСАНДР ГЕНИС

Обратный адрес

АВТОПОРТРЕТ

РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Новая книга Александра Гениса не похожа на предыдущие. Литературы в ней меньше, жизни больше, а юмора столько же. «Обратный адрес» – это одиссея по архипелагу памяти. На каждом острове (Луганск, Киев, Рязань, Рига, Париж, Нью-Йорк и вся Русская Америка) нас ждут предки, друзья и кумиры автора. Среди них – Петр Вайль и Сергей Довлатов, Алексей Герман и Андрей Битов, Синявский и Бахчанян, Бродский и Барышников, Толстая и Сорокин, Хвостенко и Гребенщиков, Неизвестный и Шемякин, Акунин и Чхартишвили, Комар и Меламид, «Новый американец» и радио «Свобода». Кочуя по своей жизни, Генис рассматривает ее сквозь витраж уникального стиля: точно, ярко, смешно – и ничего лишнего.

- Александр Генис
  -
  -
  - Янтарный трактор
    - Евбаз,
    - Луганск
    - Луганск
    - Рязань
    - Суворова, 8,
    - Висвалжу,
    - Юрмала,
    - Замок,
    - Саласпилс,
    - Колония Лапиня,
    - КГБ,
    - Вокзал,
    - Крым,
    - Лимб,
    - Брест,
  - Amerika
    - Вена,
    - Рим,
    - Бродвей,
    - Бруклин,
    - «Новое русское слово»,
    - Париж,
    - Таймс сквер, 1,
    - «Новый американец»,

        - Клойстерс,
        - Вернисаж,
        - «Свобода»,
        - Русская улица,
        - Родина,
        - Родина,
    - Третий берег
        - Брайтон-Бич,
        - Москва,
        - СПб,
        - Ноев ковчег,
        - Гарлем,
        - Нирвана,
        - Близнецы,
        - Лонг-Айленд,
        - Глобус,
        - Лес,
        - Улица Довлатова,
    - Фотографии

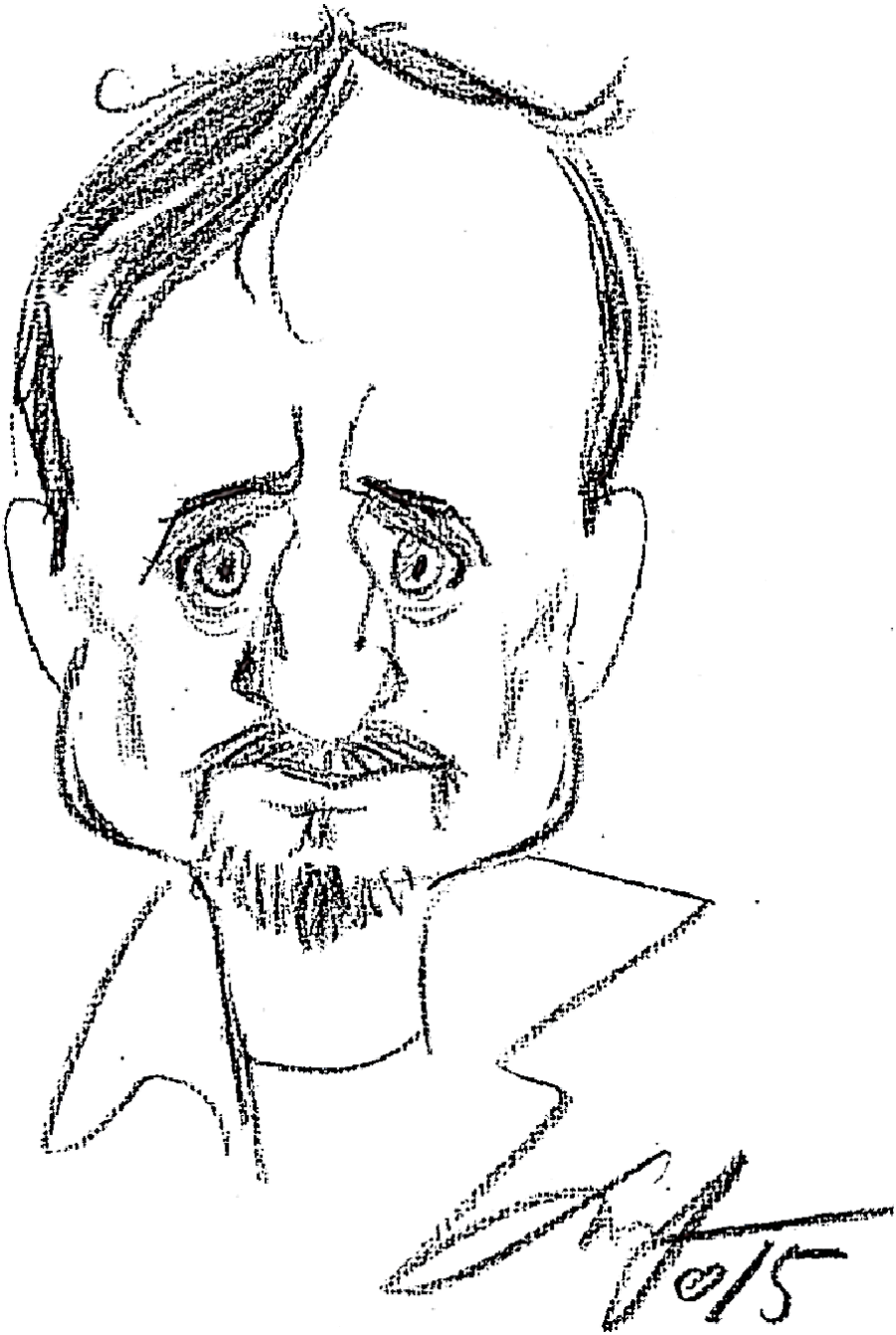
Александр Генис
Обратный адрес
Автопортрет

© Генис А. А., 2016.
© ООО «Издательство АСТ», 2016.

В книге использованы фотографии Зинаиды Терентьевой, Марианны Волковой, Валерия Плотникова, Льва Полякова, Нины Аловерт, Ирины Генис и фото из личного архива автора.

* * *

Посвящается памяти моего отца
Александра Гениса-старшего



Шарж Юрия Макарова

Янтарный трактор

Евбаз,
или
Три сестры

Я привез жену в Киев, чтобы попрощаться с городом перед отъездом в Америку.

– Корни, – объяснил я Ире, когда мы добрались до улицы Чкалова.

– Похоже, – сказала она, разглядывая желтый домик, по уши, как в сказке, вросший в крутую улицу.

В него можно было войти, перешагнув подоконник, но я зашел со двора. Тут все было на месте: и хибарка сортира на горе, оказавшейся холмиком, и развесистая шелковица с уже черными плодами. Таким я все это увидел, впервые навестив бабушку. Но теперь мне никак не удавалось понять, как в этом кукольном пространстве умещался целый еврейский мир, который был моим ранним детством.

Нашей была одна комната. Когда-то в ней жили все: хозяйка-бабушка, вторая бабушка, мама с папой, брат-младенец и квартирантка с виолончелью. Спали в два этажа – и под столом, и на столе. Но я застал относительный простор, который мы делили уже с одной бабушкой и лимонным деревцем, дававшим бледный и одинокий плод раз в год, зато зимой. Другим любимцем был колючий куст лечебного алоэ. Он служил панацеей семье, любовно лелеющей свои хвори.

У меня, правда, ничего не болело, но бабушку это не останавливало. Она лечила меня от недоедания калорийной бомбой, называвшейся на том же кукольном языке «гоголь-моголь». Желтки, какао, сахар, сливочное масло и чайная ложка считавшегося лечебным коньяка перетирались в пасту элегантного цвета беж. Поскольку этим кормили на завтрак, обед меня не интересовал. Пугаясь, бабушка удваивала дозу, и есть хотелось еще меньше, что не могло ее не тревожить.

На Чкалова вся жизнь вертелась вокруг еды, заменявшей религию и служившей ею. Рассыпавшаяся под ударами светской истории и давлением державного атеизма старая вера сохранилась только за столом, где все праздники – от Пейсаха до Седьмого ноября – отмечались одинаково: фаршированной рыбой, к которой подавалась заткнутая газетой давно початая бутылка с настойкой на лимонной корочке.

За окном открывалась киевская жизнь. Из вечно мокрой Риги она казалась южной и красноречивой. Бабушка всех знала и

проводила время в разговорах, высунувшись по пояс из окна. Через него шла торговля съестным. Лучше всего была бледно-розовая земляника с дурманящим ароматом. Ее продавали стаканами и ели со сметаной, отчего обед меня привлекал еще меньше. Обычно он был связан с курами. С базара их приносили живыми к соседу-шойхету. Престарелый резник уносил жертву в свою каморку и выносил обратно обезглавленный труп. Я уже понимал, что казнь имела отношение к богу, но еще не знал – к какому, предпочитая гоголь-моголь и землянику.

Напротив палача жила богатая Сима: у нее был ковер. Муж Симы служил билетером в Народном театре, что открывало не понятное мне (но не ему) щедрое поле для коррупции. Во всяком случае, в их комнате был свой сортир, пока остальные пользовались нужником во дворе.

Симу, конечно, недолюбливали. Впрочем, в этом доме, переполненном, как трюм корабля с эмигрантами, трудно было не ссориться, чаще всего – на заставленной керогазами кухне. В канун праздников она становилась полем боя. Хозяйки сталкивались лбами, готовя фаршированную рыбу из карпов, плескавшихся у всех под ногами в жестяных тазах. (Потомки скотоводов, евреи любили пищу свежей, желательно – живой).

Многим позже я видел нечто подобное у Босха и Германа. Теснота, возведенная в квадрат, взламывала социальные молекулы, вынуждая к телесному общению на следующем, атомарном уровне. Кажется, так устроена ядерная бомба, но тогда я о ней еще не знал. У меня не было букваря. Он полагался только первоклассникам, а до них мне было еще невыносимо далеко – года полтора. Читать я учился по вывескам, когда меня водили гулять.

Чкалова напоминала горное ущелье. Во-первых, я был маленьким, во-вторых, в Латвии нет гор, только дюны, в-третьих, улица и впрямь крутая. В ливень по ней катился мутный вал с пеной окурков. Однажды он сшиб меня с ног и вынес в громадную лужу на площади Победы. В ясную погоду мы ходили на нее есть истерически вкусные кавказские огурчики. На площади всегда шла стройка. Посередине воздвигали цирк, на углу – кинотеатр. Его еще строили, а вывеска уже горела. Она стала первым словом, которое я прочел сам. Оно было украинским: «Перемога». На самом деле все это называлось «Евбаз», и я даже не подозревал в нем аббревиатуру.

2.

Я хотел, чтобы отец назвал свои мемуары «Евбаз», но он, не слушая моих советов, как, впрочем, и я – его, гордо вывел на переплете скоросшивателя «Mein Kampf». Со временем в нем собралось 900 страниц. После смерти отца она стала моей родовой книгой, и я заглядываю в нее каждый раз, когда хочу освежить рецепт или набраться мужества.

Отец никогда ни о чем не жалел. В рассказе Гайдара «Горячий камень», с которым я познакомился в букваре, когда наконец до него добрался, мальчик находит волшебный валун, возвращающий молодость каждому, кто на него сядет. Школьник, нашедший Горячий камень, отказался от этой перспективы, не желая заново остаться на второй год в первом классе. Тогда он привел к камню израненного красноармейца, но и тот решил не отдавать искалечившую его боевую юность.

– Ты был сел на Горячий камень? – спрашиваю я всех, кто подвернется.

– Ни за что, – с ужасом отвечают мне.

Что и не удивительно. Кант говорил, что никто не согласился бы родиться, зная, что нас ждет. Только отец, ни на секунду не задумавшись, спросил: «Где твой камень?» Я не знал к нему дороги, и отец вернулся обычным путем – мемуарами.

Исходной точкой в них был Еврейский базар, вокруг которого жил и кормился весь иудейский рукав моей семьи. В описании отца Евбаз напоминал «Сорочинскую ярмарку». На нем торговали всем, что покупалось, и каждый товар считался нелегальным, ибо незаконной была сама частная торговля. Другой, однако, почти не было, и власти ограничивались поборами. Восторг у отца вызывало съестное. Роняя слюну на страницу, он вспоминал деревенских баб, усевшихся ватными задами на ведрах с огненным борщом – чтоб не остыл.

– Вкуснее, – заключал отец, – не было и не будет.

Мемуары отца переполнены лакомствами, что прекрасно иллюстрировало его мировоззрение. Отец искренне не понимал, как можно винить мир в наших неурядицах. И ни война, ни политические разногласия с режимом, каждый раз заканчивающиеся уверенной победой режима, не отменяли его веры в то, что жизнь состоит из вкусных вещей и блондинок, пусть и крашеных.

– Родись я женщиной, – говорил отец, – менял бы масть через неделю.

Евбаз кормил всех: покупателей, продавцов, милиционеров. Бабушка устроилась лучше многих, потому что шила сорочки. Она накладывала выкройку на простыню, и вырезала перед и спинку рубашки. Потом края аккуратно сшивались, но так, что

влезть вовнутрь мог только выпиленный из фанеры человек, вроде тех, с которыми снимают простаков на курортах. До смерти отца мучила загадка: что делали с этими рубахами трехмерные покупатели, но это осталось неизвестным, потому что никто не жаловался.

Искусство кройки и шитья, хоть и в сокращенном виде, бабушка переняла от своего отца и моего прадеда Соломона. Предприимчивый и религиозный портной, он вел тихую еврейскую жизнь и знал по-русски только слово «мадам», с которым обращался ко всем клиенткам, независимо от возраста. В нэп прадед успешно торговал дамским платьем и держал на Евбазе магазин-«рундук». Это архитектурное ископаемое представляло собой небольшой куб, глухо запирающийся со всех сторон на случай погрома. Такие лавки я встречал во Флоренции, на Понте-Веккьо, но у евреев Киева не было выбора между гвельфами и гибеллинами. Им доставалось от тех и других.

Когда нэп кончился, власти отобрали у прадеда пятикомнатную квартиру с отдельной каморкой для прислуги. Теперь в людской жили все мои предки. Ее, последнюю ценность буржуазного быта, любили больше жизни. Поэтому, отправляясь в эвакуацию, Соломона оставили сторожить комнату. Расчет был на то, что фашисты, как бы их ни чернила известная враньем советская власть, не тронут беспомощного старика, умеющего говорить лишь на своем, похожем на немецкий, языке.

Прадеда расстреляли в Бабьем Яру. Туда отец возил меня, когда я уже был школьником. Как все еврейское, овраг считался полуподпольной достопримечательностью, но в Киеве все знали к нему дорогу.

3.

Евбаз – болото города, куда стекались окрестные улицы. Кроме них были еще и проходные дворы. Они вели в переулки, населенные родственниками. На Воровского жила тетя Сарра, на Саксаганского – тетя Феня, бабушка, как уже говорилось, – на Чкалова.

В отличие от чеховских, эти три сестры не хотели в Москву. Они выходили из дома только на Евбаз и друг к другу. Чаще всего собирались у старшей, на Чкалова. Усевшись под лимонным деревцем за покрытым кружевной дорожкой столом, они, словно ведьмы в «Макбете», колдовали над картами.

Бабушка умела гадать. Она зарабатывала этим на жизнь, прибившись в эвакуации к цыганскому табору. Будущее сестер

мало волновало. Они предпочитали настоящее, считая, что любые перемены ведут к худшему.

В этом сказывалась национальная защитная реакция. Заранее оплакивая грядущие беды, евреи вырывали у судьбы жало, лишая ее преимущества внезапной атаки. Мне это тоже знакомо. Я избегаю покупать в кредит, чтобы не оказаться заложником у будущего. Зато отец не верил в унылую еврейскую предусмотрительность и всегда жил в долг. Хотя родная история и личная биография учили его другому, он дерзко гнал зайца дальше, веря, что будущее расплатится за настоящее, включая автомобиль «Победа».

Погадав, сестры принимались за еврейский преферанс, хитроумную и знаменитую еврейскую игру «66», которой часто развлекались в рассказах Шолом-Алейхема. Еще не научившись читать, я уже умел считать взятки, и меня брали четвертым. По-настоящему увлекательной игру делало умение жульничать – «махерить». Самая простодушная, тетя Сарра, обманывала виртуозно, тетя Феня всегда попадалась, бабушка была жандармом игры. Собственно, она всех держала в страхе, кроме нас с отцом. Меня она обожала как маленького, его – боготворила как большого.

Отец и правда был выше всей своей неказистой родни, особенно в фуражке. Хотя форма напоминала военную, отец преподавал кибернетику в штатском учреждении, которое называлось Институтом гражданской авиации. Но родственники не вникали в подробности и тайно считали отца генералом. Он снисходил и не спорил.

Вырвавшись с Евбаза, отец возвращался туда, как в детство – и свое, и человечества. Архаический мир Евбаза был прост и делился на два. Одна часть – знакомая, своя. От другой – нееврейской – не стоило ждать ничего хорошего. Сплошной и враждебный космос гоев, в котором нечем дышать и нечего делать. Перемена власти ничего в нем не меняла. Как бы ни называлась революция, она норовила отобрать у евреев жизнь и деньги.

Отец взорвал эту устоявшуюся за последние несколько тысяч лет систему, когда привел на Чкалова зеленоглазую блондинку Ангелину Бузинову, мою маму. Не знаю, верили ли мои родичи в Бога (я и про себя это еще не выяснил), но они блюли незыблемость рубежей между двумя мирами. Вынужденные переступать границы в той короткой и неплодотворной общественной жизни, которую они вели, евреи отказывались впускать чужих в круг, замкнувшийся еще во времена первого Храма.

Другими словами, русская жена была катастрофой для семьи. Явление мамы произвело землетрясение, спутавшее контурную карту еврейской жизни. Но обратного пути уже не было – мама была беременна моим братом. Не в силах сделать из мамы еврейку, три сестры выбрали паллиатив, научив ее готовить (и как!) фаршированную рыбу. Так маме нашли нишу попутчика в сложном и витиеватом еврейском мире, где каждый знал свое место, хотя и претендовал на чужое.

В Киеве строгая сословная спесь отделяла евреев с Подола от тех, что с Евбаза. В табели о рангах семья балагула стояла ниже дочери портного, знавшего русское слово «мадам». Это выяснилось, когда засидевшуюся в девках тетю Сарру удалось выдать за дядю Колю. Мало того, что он был с Подола, он еще и пил, вливая целую бутылку «Шартреза» в прямое горло.

На их свадьбе был Каганович. Точнее – его брат, оказавшийся то ли родней, то ли соседом жениха. На праздник он пришел с телохранителем. Поэтому первый тост был за Сталина, второй – тоже. Когда кричали «горько», гости смотрели на Кагановича, который в ответ кивал и улыбался. Несмотря на мезальянс, брак удался. Сарра любила мужа и сошла с ума, когда он умер.

Но задолго до этого я жил у них в гостях. К тому времени Евбаз уже окончательно превратился в площадь Победы с одноименным кинотеатром. Цирк наконец достроили, а евреев расселили в новостройки. Дяде Коле и тете Сарре досталась отдельная квартира, состоящая из одной по-прежнему маленькой комнаты. С 6 утра до полуночи в ней пел и рассказывал репродуктор. Сперва мне это мешало, но вскоре я привык жить с черным громкоговорителем, никогда не оставлявшим нас наедине с лишними мыслями.

Попав в новую среду, старики забыли дорогу к Евбазу и никогда туда не возвращались. Оставшись без тех немногих дел, которые у них были, они сидели во дворе на скамейке, заговаривая с каждым, кто оказывался в пределах слуха. Хотя я не пропускал ни слова, мне не восстановить эту бесконечную, исчерпавшую их старость беседу. Они обсуждали услышанное из репродуктора, ловко выбирая лишь то, что касалось евреев: Хрущев, ООН, Насер, Израиль. Еврейская тема была настолько захватывающей, что сюжет становился лишним. Их речь, свободная и бессмысленная, текла, как река в равнинной местности. Но на воду, как известно, смотреть всегда интересно, и слушая взрослых, я постигал риторику от обратного.

Луганск
или
Тени забытых предков

Задолго до того, как у меня появились деньги, я научился обходиться без них, путешествуя на попутных машинах по всей стране – от Белого моря до Черного, от Волги до Карпат, от весны до осени.

Уйдя в народ, я не нашел в нем ничего плохого. Все, кто сажал меня в кузов или кабину, были добры и приветливы. Другие, надо полагать, не останавливались, и их можно понять. В те годы я походил на химеру. Юная борода упиралась в небо, нос загибался клювом, ветер раздувал вороную гриву, копыта и хвост скрывала плащ-палатка. Завидев меня в сумерках, бабки крестились. Но и они угощали своим, а не купленным, хлебом и парным, отдающим домашним зверем, молоком, как это случилось в степи, где мы с братом заночевали в палатке, свернув с шоссе Харьков – Ростов.

Впервые попав в степь, знакомую исключительно по Гоголю и Чехову, я оробел от упраздняющего смысл простора и пронзительно горького запаха трав. Судя по карте, всего в 20 километрах стоял Луганск, но мы не решились в него заехать – он был городом ненашего детства. Привыкнув к нему, как к сказкам, мы боялись его не узнать, не понять и не принять.

Мама Луганск не выносила, но её мать, а моя бабушка Анна Григорьевна, не могла без него обойтись, и каждое лето отправлялась восвояси, чтобы пожить по-человечески, а не так, как в Риге. С трудом научившись писать, не взирая на грамматику, она каждую неделю отправляла по толстому письму родне, мучаясь, как вся страна, с адресом. Ее город дважды переименовали в Ворошиловоград, и дважды он вновь становился Луганском. Бабушке было все равно. Политику она до поры до времени не понимала, а понятие «национальность» исчерпывалось смутной категорией «наших», исключавшей, как это выяснилось в Риге, латышей и включавшей всех остальных, прежде всего – шахтеров, которых она знала по кино и луганским скульптурам.

В городе бабушка тосковала по земле, потому что родилась в деревне. Она называлась Алексеевка. Ее деда, а моего прапрадеда звали Иван, но вот фамилии я не знаю и уже не у кого спросить. Он родился при крепостном праве и не умел писать. Зато

сохранилась карточка из твердого картона: групповой портрет на фоне плотного забора, заросшего ягодными кустами. Посредине, на лавке, сидят старик и старуха. Он в кацавейке, она в платке, оба в чоботах, руки сложили, смотрят прямо в камеру без мысли и выражения – как будды. За ними в два ряда – родичи: девять душ и ни одной улыбки. Век с лишним лет назад, да еще в деревне, фотография была не мимолетным развлечением, а фундаментальным событием. Она запечатлела итог трудов длиною в жизнь: семья, а главное – дом.

– Огромный, – вспоминала бабушка, – а сад еще больше. И кони, был собственный извоз. Но все равно дети хотели в Луганск, всего 20 верст.

Вырвалась только одна – Матрена Ивановна. Она пережила мужа на много десятилетий и умерла в глубокой старости – под сто лет. Я ее знал, немного боялся и стеснялся называть прабабушкой. Высокая, статная, она отличалась несгибаемым нравом, в юности – свирепой красотой, как и все женщины в этом роду. В деревне ей не могли подобрать достойную пару, пока не нашли рукастого шпендрика Гришу. На голову ниже ее, он страстно любил технику и увез молодую в город, на улицу Вокзальную, поближе к паровозам и прочему железу.

Мой прадед Григорий Гаврилович Толстенко боялся жену. Умея справляться только с неживым, он был прекрасным слесарем, токарем, фрезеровщиком. Более того, Гриня, как его звала жена, владел мотоциклом и навещал Алексеевку в кожаных голенищах-крагах, начищенных гуталином до черного блеска. Прадед был щеголем, брил голову, носил острую бородку, нафабренные усы и круглые очки. У меня есть такие, но я в них похож на Троцкого. Он служил в железнодорожной мастерской и строил грузовой паровоз «Феликс Дзержинский». Судя по фото, он был передовиком: на лацкане – орден с серпом и молотом. Однажды его с женой отправили в Гагры на отдых: белая толстовка, пальмы, очумелый взгляд.

Главной удачей его жизни был нэп. Помимо службы, прадед завел процветающую мастерскую во флигеле с нужными станками и помощником – белокурым, как Лель, ангелом. Разворачиваясь, прадед богател и строился. Скоро в городе вырос большой, как в деревне, дом у реки. И сад. И огород. И цветник с мальвой. И погреб с бочками. И собачка Марсик.

А вот с другими животными не сложилось. Завели кур, уток и веселого поросенка. На беду они все полюбили суровую к людям Матрену Ивановну, а та – их. Днем, в жару, когда она дремала на веранде, весь скотный двор спал вместе с ней, поросенок – на коленях. Когда одна курица перестала нестись, позвали человека,

чтобы ее зарезать. Есть ее никто не мог. Про свинью и говорить нечего. Осерчав, прадед убил всю живность и запретил заводить другую. Мясо все равно ели редко. Огород поставлял борщ, сад – все остальное. Бабушка меня учила есть арбуз с хлебом. Без фруктов она страдала и всегда возвращалась со скуповатого рижского базара с цветами и яблоками.

2

Между тем пришла пора выдавать мою бабушку замуж. Она считалась бестолковой. Учиться не могла и дальше третьего класса не продвинулась. Ей нравилось шить, еще больше вышивать, ну и петь в церковном хоре. Войдя в возраст невесты, бабушка оказалась девушкой нечеловеческой красоты. Как звезда немого кино, только без нарочитого. Волна медных волос, плечи укутаны газом, широко расставленные глаза глядят с затаенным, но бешеным упрямством. На такой жениться страшно. Вот тут-то и пригодился Лель. Бабушка в него влюбилась без памяти, так что у него не осталось выбора, и он стал мне дедом.

Всё, что с ним связано, окутано горем и тайной. Начать с того, что его звали Филиппом, по-домашнему – Филя. Мне видятся в его внешности центрально-европейские черты: треугольное, а не круглое как у нас, лицо, тонкие губы, запавшие глаза, волосы зачесаны назад с рано обнажившегося лба. Снимались тогда, как на свадьбе или похоронах, во всем лучшем. Вот и дед был одет по-городскому: в двубортный сюртук, с широким галстухом, в сорочке с пристегнутым воротничком. Юный и задумчивый, он походил не на ученика слесаря, а на незаслуженно забытого поэта из Австро-Венгрии. Но, может быть, мне так кажется, потому что Филипп пробрался в Луганск из Румынии.

– Чтобы делать революцию, – со вздохом объясняла мне бабушка.

Фамилия его была Бузинов, но возможно – Флоре. У него были родственники в румынском городе Браилов, откуда мы однажды, уже в Риге, получили непонятное письмо с синей, по-заграничному яркой маркой. Отклеив бумажку с обратной стороны выцветшей фотографии, я обнаружил, что дед умел писать латиницей, только не понятно – что. В любом случае, известно, что русский язык был ему родным, и по отчеству Филиппа звали Иванович.

Век спустя, когда умерли все, кто мог внести ясность, тайна деда начала проступать из прошлого. Началось с того, что в

газеты попало румынское село Каркалиу. Здесь живет женщина, спалившая украденные ее сыном шедевры авангардной живописи.

Надо сказать, что я этому ничуть не удивился. Именно так поступила бабушка с вырезанной из журнала «Польша» картиной абстракциониста, которую отец повесил на стену. Бабушка сожгла ее в ведре, размешав пепел лопаткой для верности.

Идя по следу, мы выяснили, что в болотистом устье Дуная живут 10 тысяч староверов, сбежавших два века назад из поморских земель к румынам. Принадлежащие к лютой секте филипповцев (отсюда частое у них, но редкое на наш слух имя Филипп), они славились самосожжениями и не могли ужиться с православной Россией. У румынов, среди бесплодных тростников, переселенцы промышляли рыбой и укрепляли веру. Не смешиваясь с местными, староверы сохранили в неприкосновенной чистоте обряды, наряды, язык и страстную любовь ко всему русскому, кроме правительства и никонианской церкви. Сегодня тут все по-прежнему. Деревня называется Камень, по-румынски – Каркалиу. Все жители – русские, фамилии – тоже, только окончания исчезли: Прокопов – Прокоп, Антонов – Антон, Бузинов – Бузин, и их полдеревни.

Похоже, что дедушка – из них. Это бы все объясняло: и происхождение, и русский без акцента, и поморские голубые глаза с белобрысыми кудрями, и братьев, с которыми он до поры до времени переписывался, и неприязнь к нищему прошлому, от которого он хотел избавиться с помощью революции. В Россию Филипп бежал как другие – в Америку: за широким горизонтом и светлым будущим.

Луганск оказался по дороге, бабушка – на полпути. Приданое за ней дали знатное: молодым построили новый дом в центре Луганска. С садом, огородом, погребом и щенком. Жизнь налаживалась, повторяясь уже в третьем поколении, и деда это не устраивало. Луганск оказался тесен не столько для мировой революции, сколько лично для дедушки. Ведь он бежал в Россию, чтобы стать выше, чем был. Я его понимаю. В Луганске деда ждал дом, двор, в лучшем случае – мотоцикл. А он хотел выучиться на интеллигента, стать инженером, читать книги, играть в преферанс, ходить в театр, жить в столице.

В погоне за мечтой Филипп вступил в партию и отдал ей подаренный тестем дом. Не продал, не обменял, а просто вручил ключи райкому и навсегда уехал в Киев, оставив бабушку выбирать между любимым мужем и взбешенными родителями. Даже не задумавшись, она бросилась в Киев, взяв с собой швейную машинку и картонку с лучшими выкройками.

3

Для матери Киев был тем, чем для бабушки Луганск – раем детства. Здесь она пошла в школу, и уже в первом классе нашла друзей, с которыми не расставалась до смерти. Среди них был чернявый мальчик с маслянистыми глазами – мой отец. Они жили на одной улице – все той же Чкалова – и поженились сразу после войны, в восемндадцать лет.

В Киеве было трудно прокормиться. За деньги бабушка работать не умела – она шила наряды маме и ее куклам. Филипп трудился на заводе токарем, вечером учился в институте, а ночью чертил курсовые проекты. Он никогда не жаловался. Каждый экзамен приближал его к светлому будущему. Оно ждало своего строителя – Инженера.

Эта профессия была любимой тремя советскими поколениями. Инженерами были мои родители, их друзья, враги, соперники и почти все мои одноклассники. Отец так и не смог понять, зачем я поступил на филологический факультет, когда книжки можно и нужно читать в свободное от работы инженера время. Но это была инерция предыдущей – революционной – эры, которая вырвала деда у русских староверов и бросила в советскую историю. Застав мир в разобранном состоянии, он хотел знать, как собрать его заново.

Этому учили в Киевском индустриальном институте инженеров, который дед закончил, живя впроголодь. В Киеве тогда есть было нечего. Бабушка отдала 400 граммов хлеба беспризорному мальчишке, стерегущему во дворе мусор. В другой раз она ездила в село за салом, привезла полпуда, но часть его украли в дороге. И все же каждое утро маме доставалось яйцо всмятку, потому что так кормили ухоженных детей соседки-еврейки. Яйца маме опротивели, и она тайком бросала их с балкона. Филипп уходил на завод без завтрака, а на обед брал с собой из пайка скверный хлеб с «подушечками» (липкие конфеты с повидлом). Возвращался он поздно ночью, был худым и мрачным, но моя мама его любила больше всех в ее долгой жизни и до смерти помнила книги, которые он ей читал.

Филипп гордился семьей. Я знаю об этом потому, что, как уже было сказано, нашел снимок – групповой портрет. Отклеив коричневую бумагу с обратной стороны фотографии, я сумел разобрать дату и надпись латиницей. Фото осталось неотправленным в Румынию и уцелело только потому, что было очень дорого бабушке. На фотографии все улыбались, как будто было нечего бояться.

В 1936-м дед закончил институт. На групповом снимке он –

самый осунувшийся. Денег по-прежнему не хватало. Теперь он днем работал инженером, а в ночную смену тем же токарем на том же заводе. И все же жизнь понемногу укладывалась в заготовленную ей колею. В доме появились друзья-инженеры, ужинали с вином, допоздна играли в карты, купались в Днепре, ели мороженое.

Моя мама чуралась своей, не прощая ей житейской беспомощности, но боготворила отца, который становился все мрачнее. В 1937 начались чистки по национальному признаку. Забирали всех чужих: немцев, норвежцев, персов, мингрелов, китайцев, пуштунов, карелов. Среди врагов были и румыны. Деда выгнали из партии, и бабушка, наивно заметая следы, сожгла всё написанное не по-русски.

– Самым счастливым днем, – рассказывала мама, – было воскресенье с отцом на Владимирской горке. Мы молча сидели на скамейке, пока я не уснула на папином плече.

Той же ночью за Филиппом пришли люди в кожанках с понятым от соседей.

– Вели себя вежливо, – вспоминала мама, – никто не кричал, комнату обыскали небрежно и ничего не забрали, кроме отца.

С утра начались походы в тюрьму. Бабушка носила передачи с теми же подушечками, но ничего не брали. А вскоре пришла бумага из суда. Потомку длинной череды русских староверов Филиппу Ивановичу Бузинову как румынскому шпиону дали 10 лет без права переписки. Никто тогда еще не знал, что через неделю после приговора его расстреляли в Быковне, пригородном лесу, где теперь киевляне ставят на пнях свечи. Мама не дожила до выхода книги с перечнем всех там казненных, но я нашел в ней несколько украинских строк, которые стали деду могилой.

> Бузинов Пилип Іванович, 1900, с. Кам'янка (Каракалир), Румунія. Нарком внутрішніх справ СРСР і прокурор СРСР (Двійка), протокол № 120 от 25.01.1938 ВМП (розстріл). Розстрілян у м. Києві 04.02.1938 р.

Бабушка не знала о расстреле и, вздрагивая от звонка в двери, ждала мужа до 1956-го, когда пришла справка о посмертной реабилитации «за отсутствием состава преступления». Государство простило деда и назначило бабушке 31 рубль пенсии.

Но до этого надо было еще дожить. После ареста ополоумевшая от случившегося бабушка враз лишилась всех друзей-инженеров. В беде верным товарищем оказался только сосед, тот самый, которого чекисты взяли понятым. Он объяснил бабушке, что ее посадят как члена семьи врага народа, а дочку

отвезут в детский дом, где она скорее всего умрет от тифа, а если и выживет, то забудет мать навсегда.

– Единственный выход, – повторял он, ломая руки, – бежать, взять девичью фамилию и немедленно бежать куда глаза глядят, но лучше обратно – в Луганск.

Сосед был добр. Он обещал прислать бабушке в Луганск ее швейную машинку и даже пожить в освободившейся комнате, пока власти не восстановят справедливость.

Бабушка сделала то, что ей сказали. Она отправилась обратно, взяв дочку, выкройки и те несколько фотографий деда, которые я сейчас рассматриваю в лупу.

В Луганске им никто не обрадовался.

– Ну шо? – встретила дочь Матрена Ивановна, – Усэ просрали и вэрнулись?

Отвечать было нечего. Луганск был судьёй и судьбой.

Луганск *или* Оккупация

Мама ненавидела Луганск, и было за что. НЭП кончился. Дом на Вокзальной улице, большой, самоуверенный, с садом в триста соток и мастерской, оснащенной нужными мастеру станками, отобрали власти. Без хозяев все пришло в негодность. Ночью разнесли забор и украли, аккуратно выкопав с корнями, плодовые деревья – в Луганске знали толк во фруктах.

Прадед и прабабка (близкие звали их Гриня и Мотя) отнеслись к несчастью стоически. Решая квартирный вопрос без помощи властей, они построили другой дом. Уже на окраине, намного меньше, но с летней терраской, надежным подполом, ухоженным садиком и спрятанным в углу двора чистым сортиром. Вскоре в саду появились груши для густого компота-узвара, вишни для вареников, кислый тёрн на повидло, абрикосы – на варенье. Под кроватью зимовали соленые арбузы. У забора рос виноград, который требовал много трудов и окупался домашним вином.

Вернувшись в Луганск из Киева, бабушка с дочкой окунулись в крестьянскую жизнь. Первая – с наслаждением, вторая – с ужасом. Я понимаю обеих. Бабушкин Луганск был одной семьей, как в «Амаркорде». Улица играла роль села, и всех, кто на ней жил, звали на свадьбу. Вдоль домов на козлы ставились доски. Накрывали – миски, ложки, стаканы – человек на сто. Скамейки приносили свои. Пир состоял из сваренного в жестяном чану-выварке борща и нескольких ведер котлет, заказанных ради праздника в столовой. Мужчины пили фруктовый самогон, женщины – тоже, и даже детям доставалась вишневая наливка. По угощению были уважение и подарки: жениху – мопед в складчину, невесте – постель с вышивкой.

В этом теплом мире бабушка была своей, в нашем – рижском – чужой, и как бы она меня ни любила, зятя всегда звала на вы, а когда обижалась – «человеком этой национальности». Бабушке Луганск казался понятным и безопасным, как родное село, в отличие от Киева, отнявшего у нее мужа. Но мама-то попала в Луганск уже отравленная украинской столицей – с бульварами, с каштанами, с крутыми холмами, как в Риме, где она все-таки побывала – в другой главе.

Мама, понятно, мечтала вернуться в Киев, но от арестованного отца не было известий. Государство, вопреки тому

что обещал добрый сосед, согласившийся присмотреть за киевской комнатой, не торопилось восстановить справедливость. В Луганске с мамой обращались как с Золушкой. Ей полагалось выносить ночные горшки, полоть огород, поливать грядки и обедать в саду, заедая фрукты хлебом. В доме, конечно, не держали книг, из грамотных был только запуганный женой прадед, и никого не интересовали мамины оценки. Это не мешало ей учиться по всем предметам на пятерки. На переменах мальчишки совали в карман фартука записки, но она их не читала – ее поглощала другая страсть.

В луганской школе маме впервые после ареста отца повезло. Ее посадили за одну парту с Женей, невзрачной девочкой в очках из зажиточной, почти интеллигентной семьи. Женин отец был фельдшером. В доме висел абажур, на столе – скатерть с кистями, приходила домработница, а главное – шкаф книг. Из-за Мопассана его держали запертым от дочки, но девочки открутили заднюю стенку и читали запоем все, что пролезало в щель.

Книги стали маме Парижем. Луганск оказался неважным и ненастоящим. Так открывают веру, находят любовь, теряют голову и тратят жизнь. Других людей я, в сущности, не встречал, и всегда полагал, что это нормально, ибо у нас дома не читать книги считалось грехом, болезнью, уродством. Брата наказали за то, что он не дочитал «Овода», меня – за то, что я не отпускал книгу до утра. Но мы оба любили слушать, как мама пересказывала нам то, что читала сама, следуя капризам интеллектуальной моды первой оттепели: Апдайк, Белль, Фолкнер, Кобо Абэ.

Как мы все, мама читала за едой, в кровати, отпуске, по дороге на работу, на работе и на пенсии. Читала одним глазом, потеряв второй. Когда совсем ослабла память, мама читала одну книгу – «Мастера и Маргариту». Дойдя до последней страницы, возвращалась к первой. Когда буквы перестали у нее складываться в слова, я приносил ей глянцевые журналы, чтобы было что листать. Без этого она не могла ни поесть, ни заснуть, ни умереть.

Разбирая оставшиеся от нее бумаги, я нашел тоненькую, аккуратно обернутую матовой бумагой брошюрку: «Пан» Кнута Гамсуна. На обратной стороне обложки выведенная перомуточкой надпись хозяйки: Алла Бузинова (имя Ангелина она не любила и вернулась к нему только в Америке). Наверное, эта книжка составляла ее приданое. Теперь она досталось мне, и я дорожу ею больше, чем остальным наследством – многотомниками французских классиков, включая того же Мопассана, за которыми родители стояли ночами в веселых

книжных очередях.

Я думаю, что без книг мама не пережила бы Луганска, тем более когда началась война.

2

Мама часто вспоминала войну. Ведь она провела ее как бы за границей – в оккупации. Это был уникальный для нас опыт несоветской жизни, и я жадно слушал ее рассказы. Они разительно отличались от того, что я знал об этом сюжете, в основном – из «Молодой гвардии». Это еще не значило, что мамина история перечила школьной. Мама вообще не любила спорить. Она просто вспоминала без выводов и сравнений о семи месяцах, проведенных в оккупированном Луганске.

– Когда пришли немцы, – рассказывала она, – сразу исчезли евреи. В нашем классе их было две девочки. Они сразу пропали, и никто не спрашивал – куда. Потом кончилась водка. Каждый вечер дедушка, приходя с работы, выпивал под борщ маленькую, густо накрошив в стакан красного перца. Когда бабушка сказала, что водки больше не будет, он впервые заплакал. Так мы поняли, что война пришла к нам домой.

Война привела с собой офицера – на постой. Мать мало что могла о нем вспомнить. В школе она, как все тогда, учила немецкий, но вряд ли продвинулась дальше «битте зер». Оккупация началась в июле, и с немцем обедали – вечным борщом – на увитой виноградом террасе. Больше всего маму потрясло, что после еды немец кланялся и целовал руку хозяйке, называя ее «муттер».

– Наверное, – рассуждала она намного позже, – у немцев было так принято, как у японцев снимать на пороге туфли. И вежливость не мешала им красть. Когда поспели фрукты, солдаты собрали наш урожай. Двое трясли лучшую грушу, пока третий набивал мешок. Бабка, не разжимая губ, смотрела на них до тех пор, пока мародерам не стало стыдно. Только тогда она ушла в дом, чтобы не мешать грабежу, пресечь который была не в силах.

Лето кончилось, и жизнь невольно вошла в колею. Привыкшие от любой власти ждать только плохого, родичи сносили войну молча. Мама ходила в школу, Григорий Гаврилович – в железнодорожную мастерскую, где чинили все тот же грузовой паровоз, переименованный из «Феликса Дзержинского» в «Адольфа Гитлера». Матрена Ивановна вела хозяйство и кормила немца. Бабушка шила на продажу ватники. Лучше всех устроилась ее сестра, которую я звал тетя Лида.

Толковая и хорошенькая, она закончила девять классов, научилась печатать на машинке и работала секретаршей в какой-то советской конторе, которая теперь стала комендатурой. При новом режиме Лиду не прогнали со службы. Более того, у нее завязался горячий роман с молодым и красивым немцем.

– Во время войны, – объясняла мне бабушка, когда я еще был совсем маленьким, – сестра была немецкой подстилкой.

В ее устах это звучало как должность или социальное положение, вроде «служащей» или «иждивенки». В семье Лиду никто не осуждал, и после войны она без помех вышла замуж за офицера, но уже русского – дядю Паву, с которым я собирал грибы в Подмосковье.

Зарывшись в книги, мама, когда ее не заставляли полоть грядки, не обращала внимания на немцев, пока один из них не обратил внимания на нее. Пожилой мужчина в форме подозвал симпатичную белобрысую девочку и велел улыбнуться. Мама, ей было шестнадцать, открыла рот. Офицер внимательно осмотрел верхнюю челюсть и сказал прийти в казарму. На следующий день напуганная мама пришла куда велено и увидела вчерашнего незнакомца в белом халате. Он оказался военным врачом. Заметив на улице красивую девочку с уродливым ртом, дантист вырвал криво выросший зуб и отпустил с миром.

– Но евреев они все равно убили, – добавляла мама, боясь, что я неправильно пойму или расскажу лишнего в школе.

Между тем немцы ушли на Восток, а их место заняли итальянцы. С этими оказалось сложнее – они хорошо пели и быстро выучили украинские песни. Особенно тот мальчишка, который заменил на постое строгого немецкого офицера. Выходец из сицилийской деревни, он привязался к Матрене Ивановне и помогал ей с виноградом. С началом зимы он часто с ней плакал. В 42-м всех отправляли в Сталинград, и с этого фронта никто не надеялся вернуться.

Красная армия освободила Луганск 14 февраля. Бежав налегке, немцы оставили продовольственные склады открытыми, и местные бросились за самым ценным – сахаром. Тут их и накрыла своя артиллерия.

– Половина соседей полегла, – вспоминала мама, – но наши уцелели, поскольку не брали чужого.

К концу войны мама вырвалась из Луганска в Киев, по примеру расстрелянного там отца. Считалось, чтобы учиться, на самом деле – жить.

3.

Когда началась война, отец прыгал от счастья. Развитый мальчик, он читал газеты, отмечал флажками победы на карте республиканской Испании и написал слезное письмо Сталину, призывая раздавить гитлеровские полчища. Война обещала с ними покончить разом, но пока его отца забрали на фронт, а сам он с мамой и ее сестрами отправился в эвакуацию.

Дорога заняла целый год, потому что немцы шли по пятам, и нигде не удавалось осесть надолго. Жили, как всегда, торговлей. Однажды удачно обменяли лисий воротник с пальто тети Сарры на мешок сухарей. В пути к ним прибился цыганский табор. Чернявого отца принимали за своего, ценили как образованного и доверяли безмен. В Тихорецке отцу исполнилось 15, и он вступил в комсомол.

– Есть, – рассказывал отец, – хотелось все время, и однажды я смущенно попросил у двух посторонних женщин кусок хлеба, не дать, а продать, хотя мне нечего им было предложить взамен. Они заплакали и поделились.

Покинув город, наши застряли на полустанке. К вечеру цыгане исчезли. Командир защищающей станцию роты отозвал отца как самого смышленого во всем кагале и спросил:

– Bis tu a Yid?

– Yo, avade! – ответил удивленно отец, – конечно еврей.

– Тогда бегите, только сразу, к утру здесь будут немцы.

Это спасло тех, кто поверил. Остальных бросили в пустой колодец. Я не умею говорить на идиш, но кодовую, как в «Маугли», фразу (мы с тобой одной крови) запомнил, хотя пока она мне и не пригодилась.

Странствия закончились в Туркмении. Город в пустыне назывался Чарджоу, и отцу он скорее понравился. В основном – из-за дынь, лучших, как считается, в мире. Ароматом они заполняли весь двор, их ели вместо хлеба.

Пропустив год, отец пошел в восьмой класс школы для эвакуированных. Учителя оказались замечательными, в основном – из сосланных еще до войны. Лучше других была преподавательница литературы, любовница (на что она часто намекала) Маяковского. На уроках читали Минаева («даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром»), Сашу Черного и Кузьму Пруткова. Отец привил мне вкус к смешным стихам, и я до сих знаю наизусть пародии Архангельского и всю поэму Пушкина «Царь Никита и сорок дочерей». Кроме этого, отец на спор с одноклассником Ниссоном выучил всего «Онегина». Почти семьдесят лет спустя, встретившись в доме моих родителей на Лонг-Айленде, они читали друг другу по главе, не пропуская строчек.

Войне не было конца, и отец опять написал письмо в правительство, на этот раз председателю Калинину, с просьбой взять его в школу разведчиков. Считалось, что это – идеальная военная карьера для евреев: они наверняка не перебегут к противнику. Ответ пришел из секретариата. Отца поблагодарили и посоветовали обратиться в военкомат. Ему, однако, еще не было шестнадцать, и он остался жить в Туркмении до освобождения Киева. Как только это случилось, 7 ноября 1943-го, отец рванул обратно, один, без денег, через всю страну со смутной надеждой выучиться, конечно, на инженера.

До Киева было пять тысяч километров. В Аральске отец разбогател, купив за бесценок мешок соли. В Саратове продал его за шесть тысяч и приобрел простреленную солдатскую шинель, а на сдачу – первое за всю войну пирожное: эклер с заварным кремом. Он вспоминал о нем до смерти. Последнюю ночь пути отец провел на подножке поезда, привязавшись ремнем к поручням. Паровоз топили плохим углем, и в Киев отец въехал черным от копоти.

На Евбазе он встретил дядю Колю, отходившего от тяжелой раны. Они зажили вдвоем, кормясь исключительно семечками. Пол был по колено засыпан шелухой. На ней и спали, подложив все ту же шинель.

Вскоре, однако, отец открыл успешный бизнес – торговлю кремневыми камешками для зажигалок. Большие спекулянты продавали их оптом маленьким. Камешки были двух сортов. Отечественные быстро стирались, канадских хватало надолго. Чтобы убедить покупателей, отец, демонстрируя твердость камня, сжимал кремень зубами. Иногда изо рта сыпались искры. Дело шло, и вскоре отец приоделся по военной моде – в галифе и папаху.

Школьный товарищ отца, тоже перебравшийся в Америку, вспоминал на его поминках, как в послевоенном Киеве они отправились в баню. Обогнув толпу, отец спросил у кассира, нужно ли героям Советского Союза стоять в очереди? Следует заметить, что он не причислял себя к героям, а лавируя между правдой и ложью, всего лишь интересовался правилами. Не удивительно, что Остап Бендер был его любимым героем.

Сдав экзамены, включая к собственному удивлению французский, который он учил два часа, отец поступил в тот же институт, который закончил мой дедушка. Самым престижным считался радиотехнический факультет. Отец изучил странные на мой слух предметы вроде «Усилителей низких частот». Дома всегда валялись электронные лампы, но главным его открытием в радио были западные станции. Наслушавшись их, он больше не

писал Сталину и сжег выпускавшийся союзниками журнал «Англия», не дожидаясь, пока за ним придут.

Став, как и дедушка, инженером, отец всегда гордился профессией и выпивал 7 мая, в день, когда изобрели радио. В Америке, начав сотрудничать с Радио Свобода, я присоединился к отцу, хотя для Запада радио придумал не Попов, а Маркони. Я специально ездил на тот пляж Кейп-Кода, откуда он посылал сигнал в Европу и, заодно, марсианам, которые пока не ответили.

Став студентом, отец себе чрезвычайно понравился – он походил на еврейского Маяковского. Добравшийся до высшего образования – первый в семье, где и читали с трудом – отец завел шляпу. Еще не зная толком, что с ней делать, он, изображая интеллигента, ловил отражение в немногих уцелевших на улице Чкалова витринах.

Тут-то он и встретил худую блондинку с зелеными глазами и двумя косичками. Сперва отец даже не узнал в ней Бузинову, в которую влюбился еще в первом классе. Возобновив знакомство, они перебрались в Ботанический сад – через забор, конечно. (Съездив уже на пенсии из Америки в Киев, отец нашел и сфотографировал поляну их свиданий). Добром это кончиться не могло, и, едва дождавшись восемнадцати, родители поженились к великому ужасу моих обеих бабушек.

Отец умер за неделю до шестидесятой годовщины этой свадьбы. Я уже и цветы купил, но букет пошел на похороны.

Рязань
или
Соблазн провинции

Больше еды и женщин отец любил политику, и она ему отвечала взаимностью. События в большом мире часто аукались в его биографии, способствовали карьере и разрушали ее. Череда побед началась с войны, причем – Корейской.

Отец закончил институт дипломной работой «Радиоприемники второго класса». Я не знаю, почему второго, сам он все предпочитал первого, но особенно – приемники. Дождавшись появления транзисторов, отец никогда, даже на ночь, не расставался с чуткой «Спидолой». Она обходила глушилки и ловила западные станции. Отец распознавал заграничную интонацию с первого звука даже тогда, когда вещала Албания. С треском пересекая границы, чужие волны открывали глаза на правду и отравляли – именно этим – жизнь. Без радио отец не умел существовать, как, впрочем, и я, что выяснилось уже в Америке.

Но сперва молодого специалиста направили по распределению разрабатывать уникальный прибор: универсальный измеритель шкур всех животных – от коровы до бобра. Уникальность его состояла в том, что такого никогда не было и быть не могло. Сражаясь с безумием начальства, отец отчаянно скучал на работе. Его спасла атомная бомба и вооруженные ею самолеты. Они нуждались в радиолокации, и отца отправили создавать ее на оборонный завод с неброским названием «п/я № 1».

На дворе, однако, стоял 1949 год, и страна готовилась к 70-летию Сталина. Отложив оборону, завод отлаживал подарок вождю: магнитофон «Днепр» в единственном экземпляре. Готовый продукт вместе с кандалами итальянских антифашистов и рисовым зерном, на котором китайцы выцарапали четвертую главу «Истории ВКП(б)», предназначался для музея подарков Сталину. Отец говорил, что в то время он размещался в бывшем Английском клубе на улице Горького. Но когда я приехал в Москву после путча 1991-го, роскошный особняк стал Музеем революции на Тверской. Экспозицию открывал Ленин, Сталин не упоминался вовсе, апофеозом освободительного движения оказались Перестройка и поражение ГКЧП. В память о победе над путчем кураторы поставили у входа сожженный в дни беспорядков троллейбус. Он исчез, когда я вновь навестил музей

20 лет спустя. В ответ на расспросы администрация объяснила, что призвание всякого музея не цепляться за прошлое, а шагать в ногу со временем.

Так или иначе, магнитофон из «Днепра» получился паршивым и вряд ли добрался до Сталина. Зато он привил отцу любовь к магнитиздату. Я вырос с литовской *«Aidas»*, научился клеить пленку уксусной эссенцией и выучил наизусть все песни Окуджавы. Отец предпочитал Высоцкого – за антисоветскую сатиру – и сестер Берри – за интимную близость с Евбазом.

Когда разразилась Корейская война, отец наконец занялся важным делом – «оснащением реактивной авиации локаторами для бомбометания». В месяц выпускали по 21 самолету, и о каждом докладывали лично Сталину, которого отец теперь ненавидел, наслушавшись западного радио. Это не мешало ему быть патриотом и охранять отечество от американцев, которые пока на него не нападали, но могли.

– Что ж ты защищал, – спрашивал я его уже в эмиграции, – строй или родину?

Отмахиваясь от вопроса, отец хвастался ударным трудом на благо ненавистного режима. Он летал с испытателями, сидел в самолете на приставном сидении без катапульты, мерз в меховом тулупе и работал в две смены. Отец знал Илюшина и поспорил с Туполевым, обещавшим сослать его в Сибирь. Но лучше всего запомнил столовую авиационной элиты, где блюда готовились с учетом диетических требований генеральских организмов. Не удержавшись, отец заказал нуазет из барашка, о котором прочел в романе Эренбурга «Падение Парижа», самой западной из доступных ему тогда книг.

Отцу платили (хоть и недолго) бешеные деньги: десять тысяч рублей, что составляло десять получек инженера или две – директора завода. С тех пор он полюбил деньги. Его скупость была ограниченной. Отец азартно экономил на буднях, но спускал все в праздники. В нашем доме всегда гуляли друзья, знакомые и знакомые друзей. Угощая полгорода в воскресенье, отец мучился в понедельник, разменивая десятку, не говоря уже о 25-рублевой купюре. Я думаю, что деньги ему нравились не только с практической, но и с эстетической стороны. Получив премию, отец выложил банкнотами весь пол в квартире. Тратил он с максимальным эффектом. Однажды они с мамой сидели в ресторане за полтавским борщом. Дожидаясь второго, отец вышел из-за стола, но не в уборную, а в ювелирный через дорогу. За киевской котлетой мать открыла коробочку и нашла в ней модные золотые часы «ЗИФ».

Между тем над родителями навис квартирный вопрос,

который государство никак не могло разрешить, хотя оно и отобрало два из трех домов, построенных моим прадедом. Мой брат рос, ему понадобилась кровать, а она никак не вмещалась в комнатку на Чкалова. Единственным выходом представлялся переезд на открывшуюся вакансию в Рязани. Но это означало отказ от самого дорогого – киевской прописки. Решиться на этот шаг родителям было тогда труднее, чем потом на эмиграцию. Киев был теплой столицей их души, Рязань – чужой и незнакомой провинцией. Но там отцу дали трехкомнатную квартиру. Увлеченный немыслимой роскошью, отец по-рыцарски уступил одну комнату милиционеру, который начал свои дни в деревне, а кончил в окрестностях политбюро.

– Видимо, идиотизм, – на старости лет предупреждал меня отец, – у нас в роду.

2.

Я гордился тем, что родился в сермяжной Рязани. Компенсируя космополитические убеждения, она служила якорем, соединяющим меня с землей, которую я, основательно запутавшись с отечеством, осторожно считаю родиной моего языка. Хуже, что я ничего не помню. Смутно, как в забытом сне, маячит красный ковер, самодельный торшер с лимонным абажуром, мама, читавшая нам с братом книжку, вероятно, Жюль-Верна. Но может быть, как в том же сне, воспоминание смешалось с придуманным, рассказанным или вычитанным. Ковер, уже совсем протертый, переехал в Ригу вместе с братом, мамой, Жюль-Верном и, конечно, торшером, который сопровождал наш быт, словно пленный иностранец.

Второй раз я попал в Рязань на обратном пути с Красной площади, где отмечалось 50-летие Октябрьской революции.

– Такого торжества еще не видело человечество, – провозгласил мексиканский гений и коммунист Давид Сикейрос.

В чем-то он был прав. После салюта в ночном небе появился дирижабль, тащивший кумачовое полотно с громадным портретом Ленина. Вечерний бриз играл тканью, заставляя Ильича корчиться. Мощные прожекторы освещали гримасы, делая их еще более зловещими. Голова вождя парила над умолкнувшей от ужаса Красной площадью. А Ленин, принявший на себя, как портрет Дориана Грея, все пороки оригинала, хмурился под порывами ветра, будто знал, что его не ждет ничего хорошего.

После Москвы в Рязани было тихо. На главной улице стоял сруб, я думал – этнографический музей, оказалось – просто дом.

Кремль с синими куполами будил патриотические чувства. Незадолго до этого в школе проходили монгольское иго, и я с чувством и выражением рассказывал классу, как мой родной город сражался с Батыем до последнего человека.

Живые рязанцы мне тоже понравились. В каждой квартире книг стояло еще больше, чем у нас. Взрослые обсуждали московские премьеры и выставки. Лишенные богатой столичной среды, рязанцы создавали ее сами и из себя. Провинциалов часто отличает та отчаянная жадность к культуре, которой, не зная ее причины, я и сам болел, и в других встречал. Однажды мне в Нью-Йорк пришло письмо из приамурского поселка, который я не сумел найти в атласе. Начиналось оно так:

– Вы, конечно, не поверите, – писал автор, – но у нас еще не все прочли Борхеса.

Культура была неконвертируемой валютой провинции, и мои родители верили в нее, не задавая вопросов. Они стояли ночами за подписными собраниями сочинений, ходили на концерты длинных симфоний, искренне считали театр храмом даже тогда, когда ставили пьесы Корнейчука «В степях Украины» и «Партизаны в степях Украины», оперу Хренникова «В бурю», где Ленин поет ходокам, и оперетту «11 неизвестных» про советских футболистов, попавших в Англию.

О последней отец и не мечтал, но язык все равно учил, подписавшись на газету британских коммунистов «Ежедневный рабочий». Кроме нее он читал «Триумфальную арку» в переводе с немецкого на английский и тогда еще запрещенный роман «По ком звонит колокол», выискивая у Хемингуэя крамольные места про советских военных в Испании. В сущности, всю литературу отец делил на разрешенную и запретную. Предпочитая, естественно, последнюю, он избегал лауреатов любых, кроме Нобелевской, премий. Учась и подражая, я освоил Достоевского вместо, а не вместе с Толстым, еще пионером прочел Кафку и слепо любил всех писателей неблизкого зарубежья, исключая Джеймса Олдриджа, который хоть и писал на английском, но жил в Москве.

– Что с меня взять: образованщина, – вздыхал над своими вкусами отец, пользуясь одиозным термином, придуманным Солженицыным для всех, кто не разделял его веры.

Кстати сказать, в те же годы, что и отец, в Рязани жил и работал в школе Солженицын.

– Он производил впечатление, – рассказывали общие знакомые, – болезненно нелюдимого человека.

Ситуация не изменилась и в Америке. Хоть мы и делили ее четверть века, мне так и не довелось увидать кумира, который

недолго был моим земляком.

3.

После холмистого Киева плоская Рязань показалась отцу глухим углом. В центре памятник Ленину окружали купеческие лабазы XVIII века. В городе выделялся пятиэтажный дом, в который меня принесли из роддома, по словам свидетелей – красного и волосатого.

Недавно мне прислали снимок этого здания. Я надеялся оживить им детские воспоминания, но дом № 59 на улице Горького упорно не отличался от всех других, которые я никогда не видел. В нем не было ничего примечательного, если не считать магазина с вывеской на незнакомом языке: «ПАЛ СЕКАМЫЧ».

Для отца шесть рязанских лет были самыми яркими. Здесь он сделал блестящую карьеру и распростился с ней. Взлет начался на заводе, который до войны изготовлял фанерные планеры, после нее – конторские стулья, а при отце – радиолокационные прицелы для истребителя-перехватчика «Сокол». Их предстояло выпускать в деревообделочном цехе. Его начальник, опытный столяр-краснодеревщик, с ужасом слушал про «генераторы импульсов». Один из них взорвался прямо в кабинете, после чего начальник стал заведовать баней, а на завод прислали молодых специалистов, причем евреев.

До этого их в Рязани почти не было, и они никого не интересовали. Отца, который хотел быть по национальности интеллигентом, еврейский вопрос тоже не волновал до тех пор, пока его не поднял Сталин. С началом кампании против космополитов маму принялись жалеть соседки: «Такая милая, а муж – еврей». Вскоре разразилась катастрофа. По всем документам отца звали Александром Аркадьевичем, но это было фальшивое имя, которое он, чтобы не слишком выделяться, придумал, получая первый паспорт в эвакуации, в туркменском городе Чарджоу. Положившись на оккупировавших Киев немцев, отец думал, что архив ЗАГСа уничтожен вместе с его метрикой. Но в Рязани она неожиданно всплыла в отделе кадров. Из документа следовало, что на самом деле отца звали Сендером Авраамовичем. В разгар борьбы с псевдонимами это могло кончиться плохо.

Отца спас ленинский декрет 1918 года, разрешивший менять библейские имена на светские. От беды отца отделяла одна буква – та самая вторая «а», которой Бог одарил патриарха. Указав ветхозаветное отчество «Авраамович» вместо банального

«Абрамович», метрика позволила отцу легально сменить имя, а мне стать Александром Александровичем, как Блоку.

Из-за путаницы с именами произошло и другое недоразумение. На этот раз не с советскими властями, а с нью-йоркскими евреями. Родители задумали меня дочкой. Убедившись, что этого не получилось, мать, чтобы загладить вину перед отцом, скоропалительно назвала меня его именем. Она не знала, что у евреев не дают сыновьям имена живых отцов. Поэтому в Бруклине меня принимали за сироту или гоя.

Со смертью Сталина космополитов отменили, и отец, поверив в оттепель, вкусил свободы. Собранная им на заводе молодежь разгорячилась на комсомольском собрании, и отца назначили главным виновником. В длинном списке его злодеяний числилось намерение эмигрировать в Югославию, куда отец надеялся получить путевку по профсоюзной линии.

Отца выручил босс той же партии, что решила его погубить, – секретарь рязанского обкома Ларионов. Чуть позже он прославился революцией в мясной промышленности СССР.

– В Рязани, – рассказывал отец, – всегда было плохо с продуктами. На пустых полках лежали только консервы «Гусиная печень» в гусином же жиру, но фуа-гра не пользовалось спросом.

Когда Хрущев пообещал догнать Америку и по сельскому хозяйству, Ларионов принял вызов близко к сердцу. За один год он утроил поставки мяса и получил звание Героя социалистического труда. В газетах это называлось «рязанским чудом». Чуть ли не впервые со времен Батыя Рязань попала в историю, но на этот раз победою. На следующий год выяснилось, что мяса больше не будет вовсе, ибо весь скот уже зарезали. Ларионов застрелился, но уже после того, как разрешил отцу – в виду заслуг перед рязанской оборонной промышленностью – покинуть завод не с волчьим билетом, а по собственному желанию.

К тому времени у отца было только одно желание: убраться из Рязани как можно дальше, желательно – на Запад.

Суворова, 8, *или* Соседи

– Придет день, когда кровью русских будут мазать крыши, – сказала Сильва, и никто не стал с ней спорить, кроме, разумеется, бабушки, которая не могла понять, за что можно не любить народ, давший миру Хрущева и Шульженко.

Меня больше удивляло, зачем красить крыши, когда в нашем старинном городе они и так из красной черепицы. Но взрослые, ничего не объясняя, молча смотрели себе под ноги на дубовый паркет, выложенный не обычной елочкой, а фигурными ромбами и квадратами.

Раньше этот паркет, как и вся квартира, принадлежал родителям Сильвы. Когда Красная армия вернулась в Ригу, их выслали, а армия – в лице майора Петрякова – осталась. Девочке отвели комнату у входа, в которой она жила, как заноза в совести. Еще хорошо, что не нашей, а майорской.

Расположившись с комфортом, Петряков, однако, страдал от лишнего и замазал паркет красной, как те же крыши, краской. Теперь жить стало проще, как дома: пол можно было мыть, а не натирать, как это научились делать мы.

Дважды в году, к Седьмому ноября и к Первому мая, мебель собиралась в хрупкие пирамиды, чтобы отодрать пол жесткими щетками, намазать вонючей, но предвещающей праздники мастикой и натирать, натирать, натирать до цвета нашего пасмурного солнца. Чтобы процесс шел не прекращаясь, бабушка сшила всем тапочки на тучном войлоке. Гости с непривычки поскальзывались, зато мы с братом ловко катались по паркету от угла до зеркала и обратно. Мне эти тапочки казались волшебными, потому что, натирая паркет, они приносили пользу, куда бы ты в них ни шел.

Но как бы мы ни старались, краска Петрякова тоже не сдавалась. То и дело из-под лимонной мастики проступала ядовитая бордовая сыпь, бубоны прежней чумы, непонятным образом пережившей в подполье напрасные усилия полотеров. При первых признаках опасности шились новые тапочки, и опять сдвигалась к стенам мебель.

В конце концов, она там так и осталась: и тахта с подламывающимися ножками, и пухлые пуфики, и стол, раздвигающийся на всех, сколько бы их ни пришло гостей, и, конечно, сейф семьи с валютой инженеров: книжные полки. На

них покоились те самые многотомники, за которыми стояли ночами в Рязани: шоколадный Бальзак, травяной Мопассан, изумрудный Франс, серый Генрих (а не коричневый Томас) Манн. Примостившаяся к стенам мебель освобождала место для пустоты, которой из уважения не пользовались. Запас нетронутого, как в Канаде, пространства придавал жизни оттенок неутилитарной роскоши.

Квартирой родители гордились больше, чем детьми и работой. Она была свидетельством столь неслыханного обмена, что его успех можно объяснить только геополитическими причинами.

Как уже говорилось, раньше мы жили в Рязани. Когда отца, который любил политику, мечтал увидеть Европу, читал «Новый мир» и верил, как моя украинская бабушка, Хрущеву, выгнали с работы по совокупности заслуг, он отправился искать счастья туда, куда всегда стремился – на Запад. В Риге он оказался потому, что там были квартиры с камином. Прочитав об этом черным по белому в разделе «Обмен» газеты «Советская Латвия», отец решил, что не такая уж она советская и ринулся на поиск вариантов. Только кто же в здравом уме согласится обменять камин, трубочистов в срисованных из андерсеновских сказок мундирах, острые крыши с красной черепицей, бальзам, «вылечивающий от колотых ран», миногу из сосновых окорят в чайном желе и вольный балтийский ветер из не такой уж далекой Швеции на рязанскую улицу Горького, ведущую к оборонному заводу?

Понимая, за что взялся, отец не бросал начатого, следовал за историей и искал военных, обязательно – земляков. Майор Петряков подходил по всем статьям. Он был пресыщен Западом и скучал по родине, на которую Рига никак не хотела походить. Наряду с русским Лениным здесь стоял немецкий Гердер и уже совсем непонятно какой Барклай-де-Толли. Магазин назывался *Veikals*, парикмахерская – *Frizetava*, и улица Горького – с выкрутасами модерна – выглядела совсем не так, как ей положено. Балтийский ветер был промозглым, в доме офицеров кормили червями в желе, водку разбавляли похожим на пертуссин бальзамом, город кишел недобитыми фашистами, включая одну, свившую гнездо прямо у входных дверей, которые Петряков, не рассчитывая на дружбу народов, обил листовым железом. К тому же паркет не сдавался и просвечивал сквозь масляную краску в процарапанных сапогами прогалинах. Майор хотел домой, а мы – из дома.

Так состоялся обмен. Отец умел падать вверх, он даже умер у моря, на Лонг-Айленде.

2.

Мир тогда был слегка другим, но тоже красивым. Люди, даже взрослые, закидывали голову, чтобы полюбоваться самолетом. Телевизор считался роскошью. На каждый день программ не хватало, и его смотрели дважды в неделю, но уж всё, что показывали. Машины ездили редко. Чаще всего – зеленые газики, зеленые же грузовики с дощатыми бортами и серые покатые «Победы». Иногда – редкие, как землетрясение, «Чайки». В одной я увидел лысого Хрущева. Еще лучше был катафалк с гробом на открытой платформе. Он ехал шагом, потому что сзади шел военный оркестр. Брату понравились медные тарелки, и он научился на них играть, чтобы много лет спустя, в армии, лабать, как говорили музыканты, жмурика.

Улица Суворова была центральной – по ней ходил трамвай, поднимавший жуткий грохот. Когда в пять утра первые вагоны катили из депо, гостивший у нас родственник из тихой подмосковной Кубинки решил, что опять началась война. Но настоящий шум поднимался перед парадом. Ночью по Суворова шли танки, пушки, позже и ракеты на тяжелых платформах.

Завидной особенностью нашего дома был выдвинутый из плоского фасада эркер, позволявший глядеть из бокового окна на улицу в профиль. Пока меня не отправили в школу, мы с котом и бабушкой целыми днями лежали на подоконнике, наблюдая «реализм жизни» и, конечно, фасоны.

Если смотреть из детской, Суворова уходила к базару. Поздним утром с него шли аккуратные рижские старушки с хозяйственными сумками, из которых обязательно торчали цветы. Без них в Риге считалось немыслимым вернуться с рынка. Молодежь предпочитала авоськи, обычно с картошкой. Деликатесы, те же миноги, несли в портфеле и только мужчины, праздник считался по их части. На Лиго (так латыши называют Иванов день) с базара несли потешные шляпы из гофрированной бумаги. Мне доставалась треуголка – я уже тогда любил историю.

Из окна столовой открывался вид на Дзирнаву – старинную Мельничную улицу, которая тоже вела к базару, но черными, хозяйственными, окольными путями. По ней ходил гужевой транспорт. Я еще застал телеги, в которых развозили молоко в проволочных ящиках. Бутылки легонько тренькали, как хрустальная люстра.

Живя слегка на отшибе, Дзирнаву отличалась странными магазинами. В одном продавали хомуты, в другом – похоронные принадлежности: сатиновые костюмы, рубахи без спины и туфли на картонной подошве. Не удивительно, что мне снились

мертвецы еще до того, как я прочел Гоголя.

За углом, удалившись от центра, Дзирнаву сворачивала к «Маскачке», где улицы напоминали районную библиотеку: Тургенева, Пушкина, того же Гоголя и даже Белинского. Несмотря на писателей, Московский форштадт считали бандитским, и мне не разрешалось его навещать даже с бабушкой.

Зато Суворова вела к цивилизации: к кондитерской в деревянной избушке, на витрине которой хитрая машина выплевывала горячие пышки на глазах у прохожих, и к широкоформатному кинотеатру с довоенным названием «Палладиум», где в пустом зале показывали «Залп „Авроры“», а в полном – «Спартака» с Кирком Дугласом.

В кино меня, впрочем, не пускали, а бабушка предпочитала жизнь искусству, и мы сидели у окна, пока не приходило время варить борщ и кормить Миньку.

3.

Страна жила вождями, мы – соседками. Каждая их них составляла эпоху и отравляла ее.

Лучше всех была первая. Сильва ненавидела русских, но любила нас, особенно – бабушку, приучившую ее к борщу, но не к Шульженко. Со временем, однако, Сильва выросла, и у нее появился Карл – высокий, белобрысый латыш.

Карл работал грузчиком на кондитерской фабрике «Лайма», что значит «счастье». В оригинале это, скорее, латышская Фортуна, языческая богиня везения, удачи, отнюдь не всегда заслуженной, но обязательно лакомой. В центре города стояли часы с надписью «Лайма», где встречались влюбленные. Старушки там продавали букеты, власти построили сортир. От прежнего времени осталось открытое кафе, которое все называли «Птичник». Здесь подавали «Крем-шнитте», самое вкусное пирожное к востоку от Бреста. Но Карл крал конфеты, знаменитый «Прозит», считавшийся лучшей (после Рижского же бальзама) взяткой гостиничному администратору любого города СССР. В узкой коробке лежало восемь шоколадных бутылочек с экзотическими напитками – ромом, шартрезом, банановым ликером. Получался жуткий ерш, который валил с ног рабочих. Ведь они потребляли «Прозит» без закуски – не дождавшись, пока сахарные бутылочки покроет черный шоколад.

С появлением Карла в доме началась сладкая жизнь: взрослые выпивали конфеты, я съедал тару. Идиллию прервала ревность. Наевшись «Прозита», Карл закатывал Сильве скандалы,

считая, что она сошлась с оккупантами, включая бабушку.

Следующую соседку всегда звали Ольгой Всеволодовной.

– Как что, так сразу милиция, – представляясь, сказала она и не обманула, ибо каждое воскресенье у нас начиналось праздником, а кончалось участковым.

Привыкнув, он редко уходил, не выпив рюмки. Это так раздражало Ольгу Всеволодовну, что она пригласила нас на товарищеский суд. Виновные пришли в орденах и медалях – кто за войну, но больше – за труд. Профессора и ученые, инженеры и врачи, друзья моих родителей представляли городскую интеллигенцию, выпивали поллитра на завтрак и могли сплясать на столе. Решив, что правда – посередине, товарищи настояли на статус-кво, и Ольга Всеволодовна перестала с нами разговаривать.

Между тем, пришла зима, и она купила шубу, в которой боялась выходить на улицу, чтобы не сняли. Настрадавшись в одиночестве, Ольга Всеволодовна знаками зазывала к себе бабушку и ходила в шубе от стола к комоду. К нам она не подобрела, но стала задумываться.

– Раньше я считала, – рассуждала Ольга Всеволодовна вслух на кухне, – что евреи водку не пьют, теперь я в этом убедилась: они ее хлещут.

Новая соседка не видела в этом проблемы. Клара Бачан весила 150 кило и коротала жизнь на кухне до тех пор, пока не садилась на диету, во время которой она, намучившись днем, ела ночью. Из-за своего рамадана Клара засыпала там, где садилась, например – на унитазе в нашей единственной уборной. Отправляясь на работу, она присаживалась у входной двери, натягивала сапоги и не просыпалась уже до вечера. Я огибал ее круглую фигуру, когда приходил из школы, предупреждая друзей, чтобы не пугались, потому что в темном коридоре она напоминала Стерегущего идола из книги «Копи царя Соломона», перечитывая которую я всегда вспоминаю соседку.

4.

Наш дом начинался глубоким подъездом, в котором всегда пахло мочой. Замок не мешал страждущим справлять нужду, потому что не требовал ключа и открывался двухкопеечной монетой.

Лавируя по сырому полу, я бросал взгляд на черную доску жильцов. Если к первой букве нашей фамилии добавлялась лишняя палочка, то это значило, что в гости приходил Таксар.

Маленький и полный, он был доктором физико-математических наук, но это не мешало ему носить с собой завернутый в носовой платок мел, которым он, взобравшись на плечи друзей, исправлял Г на П. Дворнику было наплевать, отец, подозреваю, гордился, и доска оставалась нетронутой, пока мел не ссыпался, а Таксар вновь не навещал нас. Его жена выросла в Берлине и видела Гитлера, когда тот приезжал к ним в школу. Евреям разрешили пропустить занятие, но она все равно пришла и ничего особенного не запомнила.

Лестничные клетки украшали большие окна. Я подолгу торчал у каждого, когда возвращался домой, обремененный двойкой. Во дворе росла огромная – выше дома – липа. В ее дупле мог спрятаться ребенок – я, но путь к стволу охраняла бездонная лужа и мусорные контейнеры. Я вздыхал и поднимался на четвертый этаж.

Наша могучая, оставшаяся в наследство от Петрякова дверь могла пережить гражданскую войну, тем более что между первой, железной, и второй, деревянной, оставался проем для засады. В него влезали лыжи, падавшие на неосторожного пришельца. За порогом начинался – и не кончался – коридор. Темный, как прямая кишка с полипами сундуков, он вел в глубину жилья, задерживался на антресолях и, шесть дверей спустя, вливался в кухню. Ею владела чугунная плита с литыми инструкциями, которые объясняли немецким языком и готическим шрифтом, куда что ставить. В наших болотных краях топили торфом. Жизнь спустя я узнал этот кислый запах, спалив в камине сувенирный брикет на День святого Патрика.

За кухней пряталась треугольная девичья, где спала бабушка и пропадал я. Здесь она шила нам тапочки на немецком «Зингере» с ножным приводом, а я разбирал ее приданое: мешок пуговиц и стопку старинных открыток, включая мою любимую с цыпленком в цилиндре:

– Для дороги я одетъ, – говорил цыпленок на дореволюционном, – приготовьте мне билетъ.

Гостей принимали в гостиной, которая становилась спальней, когда закрывалась застекленная французская дверь. Старорежимный шик, однако, кончался, не успев начаться. Выписав журнал «Польша», самое западное из доступных тогда изданий, отец пристрастился к крутому авангарду и покрасил стены по-разному. В одной комнате – серым и синим, в другой – желтым и бордовым, в третьей – зеленым и фиолетовым. Только бабушка («вы – кремень, а я – булат») сумела отстоять в своей каморке обои в цветочек. В отместку отец выбрал для сортира свинцовый сурик и вкрутил в патрон 100-ваттную лампочку без

абажура. Старинный унитаз с высоким сливным бачком и ручкой на цепочке напоминал мне гильотину, наверное потому, что я слишком много читал, в том числе в уборной.

Из всех новшеств главным был трёхногий столик уникальной эллиптической формы, которую отец обнаружил на страницах все той же «Польши». Столешницу из толстой фанеры нам выпилили по блату. Мама работала на атомном реакторе, где умели делать все, кроме полезного. Три гнутые ноги отец приклеил сам. Чтобы стол не выделялся, его раскрасили, как клоуна, и поставили под неизбежным торшером.

На готовое пришли гости и сели за преферанс на новом столе. С тех пор они редко уходили. Игра продолжалась до глухой ночи, но меня не гнали, и я, научившись держать язык за зубами, следил за картами, переживая за всех.

Посередине стола лежала «пуля» – расчерченный, как мишень, лист, на котором велась бухгалтерия преферанса. Первый самиздат, отпечатанная умельцами с того же реактора пуля делилась вековыми поговорками. В одном углу – вздох: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». В другом – урок: «Худшие враги преферанса – шум, жена и скатерть». В третьем – загадочный совет: «Нет хода, ходи с бубей». В четвертом – сухое назидание: «За игру без сноса наверх без двух», но оно не помогало Фончику, когда к концу партии он оставался с двумя лишними картами на руках. Фонарев всегда ходил в галстуке, читал на трех языках, говорил на четырех и помнил ту Латвию, которую все из зависти называли «буржуазной». По профессии он был сапожником и жил на широкую ногу, когда не забывал снести.

Научившись преферансу, я стал приглашать уже своих гостей. Но однажды, не выдержав юного азарта, стол рухнул вместе с бокалами и фарфоровым сервизом. Уцелели только чайные ложки. Оглядев руины, родители решили, что я вырос, и столик исчез из дома. Вместе с ним кончились шестидесятые.

Висвалжу,
или
Мои университеты

Все свое образование я получил на короткой, в один квартал, улице с названием, напоминающим глагол: Висвалжу. Здесь располагалась и очень средняя 15-я школа, и такой же филологический факультет.

К тому времени, однако, родители уже не гнались за красотой, ибо обожглись на ней с моим братом, когда отдали его в школу с видом на Академию художеств. Выстроенная в стиле кирпичной готики, отличавшейся от обыкновенной тем, что была на семь веков новее и намного наряднее, Академия соблазнила отца. Эта архитектура не походила на все, что он видел в православном Киеве и в провинциальной Рязани. Крутые крыши, терракотовые стены, стрельчатые окна с тюлевыми занавесками, за которыми прятались, думалось нам, обнаженные натурщицы. Сам я никогда в Академии не был. Она считалась вотчиной только латышского свободомыслия, где процветала нефигуративная живопись балтийской фовистки по имени Майя Табака и устраивались (по сугубо непроверенным слухам) вернисажи с оргиями.

Так или иначе, Гарика, который в Рязани связался со шпаной и научился курить, определили в школу с эстетическим намеком. Глядя на уроках в окно, надеялись родители, он невольно приобщится к прекрасному. В окно Гарик смотрел, но прекрасное не помогало, и он так плохо учился, что я делал за него уроки до тех пор, как не пошел в школу сам.

Пока этого не произошло, я томился скукой и мечтой о хотя бы начальном образовании, которое я себе воображал по уже прочитанному «Незнайке». Родители не разделяли моих грез, но и не разоблачали их из педагогических соображений. Неопределенное мычание в ответ на мои восторги укутывало полупрозрачным занавесом тайны предстоящую мне школу, и я подозревал в ней мистерию, вроде брака, о котором имел столь же смутное представление.

Встреча, однако, откладывалась, родители тянули, чтобы дать мне шанс насладиться последней свободой. Не принимая этого аргумента, я тянулся к знаниям, как монах к веригам, и выполнял за Гарика упражнения по русскому языку, заполняя пробелы в трудных словах печатными, точнее какими умел, буквами.

Весной эта добровольная повинность становилась особенно

трудной из-за Миньки. Требуя отпустить его на дачу, где нашего кота уже с марта ждали наглые юрмальские кошки, он в знак протеста мочился в валявшийся под столом портфель Гарика. Легкий запах мочи до сих пор ассоциируется у меня с русской грамматикой, но, как почки в рассольнике, этот нюанс придает ей прелесть, которую могут оценить лишь истинные знатоки и любители.

2.

К моему разочарованию, первого сентября уроков не было, но снаружи мне школа понравилась. За незатейливым и добротным желтым зданием привольно расположился стадион со взрослым футбольным полем. С другой стороны, под железнодорожной насыпью, росли ветхие ивы с глубокими дуплами. В них, как я вскоре выяснил, прятались курившие школьники.

На следующий день я вошел в вестибюль, отравленный запахом еще не просохшей, напоминавшей о лете зеленой краски. Первым меня встретил похожий на ангела курчавый Ленин. (Много лет спустя, уже в Америке, я подружился с Мишей Бланком, который выглядел точно так же, только был больше.) Второй была гардеробщица. Толстая и миролюбивая, она вскоре стала моим единственным утешением, и мне стыдно, что я забыл ее имя-отчество. Зато я запомнил свою первую учительницу Ираиду Васильевну и ничего ей не простил.

Чтобы понять весь ужас происшедшего с тех пор, как я вошел в класс (1 «В»), я должен объяснить, чего ждал от школы. В моих глазах она была истинным (в отличие от ложных, с крестами) храмом. В нем, естественно, поклонялись знаниям, которые были захватывающей игрой, как футбол, праздничным ритуалом, как Новый год, бескорыстной любовью, как к Миньке. Но главное – знания обещали переход в иной, потусторонний, мир, где росла душа, отрываясь от тела.

На самом деле в школе тело отрывалось от души и становилось единственно важным, как я выяснил еще до звонка, получив моим же портфелем по кумполу.

Второй школьный урок мне преподала Ираида Васильевна, видевшая во всех нас малолетних преступников. Бесправные и неполноценные, мы постоянно нарушали закон: вертелись, щипались, шептались, а один (если верить дневнику, им был я) даже мяукал на уроке. И как его (меня) не понять, если нас, как Миньку, держали взаперти, за глухими, хоть и застекленными дверями, не пуская в весенний сад, где растет древо познания с

румяными плодами из Жюль Верна.

Школьные знания начинались с прописей и кончались двойкой. Между двумя точками одной кривой случались, как по пути к Голгофе, остановки. Мерзкая перьевая ручка с пером-уточкой, эбонитовая чернильница с лживым названием «непроливайка», подобострастный смех соузников над идиотскими шутками учительницы, тапочки для физкультуры, из-за которых все узнали, что я не умею завязывать шнурки, и, конечно, изнурительная скука знаний: «жи-ши пиши через и», а что пиши, никому не важно.

Перемены разительно отличались от уроков и были намного хуже. Вырвавшись из-под педагогической узды, дети возвращались в естественное состояние неблагородных дикарей. Сильные били слабых, слабые – беспомощных, и единственным способом ограничить насилие был футбол. За это я люблю его до сих пор.

Я не помню, чтобы мне удалось забить мяч в чужие ворота, но игра придавала азарту форму и удерживала от беззакония на время тайма. Признав мои усилия казаться нужным, меня перевели в полузащитники, отодвинув подальше от безнадежного вратаря. В сущности, на этой позиции – сидя на двух стульях между двумя континентами – я и провел всю последующую жизнь, но тогда я этого еще не знал, простодушно радуясь тому, что на поле били только по мячу.

Понимая, что помощи ждать не приходится, я не рассказывал дома правду о школе, но она мне снилась. Ираида со стальными зубами, правописание в кляксах, штаны с чернильными подтеками, разбитое окно, преследовавшее меня до каникул. Просыпаясь, я шел в школу. Обходя трещины на асфальте, я таким образом заклинал судьбу, чтобы не получить двойку на уроке или на перемене – по лицу. Свернув на куцую улицу Висвалжу, откуда до школы оставалось три минуты, я замедлял шаг и начинал клясться.

– Пройдет много лет, – говорил я себе про себя, – я стану большим и глупым, как все взрослые, но никогда, что бы со мной ни произошло и где бы я ни оказался, я не забуду тех страшных трех минут на улице Висвалжу, которые отделяют меня от первого звонка, Ираиды Васильевны и мордобоя.

Я не забыл об этой клятве до сих пор, хотя и дал ее в первом классе. Во втором появился Максик.

3.

Второгодники в школе играют ту же роль, что на воле – блатные. Они ходят вразвалку, размахивают руками – так, что видны ладони. Они нравятся женскому полу. Они внушают страх и сидят на камчатке. Максик был смазлив, высок, силен и смышлен во всех сферах жизни, кроме учебной. Влившись в коллектив, он сразу установил свое превосходство в поединках с элитой – форвардами футбольной команды. Доказав свою силу там, где она могла внушать сомнение, он перешел, уже из молодецкой удали, на слабых, в том числе – на меня.

– Вырубим? – сказал Максик на большой перемене, которую мы коротали под ивами.

– Не стоит, – скрывая ужас, уклонился я.

Но было поздно. Однокашники уже образовали круг, а Максик (в качестве бандерильи) хлопнул меня по щеке еще открытой ладонью. Вспомнив боксеров из телевизора, я стал подпрыгивать на месте, чем вызвал гогот и получил под дых. Горя от возбуждения и страха, я не чувствовал боли и гадал, когда это кончится. Никем не установленные, но всем известные правила предусматривали два исхода драки: до первой крови или уложить на лопатки. Не дожидаясь первой, я, надеясь быстрее сдаться, вошел в клинч и неожиданно повалил противника на спину. Одержанная на глазах класса победа была бесспорной, но я не заблуждался в том, что мне предстоит дорого за нее заплатить.

С того дня Максик бил меня на каждой перемене и еще после школы. Жаловаться я не мог, потому что это было еще хуже, чем плакать. Прогуливать школу я не решался, а по болезни не выходило. Несмотря на общую хилость (меня даже звали Скелетом), я никогда ничем не болел. Только раз из-за мороза отменили занятия, после чего я каждое утро бросался к градуснику.

Самое странное, что Максик был мне врагом не всегда, а только в школе. Его мать обладала немалой властью, служила дворничихой в соседнем доме и все про нас знала. По вечерам она посылала сына к нам поиграть и набраться ума. Максик звонил в дверь, вежливо здоровался и намекал, что хочет есть. Бабушка бросалась жарить картошку, но перед тем, как сесть к столу, он недолго отнекивался, считая, что перед едой положено стесняться.

В школе, однако, все начиналось сначала. Максик заламывал мне руку, пачкал форменный пиджак с якобы белым воротничком и возил носом по полу на глазах у девочек. По немому уговору мы с ним никогда не обсуждали в школе то, что происходило дома, а дома – то, что случалось в школе.

Я даже знаю – почему. Школа была фронтовой зоной, но

переступив наш порог, Максик становился абреком, которого следовало угощать и не попрекать. Разобравшись в этикете и дойдя до отчаяния, я решил перенести военные действия на его территорию. Вооружившись игрушечным молотком, сопровождавшим меня в геологических экспедициях, когда мы жили на даче, я пришел к нему домой и сразу, не пускаясь в объяснения, треснул молотком по лбу. Максик упал скорее от удивления, а я вернулся домой, трепеща от триумфа, восторг от которого не оставляет меня и сегодня.

Вечером, однако, к нам ворвалась его мать. Назвав меня уголовником, она обещала подать в суд, и родители ее едва успокоили, обещав меня сильно выпороть, что было, конечно, ложью и блефом. Били меня только в школе, а отец ударил один раз, когда я умудрился получить единицу по ботанике.

К счастью, Максик вновь остался на второй год, и наши пути разошлись, чтобы пересечься, когда мы выросли. Местом встречи служил гастроном, где он служил грузчиком, а я – клиентом, покупавшим выпивку а неурочное время. От перемены мест наши отношения не изменились. Максик по-прежнему был на коне и зарабатывал – в том числе на мне! – сколько нам и не снилось.

– Что-то тут не так, – понимал я, но сумел исправить положение, лишь оставив ему страну.

4.

Школьные годы тянулись, меняясь меньше меня. Я рос, учась выживать. Сидел, например, у окна на нужной парте. Первая – для отличников, последняя – для второгодников, вторая – в слепом пятне, где можно невозбранно читать свое или пялиться на рельсы, где сновали пригородные электрички и поезда дальнего и недоступного следования. В остальное время я писал стихи – фломастером на парте, по-английски и ямбом: *«Make love, not war»*.

Моя экстравагантная парта нравилась девочкам, и я зауважал английский язык как средство общения между полами. Жизнь сделалась сносной. Особенно после того, как я перебрался на другую сторону все той же улицы Висвалжу, чтобы войти в цементный куб филологического факультета.

На вступительных экзаменах я выбрал беспроигрышную тему для сочинения: «Народ у Пушкина». Чтобы не путаться с цитатами, я остановился на одной, из «Годунова»: «Народ безмолвствует». Не уловив – или наоборот – уловив диссидентский подтекст, экзаменатор поставил мне пятерку. Сдав

остальное не хуже, я поступил в университет в непривычном ореоле круглого отличника. Именно поэтому меня выбрали комсоргом.

– Я не достоин принять эту должность, – сказал я кобенясь, как тот же Годунов.

– Достоин, – возразили старшие.

– Нет, не достоин, – уперся я, – потому что не имею чести состоять в комсомоле вовсе.

Проверив бумаги и убедившись в промахе, меня отпустили из деканата. Лучшее, что я могу сказать об университете, сводится к тому, что я там женился.

С тех пор прошло сорок лет. Все в моей жизни поменялось, кроме жены, с которой мы иногда поем дуэтом чуть ли не единственное, что вынесли из университета: *«Gaudeamus igitur. Juvenes dum sumus».*

И еще, вспоминая уроки отечественной морфологии, мы коротаем долгие, как водится в Америке, автомобильные поездки за филологическими играми, способными свести с ума изучающего русский язык иностранца.

– Если он – чиновник, – начинаю я, – то она – чиновница.

– Если он – мельник, – продолжает жена, – то она – мельница. Но если он – хохол, то она – хохлушка.

– А если – бездельник, то она – безделушка.

Юрмала, *или* Каникулы

Если школа была моим адом, то каникулы – раем, а выходные – чистилищем. Всю неделю я жаждал свободы, как Мцыри, но терял его отвагу в воскресенье и тайком плакал из-за того, что оно кончается, так и не дав мне обещанного.

Другое дело – лето. Вмещая все мечты сразу, оно было бесконечным и начиналось поздним мартом с первым весенним дождем, оставляющим в сыром воздухе запах арбузов. Я проверял – нигде в мире так не пахнет. Но те, кто вырос со мной, твердо помнят эту безусловную примету перемен, сводившую с ума детей, котов и взрослых. Людей, однако, и весной держали в неволе. Ее Минька не признавал и писал всем назло и куда попало, пока его первым не отвозили на дачу, чтобы оставить там на произвол судьбы. Он на нее никогда не жаловался. Два месяца спустя Минька, уже не обращая никакого внимания на все еще ждущих его на заборе кошек, встречал нас отощавшим, счастливым и вновь домашним.

Летний рай располагался на улице нашего с отцом имени – Александра, в сложносоставном строении, отделенном хилым забором от дома-музея народного поэта Яна Райниса, сдававшего при жизни комнаты отдыхающим. Собственно нашего в даче была одна веранда, застекленная матовыми стеклами, как в бане. В ней жили все: папа с мамой, мы с братом, обе бабушки, временами Минька. По ночам еще приходил еж, который топал лапками и хлюпал молоком. К вечеру в комнате вырастала сложная, как оригами, вязь раскладушек. Поскольку мне не удавалось пройти в уборную, не разбудив семью, меня, как я ни возражал, снабдили горшком, словно маленького.

Важно, что в отличие от киевского курятника на Евбазе, дачная теснота была результатом добровольного опрощения и приносила нам радости больше, чем Толстому. Во-первых, вокруг рос жасмин, который в Америке отказывается пахнуть. Во-вторых, до моря три шага, и все – по дюнам. В-третьих, в остальных комнатах, каморках, коридорах и мансардах неисчерпаемой, как кубик Рубика, ведомственной дачи жила Академия наук, с которой бледными вечерами взрослые играли в преферанс. В-четвертых, я освоил велосипед и мой летний мир стал безграничным не только во времени, но и в пространстве.

Юрмала моего детства называлась просто взморьем, и

каждый рижанин знал, как считалку, названия пригородных станций. Первые – Торнякалнс, Заслаукс, Иманта – не жалко проехать зажмурившись. Приедайне обещало пустынные приключения. Лиелупе стояло у моря и реки. Начиная с Булдури курортная жизнь обретала удельный вес ртути: в погожий день негде было постелить полотенце. Мы обитали на остановку дальше, во взморской столице – Дзинтари.

Здесь жизнь цвела, и никто не прятался от скупого солнца. Лежачие играли в тот же преферанс. Стоячие – в волейбол без сетки. Юноши, как Минька в поисках любви, бродили по твердому песку вдоль моря в треугольных плавках, которые можно было надеть, не снимая трусов. У каждого в руках гремело орудие соблазна: гордость латвийской радиотехники транзисторный приемник «Спидола», настроенный по вкусу владельца и степени его свободомыслия. У одних – на *BBC*, у других – на «Голос Америки», у отчаянных – на «Свободу», а на «Маяк», объясняли старшие, девушки не клеятся.

– Ну и не надо, – думал я, предпочитая велосипед, который мне не изменял до старости.

Дачные дни начинались рано и никогда не кончались. Не ночь завершала счастье, а изнеможение. Северное лето отодвигало закат к рассвету до тех пор, пока не наступала ночь Лиго. Отмечая последний языческий праздник Европы, власти украшали всю дугу Рижского залива столбами с бочками подожженного дегтя. Вокруг них водили хоровод и русские, и латыши. За пивом царила дружба полов и народов. Девушки позволяли себе лишнее, мужчины – тоже, и только я бесцельно вертелся под ногами, радуясь, что не гонят спать.

Однажды карнавал заметил пристрастившийся к нашему взморью Хрущев. Воинствующий безбожник, превративший рижский православный собор в планетарий, он не сделал исключения для Перуна, и Лиго, став подпольным, переехало на хутора, подальше от оккупированного атеистами побережья.

Изгнание из рая завершил не советский вождь, а латышский классик. К очередному юбилею музей расширился, захватив нашу дачу. Там, где мы с ежом жили летом, теперь кабинет Яна Райниса. Даже улица сейчас носит не мое имя, а поэта.

Хорошо еще, что это ничего не отменило, ибо я подрос и научился устраивать каникулы не только в летний, но в любой день, включая прогулянный. Зимой, особенно когда замерзало море и казалось, что по нему можно уйти в Швецию, Юрмала была еще прекраснее. Снег с трудом держался на приморских соснах, в лесу пахло шишками, костер грел, шипели насаженные на ветки охотничьи сосиски, и на пустом взморье у нас не было

конкурентов. В такой ситуации мне не оставалось ничего другого, как влюбиться.

2.

– Суламифь, – представилась она, протянув узкую ладонь.

– Соломон, – ответил я, надеясь показать, что читал «Песнь песней», разумеется Куприна, а не в Библии, но она, не признав подвоха, добавила заготовленное:

– Можно – Сула.

– А меня – Саша, – сказал я, почувствовав себя идиотом, которым, бесспорно, был.

Сула училась в латышской школе и принадлежала к совершенно незнакомой мне породе евреев, составлявших цвет довоенной рижской интеллигенции. Отец – знаменитый невропатолог. Мать звали Лаймой, и она действительно напоминала латышскую богиню, если судить по изображению на серебряном лате, который Сула носила на худой шее в качестве амулета. Греза арийской расы, статная, белокурая и голубоглазая Лайма была так хороша собой, что немецкий охранник помог ей сбежать из гетто в Швецию. Вернувшись на родину, которой вся эта семья считала несоветскую Латвию, она стала лучшей учительницей иностранных языков в городе. Меня она полюбила после того, как придя к ним в гости, я опознал в рисунках на стене автора – Эрнста Неизвестного, оказавшегося ее давним поклонником.

С Сулой все сложилось труднее. Хотя она знала четыре языка, ни один из них не был общим. Приступая к осаде, я задал вопрос, банальный, как E2-E4:

– Кто твой любимый поэт?

– Ты, конечно, думаешь, что я скажу Райнис, – обрадовалась Сула, – но я назову Александра Чака.

Первый хоть был соседом по даче, о втором я только слышал.

– Это латышский Маяковский?

– Сам ты Маяковский, – обиделась Сула и взялась за мое образование.

Мы слушали оперы Альфреда Калныньша, посещали выставки Яниса Анманиса, читали стихи Иманта Зиедониса, ходили на спектакли театра *«Dailes»*, смотрели боевик Рижской киностудии «„Тобаго“ меняет курс» и закусывали серым горохом в пивной *«Kamielis»*. Всё было без толку, потому что по-латышскому у меня была твердая двойка, которую только в аттестате сердобольно заменили прочерком.

Русским Сула не интересовалась вовсе. Чтобы ее переубедить, я написал для нее сочинение о любви, которое она добросовестно перевела на латышский.

– Из всех искусств «одной любви музыка уступает», – писал я в нем, опустив кавычки в расчете на то, что в латышской школе не помнят Пушкина, но это не помогло, и Суле влепили тройку.

Культурная программа достигала кульминации в момент прощания. Согласно этикету свидания к нежностям (в теплом парадном, прячась от входящих и выходящих) позволялось приступать лишь ввиду предстоящей разлуки, хоть мы и встречались каждый вечер. Несмотря на мешающую всему зиму, наши половонезрелые отношения шли сверху вниз и становились увлекательнее от поцелуя к поцелую.

О первом я, не в силах скрыть улыбку, рассказал бабушке.

– Какие тебе нравились мальчики? – спросил я ее в ответ на собственную откровенность.

– Молчаливые, – вздохнула она, – но их всех поубивали еще в Гражданскую.

Молчать я не умел, целоваться тоже, но это оказалось и не важным, ибо на самом интересном месте нас прервал национальный вопрос. Его поставил ребром паспортный стол, когда мне стукнуло шестнадцать.

Как всякое дитя смешанного брака, я хотел быть русским, но власти не предусматривали такой альтернативы.

– Либо национальность отца, – брезгливо пресекла паспортистка мою попытку примазаться к великороссам, – либо – матери.

В переводе на советский, вопрос стоял так: жить мне евреем или нет. Отцу мои сомнения казались нелепыми.

– Полукровок не бывает, – сказал он, – ты всегда будешь евреем, так хоть в документах – украинцем.

Послушав его, я отказался от праотцов и был за это немедленно наказан. Узнав о том, что я стал украинцем, Сула изгнала меня из Эдема ее подъезда, как преданный мною Бог – Адама.

– Вспомни Масаду! – сказала она мне на прощание, и я ушел, посыпая голову пеплом «Примы», которую мы курили, когда не могли достать «Элиту».

Старые рижские евреи были билингвами. Они виртуозно владели двумя языками – своим и чужим: лучше всего – немецким, потом – латышским, наконец – русским. Врачи еще знали итальянский, ибо учились в муссолиниевской Италии, где, в отличие от буржуазной Латвии, евреев принимали на медицинский.

Сула была снаружи латышкой, а внутри еврейкой. Я же, зная английский со школьным словарем, уже считал себя космополитом и видел в евреях всего лишь союзников по оппозиции ко всему, что ненавидел в окружающем. Другими словами, евреи мне были близки по духу, а ей – по крови, и примирить нас было так же непросто, как Новый Завет с Ветхим.

Тем не менее, мы старались. Каждый страдал от разделенной любви по-своему: я сочинял стихи, она – письма.

– «Мне нравится твоя ерудиция»– писала она в одном, и я таял от милой, как у Татьяны Лариной, ошибки, мечтая вернуться на ту страницу, с которой нас согнали евреи.

3.

Горя от стыда и страсти, я не заметил, как началось лето и кончилась школа. К выпускным экзаменам я готовился, шляясь по украшенным, но пустым, словно в «Земляничной поляне», улицам. В тот год страна отмечала 100-летие Ленина и смотрела сериал «Сага о Форсайтах». Ни тот, ни другой меня нисколько не интересовали, и я торчал, уткнувшись для конспирации в учебник не помню чего, на перекрестке улиц Петра Стучки и Фридриха Энгельса, где размещался потерянный рай.

Первого экзамена я не боялся, потому что с четвертого класса писал сочинения за всех, кто меня просил, а не только за тех, кто мог себе это позволить, как, например, Лева Канторович, расплатившийся первой в моей жизни шариковой ручкой, вернее – медным стержнем от нее.

Написанная на доске тема выпускного сочинения не отличалась от всех, что я писал до тех пор: «Делать жизнь с кого».

– С Ван Гога, – размашисто решил я и шесть часов объяснял свой выбор, пересказывая книгу «Жажда жизни» Стоуна и напирая на отрезанное ухо.

Мне никогда не вспомнить, что я написал в горячке, потому что к обеду выяснилось, что она не носила творческого характера. Когда мне удалось добраться домой, термометр зашкалил, но этого я уже не помню. Участковый доктор, дородная, но ворчливая тетка, которая по летнему легкомыслию сначала приняла менингит за насморк, велела отцу подготовить мать к неизбежному исходу. Мама, однако, не верила врачам и считала, что все болезни от нервов, даже тогда, когда она потеряла глаз или я сломал руку.

Три дня спустя, когда меня все-таки удалось привести в сознание, отец с испугом выяснил, что я забыл, кем был

Ульбрихт, как умерла киевская бабушка и стихотворение Киплинга «Если», которое он меня заставил выучить заново.

К болезни я не был готов, так как несмотря на упорные усилия за все школьные годы мне не удалось заразиться даже гриппом. А тут, накануне свободы, меня одолел менингит, и два (летних!) месяца я не вставал с больничной койки. Мне сделали триста уколов, и сестра не могла найти живого места, чтобы воткнуть иглу. Хуже всего была спинномозговая пункция, и чтобы ее вытерпеть, я развлекал врача, декламируя того же Киплинга. Еще меня мучила необходимость справлять нужду лежа, потому что на ягодицах не осталось мяса, а на костях сидеть нельзя.

Таких доходяг на всю больницу оказалось двое. Второй, Толя, был парализованным. На танцах в профтехучилище он вывалился с балкона, показывая друзьям, как нужно запрокидывать голову, чтобы влить портвейн в прямое горло (еще это называлось «горнить»). Здоровый, но неподвижный по шею, Толя жил свиданиями с девушкой, которую он пригласил на танго перед падением. Хотя они не успели даже познакомиться, она приходила из жалости, которая таяла от встречи к встрече. Толя ей и здоровым не нравился, а в больнице он стал неуживчивым и, время от времени забывая о своем положении, грозил начистить мне рыло. Приходя в палату, бабушка жалела его больше меня и делила передачи между нами поровну. Мы оба больше всего любили ее жареную картошку, но я уже мог держать вилку.

С каждым проведенным в больнице днем мои желания росли по экспоненте. Сперва я хотел сесть, потом – встать, вскоре – закурить, наконец – размечтался о свидании. Но его пришлось отложить на двадцать лет. Пока я болел, Суламифь уехала в Израиль.

В остальном мне повезло. Менингит не оставил последствий, если не считать белого билета, с которым не брали ни в одну армию мира. Основанием служил записанный в медицинскую карту симптом: «Девиация языка влево».

– Хорошо, что не вправо, – обрадовался отец.

Замок, *или* Богема

Я выходил из нашего далеко не парадного подъезда и сворачивал налево, минуя книжный магазин с обманчивым названием *«Grāmatas»*. Заходить туда не было решительно никакого смысла. Из полезного там не торговали даже тетрадями. Книги же были бутафорскими, как еда в гастрономах Пхеньяна, и тоже непригодными к употреблению, во всяком случае, к чтению. Одна, написанная на латышском и не поддающаяся, словно этрусские надписи, переводу на современные языки, называлась «Ленин в Пскове».

Про Псков не знаю, но в Риге Ленин однажды переночевал. Тем не менее памятник ему все равно поставили, и каждое первое сентября мы приносили к постаменту цветы. К вечеру их искусно выкладывали в беспартийную икебану, которой, не поднимая глаз выше постамента, приходили любоваться горожане. В Риге даже алкоголики любили цветы и воровали их с кладбищ, где было так вкусно выпивать ранней осенью.

Киров тоже не имел отношения к Латвии, но его именем назвали красивую улицу, ведущую от моего дома к одноименному парку. Разбитый на земле, пожертвованной вдовой генерала Вермана, он занимал правильный квадрат и входил в мой ареал проживания, сколько себя помню. В ближнем углу росло диковинное дерево гингко. Ровесник динозавров, оно служило знатным ориентиром, и начитавшись приключенческих романов, я зарыл под ним клад. Поскольку я не проговорился, он до сих пор дожидается – меня или счастливого случая. Жаль, не помню, что зарыл.

Став старше, я перебрался к киоску у входа, где бывало пиво, обычно – зимой. В стужу его грели в чайнике на электрической плитке.

– Кружку с подогревом, – просили мы и тянули ее столько, сколько могли выдержать на морозе: на две сигареты.

По другую сторону улицы – диетическая столовая. От обыкновенных она отличалась простором. Под стол влезали бутылки с крепким вином, называвшимся «Волжским», но изготовлявшимся на «Рижском заводе шампанских вин». Ни к Волге, ни к шампанскому, ни к вину этот напиток не имел отношения, но это никого не беспокоило, более того – не удивляло.

Чуть дальше – магазин подписных изданий. Здесь покупались все собрания сочинений, заполнявшие каждый дом, где я бывал. Наша библиотека начиналась с Ленина, Сталина и Большой советской энциклопедии.

– Первые два многотомника, – объяснял мне отец, – держались для отмазки, последняя – из злорадства, ибо входящие в нее большевистские герои часто становились врагами народа. На Берии власти не выдержали. Когда его расстреляли, в дом пришли гости, прочно склеившие крамольные страницы.

От испорченной энциклопедии на всякий случай избавились, но инцидент не отучил моих родителей от любви к книгам в одинаковых обложках. Последним был Гоголь. За ним уже не они, а мы стояли всю ночь в веселой очереди.

У памятника Ленина дорога сворачивала на улицу Ленина, которую мы простодушно называли «Бродвеем». Здесь жила власть. Слева – светская, справа – небесная: планетарий. Под спиленными крестами ложновизантийского собора велась наглядная атеистическая пропаганда. Детям и влюбленным показывали пустой космос, где негде было спрятаться Богу. Школьники смотрели вверх, парочки радовались темноте, остальные пили кофе в буфете, прозванном «Божье ухо».

Чуть дальше стоял монументальный след былой свободы: Милда, медная дева с тремя – по числу латышских провинций – звездами во вскинутых руках. В гранитном цоколе памятника Свободе была маленькая, вечно запертая железная дверь. Детям рассказывали, что там держат живого фашиста. Демонстративно повернувшись спиной к Ленину, Свобода с надеждой смотрела на Старую Ригу. От нового города ее отделял древний канал, в котором водились казараки. Колючая рыбка размером с кильку была категорически несъедобна, даже для кошек. Зато она была легкой добычей и ловилась на нитку с узелком вместо крючка.

Углубившись в соблазнительную паутину узких улиц, я каждый раз выбирал себе ту, что гармонировала с погодой, но всегда останавливался у Пороховой башни. Хорошо сохранившаяся, но не находящая себе применения в буржуазной Латвии, она стояла вакантной, пока в ней не поселились голуби.

– Предприимчивый балтийский немец с большой нацистской карьерой Альфред Розенберг, – гласит местная легенда, – начал с того, что откупил у отцов города скопившиеся в башне гуано и продал его с немалой выгодой.

Освободившаяся от птичьего помета башня стала со временем музеем революции, где меня приняли в пионеры – и исключили из них за то, что я кривлялся в исторической достопримечательности.

Отсюда было уже совсем близко. Через Шведские ворота, мимо дома, где жил последний городской палач, на булыжную площадь перед замком. Пройдя мимо миниатюрного Музея зарубежного искусства, где хранились рыцарские доспехи и выставлялся Пикассо из коллекции Эренбурга, я протискивался в переулок, огибавший толстые бока приюта крестоносцев. За его многометровыми стенами с невиданной роскошью расположился дворец пионеров. Возле реки я сворачивал в узкую калитку, поднимался по каменным ступеням и наконец входил в уставленную столами и зонтиками площадку за крепостной стеной. Это и было знаменитое кафе «Пилс», что по-латышски значит «Замок».

Я ходил в него каждый божий день, притворяясь, что живу на Западе, который пришел в «Пилс» лишь тогда, когда я навсегда покинул свой город.

2.

– На таком заработаешь, – саркастически заметил отец моей подруги.

Парикмахер по профессии и пьяница по неискоренимой душевной склонности, он пропивал зарплату, сидя у телевизора. Следя с равным вниманием и бесконечным терпением за речами Брежнева и прогнозом погоды, он все программы называл «хоккеем» и не отрывался от экрана, пока не кончалась выпивка.

В моем случае он был бесспорно прав, потому что в парикмахерскую я не заглядывал с шестого класса, когда меня туда привел недвусмысленный приказ директора школы. В отместку я покрасил шнурки кедов голубой масляной краской. На нее сразу налипла пыль, и шнурки вышли не пестрыми, а грязными. Что тоже годилось, потому что больше всего я хотел быть хиппи, и не когда вырасту, а прямо сейчас. Родители мне не препятствовали, бабушка помогала. Она сшила рубаху-«батник» из ситца в мелкий цветочек и штаны из бордового вельвета, которые вскоре удачно облысели на коленях. О джинсах я и не мечтал. Запредельная, как «Мерседес», роскошь, они были только у моего тезки, чья мать плавала в загранку.

– «Ливайсы», – с напускной скромностью объяснял он, – гарантия – семнадцать лет.

Неровная цифра казалась особо убедительной, но тем же летом штаны лопнули на коленях и нижняя часть отвалилась напрочь.

– Шорты – невозмутимо сказал владелец, – но все равно

«Ливайс», и гарантия – та же.

Надо сказать, что Запад знал о нашей страсти и сочувствовал ей. Я выяснил это уже в Америке из сериала «Мак-Гайвер», где вооруженный швейцарским перочинным ножом герой спасает из чекистских застенков великого русского поэта, которого играл мой приятель, удачно перебравшийся из Риги в Голливуд. Опознав в спасителе американца, неназванный поэт, под которым, конечно, подразумевался Бродский, кричит, подпрыгивая от радости: «Я лечу в Америку! У меня будут джинсы!»

– Вранье! – возмутился Карл Проффер, издававший в своем «Ардисе» все книги Бродского, – Джинсы у него и в Питере были – Набоков прислал.

Я, однако, никакого Набокова не знал и жил без джинсов, что, в сущности, было даже к лучшему, ибо роскошь считалась несовместимой с опрощенным бытом хиппи. Теперь я бы определил эту меланхолическую установку с помощью термина утонченной японской эстетики: ваби-саби. Неброские цвета, намеренная угловатость, тусклая заношенность, грубоватая неотделанность, не нарочитая, а не замечающая себя бедность. Признав все это не чуждым отечеству, Москва сегодня назвала «Ваби-саби» сеть дорогих, как, впрочем, всё тут, кафе. Но в мое время ваби-саби царило всегда и всюду, и отличить умышленную бедность от неумышленной нам было труднее, чем самураям.

Вот почему я не стригся. Это был самый простой, но не самый безопасный способ выделиться и перебраться поближе к Западу. Длинные волосы отличались от коротких, как евреи от русских. Они разом и незаслуженно переносили тебя в оппозицию к власти, конечно, не такую роковую, как диссидентство, но еще более очевидную и, пожалуй, не менее раздражающую.

В Риге еще терпели, но в Сочи, куда я добрался, как обычно, на попутных машинах, меня доставили в милицейский участок.

– Постригись – отпустим, – сказал толстый, но отнюдь не добродушный начальник отделения.

– Ни за что, – сказал я, воспитанный на Евтушенко и другой свободолюбивой литературе.

– Тебе же лучше, – неожиданно сменил тон милиционер, – а то за бабу примут.

– Пусть, – не сдался я, и был отпущен на четыре стороны, из которых одну – западную – сторожил катер пограничников.

Не склонившись перед угрозой, я не поддавался уговорам.

– Если тебе есть, что сказать, – говорили взрослые, – мир лучше услышит тебя подстриженным.

– Маркс не стригся, а памятник поставили, – упорствовал я на

своем, и от меня отстали все, кроме отца, который и не приставал. Более того, он сам носил бороду, единственный в своем полуштатском институте, где всем полагалась лётная форма. С бородой отец выглядел в ней, как Хемингуэй на фронте.

Но у меня она еще не росла, и я, обходясь черными лохмами, походил на доисторического «Человека из ниоткуда». Так называлась популярная комедия с забытым сейчас, но ощутимым тогда антисоветским подтекстом. Он, впрочем, сопутствовал всему, чем я жил, придавая отчетливый вектор нашим увлечениям, мечтам и досугу. Как все молодые, мы считали себя богемой, хотя пользы и вреда от нас было не больше, чем от казараг из средневекового канала.

3.

Богемой мог считаться только один из моих друзей – Нелаев. Его, как и всех остальных в моем помете, тоже звали Сашей, но в отличие от других он писал не стихи, а картины. За столиком в «Замке» он говорил меньше, а я – больше всех. Чашка кофе стоила 9 копеек, ее хватало до заката, и мы редко покидали кафе раньше.

Сидя под могучей стеной башни-донжона, возведенной орденом меченосцев, я чувствовал себя внутри чужой истории и географии. Заблудившись в непонятных координатах, мы хотели сбежать в еще более причудливые края, о которых пели «Битлс» и рассказывали советские газеты в рубрике «Их нравы». Одну вырезку я носил с собой. В ней шла речь о колонии хиппи. Поселившись на пляже Крита, они жили на донорские заработки, обменивая кровь на хлеб, вино и любовь, естественно – свободную.

– Эдем, – справедливо полагал я, – но не потому, что там не приходилось работать.

Мы все стремились к творческому труду, но дело не шло дальше стихов. Они получались только у одного, написавшего «Хрустальной ягодой во рту моем зима» и угодившего на Аптекарскую, где в жутком районе Красной Двины, русского притока латышской Даугавы, располагался сумасшедший дом. Другие, не зная, о чем пишутся стихи, еще не догадывались, что этого никто не знает. Так и не разобравшись с сюжетом, мы сообща переводили самиздатское либретто мюзикла *«Jesus Christ Superstar»*, из которого впервые узнали подробности недоступного нам источника.

Мечтая стать художником, Нелаев не принимал участия в этом проекте. Бросив школу, как Бродский, он не знал

английского, но собирал заграничные альбомы, ради иллюстраций. На них он тратил заработок ученика токаря на заводе гидрометприборов, где он задержался после того, как мы там прошли производственную практику.

Мне завод представлялся страшным испытанием, предостерегающим от нетворческой жизни. Нет ничего скучнее, чем нарезать один длинный прут на много маленьких заготовок неизвестно чего. За 1000 штук платили рубль, но не мне. Меня отставили от станка, когда я загубил третий – уже победитовый – резец. С тех пор я с облегчением бил баклуши в заводском сортире, прячась от старших. Один меня нашел и угостил из прозрачной бутылки от кефира неразбавленным гидролизным спиртом. Большей гадости я не пил, пока не попробовал в Китае дорогую водку «маотай», точно также отдающей паленой резиной.

Нелаев, однако, за работой не скучал, сочиняя в уме картины, сюжетом которых он никогда не делился. Познакомиться с ними мне довелось лишь тогда, когда я побывал у него дома, точнее – в избе. Их в нашем городе называли деревянным зодчеством и охраняли государственным законом и муниципальной ленью. Соединяя в себе черты терема и фавелы, жилье включало сени с бочкой соленых грибов-горькуш, русскую печь и уставленную полированной мебелью светелку с иконой. За стеклами модного серванта, заменявшего неизбежные в других квартирах книжные шкафы, горели суриком картоны будущих фресок. На них улетали от зрителя в звездную ночь тлеющие кресты Голгофы. Схваченные в крутом ракурсе, они, как галактики, разбегались в пустое, еще не знакомое с происшедшим пространство. Миссионеры с искрами, кресты вонзались в космос с азартом баллистических ракет и эффектом атомной бомбы.

– «Джисус Крайст суперстар», – с восторгом сказал я, но Саша не отреагировал, организовывая закуску.

За щедрой, на двадцать яиц, глазуньей с салом он представил родителей, которых я на всякий случай посчитал крестьянами.

– Они у меня дикие, – ласково сказал Саша, – я им зарплату принес, а они мне пиджак купили.

Старики, которыми мне тогда казались все, кто был старше вдвое, мирно улыбались и не протестовали против жизни среди искусства, о котором мы все уже мечтали, но еще не знали, как подступиться.

Саласпилс,
или
Рисунки на полях

Моя литература началась с украденной бумаги, которую приносила мама. Всю рижскую жизнь она, хотя у нее был только один глаз, работала конструктором и создавала многометровые чертежи насосов, необходимых для функционирования атомного реактора, признанного в независимой Латвии категорически ненужным. Он располагался в живописном лесистом пригороде Саласпилсе, где немцы поубивали столько евреев, что советской власти пришлось соорудить им мемориальный комплекс. Евреи, впрочем, там не упоминались. Настоящий автор, Эрнст Неизвестный, как я узнал от него намного позже, – тоже.

В те времена евреи помещались в серой зоне дозволенного, о которой все знают, но не говорят, как о сексе при детях. Считая нас всех недорослями, власть, как моя украинская бабушка, из деликатности называвшая евреев «этим народом», выносила все для себя сомнительное и неприятное в подтекст, что, конечно, любому тексту придавало двусмысленный – оппозиционный или похабный – оттенок.

Именно на этом погорел товарищ моей мятежной молодости, сторонник первобытного коммунизма Зяма Кац. Тайком читая зрелого Солженицына и раннего Маркса, он безуспешно уверял нас, что между ними нет непримиримых различий, но погубило его не это.

Маленький, сутулый, с огромной бородой и пышными бровями, Зяма сам напоминал как Маркса, так и первобытного коммуниста. Он был гордостью наиболее либерального органа нашей западной республики, где его уважали за безмерную эрудицию и принципиальность. Свои глубокомысленные заметки, утяжеленные редкими цитатами из Фурье и Энгельса, он в пику антисемитам подписывал псевдонимом Левин. Но не эта дерзость сокрушила Каца.

Виновниками его падения стали сразу два генеральных секретаря – СССР и Польши. Газета опубликовала снимок, запечатлевший братский поцелуй Брежнева и Герека. Прямо под фотографией был напечатан фельетон с хлестким и абсолютно бессмысленным названием: «Два сапога на одну ногу». Такие заголовки считались привилегией молодежной прессы и служили выхлопом богемной энергии. Например, универсальное название «Бутылка в перчатке» годилось для всех без исключения

материалов, написанных в свободном жанре «Взгляд и нечто». Собственно, я до сих пор только такие и пишу. Но Зяму выгнали с треском. Никто не взялся объяснить Кацу природу его преступления, оставляя, как в «Процессе» Кафки, определение вины приговоренному.

Отлученный от прессы Зяма окончательно впал в вольнодумие, отрекся от Маркса и по утрам, когда жена уходила на работу, играл с нами в настольный теннис. Кацы жили в самой старой Риге. Их бесконечная квартира состояла из накопившихся со средневековья мансард и чуланов. Относительно жилой частью был светлый коридор, где помещался стол для пинг-понга. За игрой мы ругали власти, пили сухое, а не крепленое, как вечером, и ждали перемен.

Когда они пришли, меня уже в Риге не было, зато Зяма вынырнул на поверхность общественной жизни и подробно рассказал о случившемся – трижды. Теперь он признался в умышленности своего проступка, ибо уже тогда знал, что Брежнев и Герек – не только сапоги, но и валенки. К тому времени, однако, в независимой Латвии уже забыли обоих, и Зяма, разочаровавшись в свободе, вернулся к Марксу и пинг-понгу.

– Причем тут Зяма? – дочитав до этого места спросила жена.

– Ни причем, – признался я, – но с евреями это бывает: дашь абзац, отхватят страницу.

2.

Когда в Саласпилсе построили атомный реактор, местных выселили из-за радиации. Мама в нее не верила и собирала грибы в обеденный перерыв. Опустевшие хутора, принесенные в жертву лишней, как впоследствии выяснилось, науки, быстро возвращались в первозданный вид – в хвойный, лес. В нем маму однажды испугал огромный – со слона – лось. Но он не покушался на грибы, и осенью мы ими ужинали, а зимой – закусывали. Весной же мама выращивала на подоконнике своего конструкторского бюро ранние помидоры со снежком на сломе. До Чернобыля было еще далеко, и мы наивно и безнаказанно наслаждались урожаем, собранным в окрестностях мирного атома.

Больше маслят и помидоров меня радовал экспортный, из ГДР, ватман, который мама тащила для меня с работы. Дома в дело впрягалась бабушка. Она разрезала непомерные листы портняжными ножницами, которые мы с ней ходили точить на базар к одноногому, как Сильвер из любимого нами обоими

романа Стивенсона, точильщику, а потом толстой – «цыганской» – иглой она сшивала тяжелую бумагу в блокноты.

Каждый из них представлялся мне будущей книгой, только не понятно – какой. Объективная трудность заключалась в том, что я еще выучил не все буквы, субъективная – в том, что не решался пачкать невинные листы. Блокноты манили и пугали меня в равной степени, но я верил в них, как в скатерть-самобранку, которую Хрущев называл «коммунизмом» и обещал нынешнему – моему – поколению.

– Бумага всё стерпит, – говорили мне взрослые, но я до сих пор не верю, ибо написанное выворачивает наизнанку душу автора даже тогда, когда он делает все, чтобы ее скрыть. Нет, не «даже», а именно тогда, когда автор старается выглядеть на письме лучше, чем в жизни, он падает с пьедестала в лужу. Уж лучше сразу сдаться бумаге таким, какой есть, но для этого нужна либо отвага зрелости, либо равнодушие старости.

Страх перед чистым листом, как и страсть к нему, остались во мне навсегда, поэтому я предпочитал писать на полях. В том числе и буквально. В школьных тетрадях полагалось отчеркивать карандашом поля для того, чтобы учителя могли отмечать на них наши промахи. Поля были контрольной зоной и принадлежали власти. Отдавая себе отчет в их неприступности, я все равно нарушал границу, залезая на чужую территорию не из протеста, а потому что не умел рассчитать полет пера и траекторию мысли. Не заканчивавшееся вовремя слово, которое уже поздно было переносить на новую строку, вырывалось за карандашную черту и уродовало страницу. Мои тетради были шедевром неряшливости, и учителя скорбно демонстрировали их всему классу, причем не только нашему. Так еще октябренком я обрел одиозную славу: мою фамилию знал и коверкал директор школы.

Поля соблазняли меня и тогда, когда они перестали быть чужими. Пристроившись на обочине текста, поля привлекали неприхотливостью и необязательностью. В своем первом компьютере, напоминавшем допотопный телевизор «КВН», я завел файл «Маргиналии». Здесь я стал писать только то, что вздумается и лишь тогда, когда придется. Узнав об этом, мой тщеславный товарищ в расчете на посмертную славу потребовал, чтобы я его почаще цитировал. Я согласился, но поставил отношения с вечностью на деловую основу: каждое упоминание – доллар.

– Квотер, – возразил он, подсчитав ресурсы.

Пока мы торговались, компьютер сгорел от стыда, забрав с собой и его, и мои надежды. Пропажа меня не столько огорчила, сколько озадачила. Привыкнув считать всякую выходку судьбы не

только наказанием, но и намеком, я увидал в аварии назидание свыше и стал вообще всё писать на полях, считая ими каждую заполненную страницу.

Легче не стало, но писать всегда тяжело, и облегчить бремя ужаса может только та наигранная безответственность, с которой я быстро, как в наше вечно холодное море, вхожу в текст, делая вид, что ничего большого и серьезного на полях все равно не пишется.

3.

Поступив в университет, я перебрался с бумажных полей на колхозные – нас отправили убирать урожай все в тот же Саласпилс.

Проучившись к тому времени без году неделю, я успел пресытиться ролью отличника. Дурацкое дело оказалось нехитрым, ибо на весь филологической факультет только я попал по доброй воле. Остальные боялись сдавать математику. Перед ней, положим, я тоже трепетал и уже в Америке ставил в тупик фрейдиста Парамонова, признаваясь, что в кошмарах меня мучают синусы. И все же филология стала для меня осмысленным выбором, ибо она подступала ближе всего к литературе. О ней я мечтал так застенчиво, что скрывал эту страсть даже от себя. Мне хватало того, что филология была полями словесности, и я надеялся оставить на них свою закорючку.

Другой, менее извилистый путь в печать лежал через журфак, но там изучали непостижимые предметы вроде «Основ сельского хозяйства», и я предпочел лингвистику, ставшую, как мне объяснил отец, вновь беспартийной после разоблачения культа личности Сталина. Остальным было все равно, что учить, и колхоз они считали праздником.

Мой филфак не отличался от других: по сравнению с девочками нас было слишком мало. Точнее – трое, потому что четвертого, поэта, сразу отправили в сумасшедший дом. Двое других были неопасны для окружающих, хотя один тоже писал стихи, а другой мечтал стать офицером и стал им. Я был еще хуже: наглый и неуверенный в одном лице. И все же в колхозе мне доверили лошадь. Другие вытаскивали свеклу из жидковатой балтийской почвы того же пасмурного цвета, что и сентябрьское небо. Собирая ящики с выкопанным, я объезжал поле стоя, а не сидя, на телеге, потому что видел, как это делают ковбои в единственном доступном вестерне чехословацкого производства «Лимонадный Джо».

По вечерам, после борща из той же свеклы, мы вели со студентками брачную игру в дурака. Чувствуя себя гостем в чужом гареме, я быстро научился выигрывать. Как Печорин – княжну Мэри, я изводил соперниц пристальным взглядом и вольной речью. Теряясь, они забывали подкидывать и оставались в дурах. Вывернулась лишь последняя, отбив мою карту благоразумно припасенным козырем. В награду за ничью я пригласил ее воровать цветы в ботанический сад.

– «Сажайте розы в проклятую землю», – написал про Саласпилс сидевший в здешнем лагере Эйжен Веверис.

Буквализировав метафору, Академия наук устроила на опушке леса между мемориалом и реактором парник, цветник и клумбу. Днем туда забредал садовник, вечером лоси, а ночью не было даже забора. Воспользовавшись этим обстоятельством и усыпляя совесть тем, что в беззащитном саду розы растят из чисто академического интереса, я отправился на охоту со спутницей и гнусными намерениями.

Дело в том, что той осенью у меня неторопливо разворачивался роман с молчаливой (она стала патологоанатомом) медичкой. По субботам мы ходили в филармонию, по воскресеньям слушали орган, в будни я скакал по полям и думал, как сдвинуться с мертвой музыкальной точки. Краденые розы на метровых стеблях, выросшие на сдобренном радиацией академическом черноземе, играли важную роль в моих тактических планах, которые я, естественно, не раскрыл подельнице. По пути к парникам я чинно говорил о любви к филологии. Но по дороге обратно, разгоряченные кражей и объединенные преступлением, мы сменили пластинку.

– «Ты у меня одна, словно в ночи луна», – пела она Визбора, а я слушал, коварно прикидывая, не завести ли мне второй роман на полях первого.

Меня извиняли экстраординарные обстоятельства. Ночь с просочившимися сквозь слоеные тучи звездами. Пронзительно пустая проселочная дорога, вертлявая, как лесная тропинка. В чаще, чудилось мне, громко дышали лоси. Жизнь только начиналась, но я уже боялся упустить случай, нутром догадываясь, что второго такого больше нигде, никогда и ни за что не будет. Сделав роковой шаг, я взял ее за руку и ощутил в ладони что-то мягкое и пушистое.

– Что это? – нежно спросил я.

– Мышь, – ни на секунду не задумавшись ответила она, и я позорно подскочил от ужаса, потому что всю жизнь панически боялся мышей, крыс и других мелких грызунов, кроме знакомого хомяка Бублика.

На самом деле это был толстый мохнатый листок полевого растения коровяк, который занял свое место в нашем гербе, ибо год спустя мы отправились к ее маме за приданым. В трамвае нам пришлось занять три места. Одно – для баула с двумя пуховыми подушками и девичьим (розовым) одеялом на вате. Вместе с Герценом, Белинским и слесарным набором оно пересекло океан, перекочевало к сыну и тихо окончило свои дни раньше нас.

Прошло сорок лет, но каждый раз, когда мы ссоримся, жена попрекает меня тем вечером в Саласпилсе:

– Вот гад, – ворчит она, – соблазнил и не бросил.

Колония Лапиня, *или* Поиски жанра

Твердо зная, чего хочу, я стыдился себе в этом признаться, пока не встретил Петю Вайля. Это произошло у нас за столом, на завтраке, который, вопреки названию, мог включать обед, ужин и участкового. Отец любил праздники больше жизни. Собственно жизнь его интересовала лишь в ожидании праздника, которое он ценил еще больше, умело растягивая по пути к рынку.

Туда мы ходили каждое воскресенье – до завтрака и ввиду него. Праздничной была уже дорога к базару, ибо натощак все казалось интереснее. За молодцеватым и нелепым в нашем старинном городе стеклобетонным вокзалом открывались ангары для дирижаблей, составлявших военно-воздушные силы независимой Латвии, так и не спасшие ее от соседа. После войны в них торговали снедью. Под ажурной крышей непомерной высоты летали голуби, ласточки, стрижи, воробьи и чайки.

– Ты еще скажи аисты, – ворчит жена, и чаек я вычеркиваю.

На открытом воздухе продавали сезонный товар. Осенью, которая в наших краях начиналась когда хотела, – лисичками (почему-то литрами), зимой – квашеной капустой с ледком, нежно хрустевшим на зубах. Весной лучше всех был румяный, как ангел, помидор ценой в чекушку. Но сколько бы он ни стоил, без него завтрак был неполным, ибо только томат умело оттенял малосольную латвийскую селедку и молодую картошку с того же базара. Всю эту роскошь венчал «Кристалл» из открывавшегося в одиннадцать магазина, который без дураков назывался «водочным».

Чем старше я становился, тем больше уходило водки и тем многолюднее оказывались завтраки. За ними легко смешивались, иногда выпадая в коридор, русские, латыши и евреи двух поколений. Но и в нашем вавилоне явление Пети произвело неизгладимое впечатление. Он выделялся всем и сразу: полный и румяный, Вайль тоже походил на ангела, но падшего. Не скрывая пороков, он пил больше всех, не переставая быть интересным – ни сверстникам, ни взрослым, ни, конечно, мне. Петя знал всё и учился на одни пятерки, вернее – их получал, потому что вообще никогда не учился, зато все читал. Причем собраниями сочинений. Когда мы познакомились, он добивал 30-томник Диккенса. Стихи из него выползали, как ленты из уст фокусника: беспрестанно и пестрые. Женскому полу – слезливое: «девочка

пела в церковном хоре», нам – экзотическое: про жирафа на озере Чад, остальным – Сашу Черного.

Видимо, Петя готовил репертуар зимой, потому что летом жизнь его протекала на виду. С первыми грачами он покидал родительский кров, куда возвращался, лишь отгуляв Октябрьские праздники. Петя повсюду носил с собой портфель со сменой белья и зубной щеткой. В кармане хранились маникюрные ножницы, курить он уже бросил, и больше ни в чем не нуждался, ночуя там, где его оставило разгульное вдохновение. Чаще всего – у нас на кушетке. Всегда желанный гость, Петя был живым праздником и нравился абсолютно всем, умея соглашаться так, будто спорит. Слушать его было все равно что читать «Три мушкетера»: смешно и ничего всерьез.

Со мной он разговаривал на равных, хотя я был еще маленьким, но достаточно большим, чтобы принимать участие в общем никогда не прерывающемся веселье. На свою беду я задирался от трагической неуверенности в себе – как все, а не только начинающие разночинцы. Со временем я убедился, что разночинцами являются все авторы, кроме одного бодрого анацефала, который уверял, что не сочинил плохой строки. Даже Бродский признавался в неуверенности и ценил ее, считая контролем качества. Еще позже я догадался, что непишущие страдают не меньше пишущих, но тогда, по малолетству, я мучился у всех на виду. Боясь, что меня не примут за другого, я боролся с постыдной, как прыщи, застенчивостью и выдавал себя с головой: врал, пил, курил и фонтанировал.

Петя, однако, готов был прислушаться к фонтану и что-то из него вылавливал. Вскоре, несмотря на несуразно гигантскую – три с половиной года – разницу в возрасте, мы стали встречаться вдвоем и гулять по городу, случайно заходя на выставки. На одной, посвященной дагерротипам, я сказал, что экспозиция могла бы включить портрет Лермонтова. Чем-то Пете понравилась эта вполне безумная реплика, и он предложил написать что-нибудь вместе.

К тому времени Вайль уже сотрудничал с нашей «Молодежкой», украшая, как тогда было принято, любую газетную статью учеными и причудливыми ассоциациями. В репортаже из мирного хозмага, где зачем-то торговали упряжью, в текст врывались верховые опричники Ивана Грозного. Я был не лучше, отличившись в университетском сборнике лженаучной работой «Черный юмор у протопопа Аввакума».

Петино предложение застало меня врасплох и привело в восторг. Писать вдвоем было не так страшно. Соавторство, как просодия, снабжало формой и уменьшало ответственность до

приемлемого уровня. Текст становился, в сущности, анонимным: его автор не я, а мы.

2.

В поисках темы мы шлялись по Риге, выпивая по выходным и будням, что придется, но ни где придется. Экзотический алкоголь, вычитанный у Хемингуэя с Ремарком, нам заменяли еще более экзотические напитки: молдавский Кальвадос, венгерский ром, летом – алжирское вино из танкеров, и круглый год – портвейн бобруйского разлива. Одну гадость мы закусывали другой: пирожками с требухой (она же – подлятина), студнем из столярного клея и плавленым сырком с подходящим названием «Дружба», к которому у меня нет претензий.

В трудных случаях можно было обойтись без закуски, но не без компании. Этика нашего пьянства категорически осуждала одиночество с бутылкой, считая его патологической крайностью. Отделяя клинический симптом от вакхического синдрома, мы строили пьянку как преображающее действительность произведение всех искусств. Оглядываясь, я понимаю, что наш идеал назывался *Gesamtkunstwerk*, хотя из-за скромности тогдашних властей мы еще не знали, что Вагнер дебютировал там же, где и мы, – в Риге.

Иными словами, наши пьянки носили бескомпромиссно творческий характер, и других я всю жизнь не признавал. Идя за Буддой, мы следовали средним путем и стремились держать струну натянутой. Разливая в меру, мы не давали ей ослабнуть, чтобы не переставала звучать музыка беседы, но умели и задержаться со следующим стаканом, чтобы струна не порвалась. Умело балансируя на пике опьянения, мы умудрялись не выпадать из фазы, и нам не хватало бесконечного в северных широтах летнего дня.

Иногда он начинался с университетских экзаменов, которые я умел сдавать быстро и с наслаждением.

– Главное – не задумываться, – сразу понял я и всегда брал билет первым, заменяя выученное решительностью.

Остальное было делом техники. Исчерпав ответ начальной фразой, я рассказывал, что знал, а не о чем спрашивалось. Между первым и вторым тянулись жидкие нити сомнительных аналогий. Чтобы удержать ломкую конструкцию от краха, требовалась известная интеллектуальная эквилибристика, развлекавшая наших профессоров, скучающих гарнизонных жен. К одиннадцати все кончалось, и мы шли в магазин.

О, это нежаркое утро экзаменационной сессии. Оно расстилалось контурной картой, которую мы, как Зикмунд с Ганзелкой, заполняли маршрутами дружбы. Как бы далеко от центра они ни заводили, к вечеру мы все равно оказывались в старом городе. Центр всякой пьянки, он украшал ее пейзаж живописными ведутами. Лучшие предлагали три старших шпиля рижского неба. У церкви Екаба он был самый крутой, но с загогулиной, под которой прятался волшебный колокол, оживавший, когда под ним пройдет неверная жена. Сам я никогда не слышал звона, потому что власти от греха подальше заткнули его вместе со всеми остальными колоколами города.

У знаменитого Домского собора выпивать приходилось украдкой из-за толпившейся здесь милиции. Зато пусто было в средневековом дворе, откуда открывался уникальный, известный лишь нам вид на церковь Петра со снесенным в первые дни войны и все еще не отстроенным шпилем. Примостившись между сараями крестоносцев, мы так строили мизансцену тоста, что в кадр попадало только вечное: звезды, луна, руины.

О чем мы пили? Обо всем, что позволяло накинуть на себя сеть утонченных аналогий и забавных параллелей. Мечтая сделать реальность наглядной, как глобус, мы сталкивались с той же трудностью, что Сизиф. Но взяв на вооружение его девиз «Движение – все, цель – ничто», каждый день начинали заново, не позволяя себе отвлекаться на мелочи жизни, включая свадьбу.

Я женился первым. Шафером был, конечно, Петя. Гости гуляли три дня, не заметив, что мы с молодой отбыли в соседнюю Литву. Страна подпольного сюрреализма, она славилась дерзкими плакатами Вильнюса, гротескным театром Паневежиса и, конечно, мэтром непонятного, символистом Чюрленисом. В его каунасский музей у нас ездили, чтобы поклониться несмежной реальности. Супружескую жизнь мы начали в курортной Паланге, где хранилась любимая балтийская реликвия: трактор из янтаря. Брачную ночь мы скоротали на вокзале: я – на скамейке, она – в комнате матери и ребенка, что было, прямо скажем, преждевременно.

Когда, и очень скоро, пришла Петина пора жениться, ничего не изменилось. Райка, как ее звали до старости, была как мы, еще и хуже. Она жила в такой старой Риге, что в ее квартиру вела винтовая, словно в крепостную башню, лестница. С нее я снес в обнимку Райкино приданое: холодильник «Саратов-2». Самодельная стена делила мансарду на две каморки. В одной стояла бочка с брагой, в другой ее пили. Больше всего Райка любила приключения и могла отправиться встречать зарю в зоопарк, где, ошибившись забором, чуть не попала в вольер к

медведю.

Оба брака не разбавили наши отношения. Любовь считалась филиалом дружбы, и с Петиной свадьбы я ушел на четвертый день, когда бутылки сдали дважды.

3.

Проблема заключалась в том, что нам довелось жить в слишком красивом городе. Страдая от конкуренции, мы испытывали сокрушительное давление архитектуры: и выпуклого барокко, и стрельчатой готики, и кудрявого ар нуво. На фоне старого все новое было уродливым, как многоэтажная гостиница «Латвия», которую хотели снести, не успев достроить. Мир вокруг нас нуждался не в революции, а в реставрации, и авангард не представлялся выходом.

Чтобы обсудить метафизический вызов и найти выход из тупика, мы собрались в Колонии Лапиня. Она находилась в центре города, но не имела с ним ничего общего. Миниатюрный рай огородников, Колония напоминала аграрный улей, в котором копались озверевшие без земли горожане, в основном – латыши. Недавно оторвавшиеся от почвы, они тосковали по отобранным хуторам и растили тут все, что помещалось на трех грядках.

В буднее и пасмурное утро Колония пустовала, и мы удобно устроились под забором, закусывая принесенное сорванным за оградой огурцом.

– Прекрасное нуждается не только в гениальном творце, – говорил один из нас, ибо мы тогда не спорили, – но и в талантливом компиляторе.

– Другое дело, – подхватывал другой, ибо наша беседа подразумевала не состязание, а бескорыстное уточнение определений, – что создавать одни произведения из других значит преумножать сущности без необходимости. Нам нужен все тот же средний путь, пролегающий между выцветшим вымыслом и так и не зацветшей ученостью.

– Мир, – соглашались мы с нарастающим от портвейна восторгом, – нельзя придумать, мир нельзя описать, но его можно сгустить, как осенний свет в витраже. Нам не нужно придумывать персонажей, достаточно выбрать из тех, что есть. Нам не нужны герои, достаточно тех, кого мы назначим. Нам не нужна экспансия вымысла, достаточно углубить, что дано, и окружить неизвестное. Между оригинальным и украденным прячется от сглаза неистоптанная зона тавтологических явлений: литература о литературе, истории про историю, культура в культуре, а это –

целый мир, схваченный фасеточным зрением мух, то есть муз.

Язык заплетался, солнце добралось до зенита, и нас застали врасплох хозяева, торопившиеся в обеденный перерыв прополоть любимую грядку. Ситуация напоминала басню Крылова «Философ и огородник», но вторые, не признав в нас первых, намотали на руку ремни, готовясь к расправе. Однако убедившись по огрызку огурца в незначительности хищения, колонисты отпустили нас с миром, пристыдив на дорогу. И мы, покинув, как юные Каин с Авелем, чужой Эдем, отправились на поиски жанра, счастливые тем, что нашли себе занятие по душе на всю тогда еще бесконечную жизнь.

КГБ, *или* Гедонисты

Как все значительное, кроме Академии наук, которой досталась сталинская высотка, оказавшаяся непригодной для Дома колхозника из-за отсутствия конюшни, Комитет государственной безопасности располагался на Ленина. Эта центральная улица города по давней традиции носила имена всех оккупировавших Латвию вождей – от царя до фюрера. Знаменитый среди рижан Угловой дом, построенный для нуворишей еще до обеих мировых войн и уцелевший в них, гордился застекленным куполом, ионическими колоннами, ажурными балконами и другими архитектурными излишествами. Они не помогали работе органов, но и не мешали им.

Рижане обходили Угловой дом стороной, не поднимая лишний раз глаза, даже когда оказывались в модном магазине «Сыры», располагавшемся на противоположной стороне улицы. Именно поэтому, заняв в нем очередь, я смотрел прямо перед собой, уткнувшись взглядом в поясницу Ульяны Семеновой. Двухсоттринадцатисантиметровая звезда латвийского баскетбола тоже пришла за «Советским камамбером», ничем, кроме названия, не отличавшимся от сырка «Дружба».

Сам я ни разу в КГБ не был, но готовился к встрече сколько себя помню. Мое антисоветское воспитание началось под голос Би-би-си и закончилось в августе 1968-го, когда я быстро повзрослел, встретив во время поездки на Карпаты танки. Местные на них не смотрели, хорошо зная, чем это кончается, но мы с отцом не отводили глаз.

Разгром Пражской весны помог отцу свести счеты с советской властью, которой до этого он еще давал шанс исправиться, читая нам вслух Евтушенко. В тот день, когда вышел журнал «Юность» с «Братской ГЭС», меня не пустили в школу. Вместо этого мы всей семьей отправились в лес. Улегшись под красными балтийскими соснами, я слушал про осветителя Крамера и прочих героев поэмы, простивших родине ее преступления в надежде на то, что она одумается и станет такой, какой обещал Ленин.

Танки на узком австро-венгерском шоссе оказались роковым аргументом власти, и вскоре мы всей семьей, отказав ей в доверии, поменяли Евтушенко на Солженицына, которого читали по ночам, передавая друг другу жидкие странички самиздатской печати.

С тех пор Прага никогда не отходила ни далеко, ни надолго от моей жизни, напоминая о себе троицей: Францем Кафкой, солдатом Швейком и не менее бравым генералом Майоровым. Последний командовал теми самыми танками. Жена Майорова, выкрашенная хной до цвета медного чайника, преподавала у нас на филфаке выразительное чтение, то есть руководила декламацией патриотических стихов, показывая руками, как ставить смысловое ударение на местах про народ и родину. После Лотмана, которого нам открыли более прогрессивные профессора, предмет был несложным и давался даже троечницам из Латгалии.

Майорова редко теряла благодушие, угощала студентов шоколадными конфетами, вспоминая боевую молодость, когда ее муж еще был простым политруком, а не главнокомандующим Прибалтийского военного округа. Бешеной я ее видел лишь однажды, когда мерный ход занятий прервала студентка с латышского потока, зашедшая в аудиторию, чтобы сделать объявление для товарок из общежития. Извинившись, девушка обратилась к ним по-латышски, отчего Майорова побледнела и взвизгнула.

– На территории Союза Советских Социалистических республик, – выразительно сказала она, – извольте говорить на человеческом языке.

Спрятав глаза от стыда за наш Союз, мы слушали, как застенчивая студентка, изучавшая латышскую, а не русскую литературу, извинялась на человеческом языке с тем сильным акцентом, который выдавал провинциальное происхождение. В Риге все, кроме хулиганов из бандитского Московского форштадта, прилично говорили по-русски.

Майорова любила принимать экзамены на дому – из демократизма и чтобы показать трофеи. Генеральская чета жила напротив памятника Ленина в сдвоенной квартире, занимавшей весь этаж некогда доходного дома. В дверях мы столкнулись с хозяином. Поклонившись на всякий случай в пояс, я громко поздоровался.

– Ы-ы, – ответил Майоров, но я, начитавшись Гашека, ничуть не удивился, думая, что генералы не владеют членораздельной речью.

Снисходительно выслушав мою структуралистскую интерпретацию «Стихов о советском паспорте», Майорова угостила чаем с конфетами «Мишка на Севере» и предложила осмотреться.

– Неужели Фальк? – осмелев, спросил я, показывая на синий пейзаж.

– Муж жалуется, что аляповато, – вздохнула Майорова, – но работа – музейная.

В приоткрытые двери виднелась анфилада комнат, уставленных стеллажами с богемским хрусталем. Столько посуды мне довелось видеть только в Павловском дворце.

– Чехи надарили, – объяснила Майорова, – и как им было отказать?! От такой чумы избавили.

Когда мы вышли за могучие двери, однокурсницы насплетничали:

– Для уборки покоев Майорова нанимает самых уродливых домработниц, но ничего не помогает, и девиц меняют как только залетят.

2.

Мы знали, что советская власть вечна, как всемирное тяготение, но именно постоянное давление придавало азарт нашим шуткам, песням и стонам.

– Ни одно слово не пропадет зря, – твердили собутыльники, кивая на телефон, считавшийся любимым инструментом госбезопасности.

Но сам я, честно говоря, никогда не верил, что кто-то может и впрямь фиксировать ту смурь, что мы несли за чаем и водкой. К тому же я никогда не видел сотрудника КГБ и не мог его себе представить. В той среде, где я вырос, чекиста считали полумифическим существом: гарпия с партбилетом. Как у греков, эти фантомы, сотканные из суеверного страха и распаленной вином фантазии, вызывали вечный художественный интерес. Что ни скажешь, все в жилу и смешно:

– Андропов сломал руку.

– Кому?

Допуская сверхчеловеческие способности органов, мы отказывали им в человеческих. Вообразить за нашим столом чекиста было не проще, чем игуану или Бонда. Тем сильнее я удивился, когда школьный товарищ, став студентом столичного вуза, спросил, стоит ли ему отправиться по распределению в КГБ, чтобы заняться там чистой наукой. Брызжа слюной, выкатывая глаза и вырывая волосы из молодой бороды, я исполнил песню протеста без слов. Но он меня понял и занялся не чистой, а прикладной наукой на том же ядерном реакторе, где моя мама работала с мирным атомом, выращивая помидоры на подоконнике.

Пожалуй, мы верили в КГБ примерно так, как просвещенные

эллины в эту самую гарпию: факт природы, приукрашенный фольклором. При этом я знал, что дед сгинул в киевском Чека, и понимал, что в такой осторожной стране стучать должен каждый третий. Но знание это было сугубо головным и служило фоном, на котором вышивались наши бесшабашные разговоры.

Советская власть нам казалась не только страшной, но и смешной, раньше – как Хрущев, позже – как Брежнев. За ним мы следили с любовной пристальностью. Однажды, одуревший от безделья, я смотрел в прямом эфире, как и без того разукрашенный генсек получал в награду парадную саблю, усыпанную бриллиантами. Когда толстый генерал протянул ему оружие, Брежнев отпрянул в комическом ужасе и поднял руки вверх, показывая, что сдается.

Ловя власть на мелких глупостях и больших подлостях, мы коротали юность, пестуя лакомое чувство метафизической исключительности. Запертые, словно в пещере Платона, в однопартийной, мягко говоря, системе, мы не надеялись ее ни изменить, как наши предшественники-шестидесятники, ни покинуть, как сделали это чуть позже сами. Нам оставалось только одно: оправдать собственное существование здесь и сейчас.

– Глупо думать, что кто-то другой может сделать тебя счастливым, – говорил Будда.

Но до него было далеко, и мы нашли себе гуру рядом. Никто, кроме нас с Вайлем, о нем не слышал, и это нам нравилось еще больше, ибо позволяло считать Попова нашим открытием.

3.

Я напился, когда познакомился с Валерием Поповым. У меня не было другого выхода. Мы начали вечер в бродвейском ресторане с того, что я обещал сопровождать каждый тост цитатой. К ночи их набралось столько, что Попов решил покончить счеты с жизнью.

– Лучше дня уже не будет! – воскликнул он. – Попасть первый раз в Америку и тут же найти человека, который шпарит тебя наизусть.

Мы оба уцелели, и я не перестаю его цитировать, потому что афоризмы Попова сыграли в моей жизни примерно ту же роль, что красная книжечка для хунвейбинов. Я черпал из его книг мудрость, которая такой даже не прикидывалась. Иногда его диалог излучал истому:

– Как ты себя чувствуешь? – спросила она.

– Плохо.

– А меня?

Иногда автор делился своим безграничным – надвидовым – гуманизмом:

Мимо прошел еж с лягушкой во рту.

– Не желаете? – спросил он, – освежает.

Попова, как, собственно, все важное и уникальное, я цитирую по памяти. Она лучше знает, что хранить, не спрашивая – зачем. Раз помню, значит было надо, дорого и кстати: резонанс.

Найдя нужный нам язык, мы извлекли из Попова мозг костей и рецепт спасения.

– Реальность, – утверждал наш с Вайлем догмат веры, – не бывает сплошной, а тайна счастья прячется в вычитании. Нужно всего лишь убрать (с глаз долой, из сердца вон) вату будней, чтобы не мешала сторожить, узнавать и встречать хохотом великие мгновения беспричинной радости.

– Хоть бы зубы у вас заболели, – сказал Довлатов, когда, уже в Нью-Йорке, мы поделились с ним благой вестью.

Ему этот молодежный, словно из «Мурзилки», гедонизм был категорически чужд, нам – в самый раз.

Хуже, что, открыв истину, мы не могли ею не поделиться. Не выдержав молчания, мы с Вайлем написали в молодежную, естественно, газету первый совместный опус – о Попове.

По дороге к печатному станку мы обнаружили, что вместе писать нельзя: стыдно. Письмо как акт слишком физиологично. Слова зачинаются, рождаются, иногда выплевываются. Делать это на глазах другого – не только неприлично, но и не гигиенично. Усвоив первый урок, впредь мы не повторяли ошибок и следующие пятнадцать лет сочиняли вместе и писали врозь, поклявшись никогда не раскрывать авторство статьи, эссе, главы, абзаца. Нам нравилось жить с тайной, и я унесу ее в могилу, как это поторопился сделать Вайль.

Властям, однако, наш коллективный дебют не принес той радости, которой мы стремились поделиться, и Петю выгнали из газеты. Трудно, вернее скучно, вспоминать – за что. Интересным в этом процессе был сам процесс. Опротестовав, как было тогда модно в свободолюбивых кругах, решение администрации, Петя настоял на публичном судебном разбирательстве.

В ту, охочую до правосудия эпоху, суды были нашими гражданскими праздниками. Поскольку никто не питал надежды на успех, процесс носил характер не юридический, а эстетический, и Вайль две недели сочинял красноречивое последнее слово, требуя приобщить его к делу.

Судья приобщил, и скоро Вайль, как и я, устроился в

профессиональную пожарную охрану, которая отличалась от любительской тем, что не гасила пожары на производстве, а заливала их в себе – привычным портвейном и экзотической «Березовой водой» на спирте, хоть и техническом. Петя ходил дежурить на один завод, я – на другой, но оба мы ничего не делали, даже не пили, боясь оказаться на дне, где ползали наши коллеги.

Пора признаться, что пожарная охрана дала мне несравненно больше университета. Книги я и без него читаю, но никогда мне уже не встретить таких людей, какими были мои сослуживцы. Один испражнялся, не снимая галифе. Другой спал с дочкой. Третий нюхал бензин, когда кончалась выпивка. Самым невзрачным казался начальник караула Вацлав Мейранс, получивший пост за канцелярский почерк. Умея подписываться с росчерками, он любил грамоту, хотя с трудом разбирал написанное. Однажды, страдая от насильной трезвости, Мейранс пристроился ко мне, когда я проверял диктанты, подрабатывая учителем в свободное от университета, дружбы и пожарки время. Изучив все 40 тетрадей, Мейранс одобрил одни и осудил другие диктанты, так и не поняв, что текст тот же. Наверное, его учили, что показания всегда разнятся.

Дело в том, что в прошлом Мейранс заведовал отделением КГБ в мятежной области Курземе. Там, на западе Латвии, в густых чащах, выходящих к высоким дюнам открытого Балтийского моря, он искоренял «лесных братьев», их друзей, родичей, соседей и подвернувшихся под руку, пока не спился – не от ужаса перед содеянным, а от доступности самогона, который варили из браги на каждом вражеском хуторе. Прожив с Мейрансом бок о бок два года, я, что бы ни говорила Ханна Арендт, не обнаружил в нем ничего банального. Когда умерла его мать, труп удалось похоронить с третьего раза, потому что Мейранс пропил первые два гроба, купленные парткомом невезучего завода.

Вокзал, *или* Аутодафе

Отец не мог жить без людей, и они отвечали ему взаимностью, особенно – крашеные (верный, как тогда считалось, знак фривольности) блондинки, в юбках колоколом, с начесом, в румынских босоножках на загорелых ногах. Летом они густо заселяли прибрежную полосу, чтобы отдохнуть от семьи.

– Членораздельно, – хихикали холостяки, которых я из зависти презирал за жовиальность, плотоядность и бесспорные успехи, причем отнюдь не только на курортном поприще.

Все они отличались и в зимней жизни. Один был хирургом, другой – инженером, третий, самый знаменитый, – журналистом и унипедом. Это значит, что он любил только одноногих женщин и находил их в санатории для старых большевичек.

С первыми теплыми днями они, как наш кот Минька, выходили на охоту, прохаживаясь от Дзинтари к Майори и обратно. Маршрут вел по центральному, но уютно провинциальному проспекту Йомас – от летнего театра до памятника латышскому герою Лачплесису, убивающему змея.

Надо признать, что он казался мне пошлой частью разрешенного, вроде сарафана и хоровода, фольклора, к которому я по тогдашней дикости своих задиристых заблуждений относил не только национальные эпосы братских республик, но и Репина с Глинкой. Ослепленный молодыми антисоветскими страстями, я еще не умел оценить ни сокровенного, ни очевидного. Так, мне не приходило в голову разыскивать следы балтийского язычества, ибо они были всюду. Сувенирные сакты на манер римских фибул, служившие застежками за тысячу лет до изобретения пуговиц. Орнаментальная символика солнцеворота на коньках крыш и в ограде курортных беседок. Наконец, обратная свастика на форзацах многотомного собрания песен-дайн, которое на нашем факультете хранилось под замком, чтобы никто по невежеству не принял коловрат за нацистскую символику. Глупее всего, что я ни разу не добрался до знаменитых праздников песни, которые тайно питали – и воспитали – «поющую революцию».

Живя в Латвии, я не удосужился понять ее внутреннего устройства, выдающего северные – эддические – корни. Между тем лошадиный череп до сих пор охраняет огород от сглаза. Пчел, чтоб не разлетелись, утешают, сообщая о смерти хозяина. И за

этим допотопным порядком присматривает суровый, а не наш милосердный, бог с мозаики на бывшем Доме офицеров, который, конечно, не всегда им, офицерам, принадлежал.

Только задним числом, извне и много лет спустя я узнал в приморских дачах затейливую архитектуру викторианской готики. Лишь попав в германскую Европу, я понял, что в ней вырос, и не зря кроме бабушки я больше всего тосковал по оставленным в Риге ганзейским амбарам. Под их высокой крышей хранилось славянское зерно, которым немецкие купцы спекулировали в неурожайные годы.

Как раз в таком амбаре я работал сборщиком ртути. Мне полагалось разбивать неисправные градусники и всасывать клизмой растекающуюся из них дорогую ртуть. Почвенные термометры были метрового роста, и я, как алхимик, часами возился с жидким металлом под кривыми средневековыми сводами. Теперь там обитают монахи и официанты в рясах приносят суп из оленины с пряным пивом.

Не понимая толком, где живем, мы хорошо знали – зачем: Рига был курортом социализма.

– Если выпало в империи родиться, – радостно подхватили мы только что появившиеся в самиздате стихи, – лучше жить в провинции у моря.

Мне и без подсказки Бродского казалось естественным держаться как можно дальше от Кремля и как можно ближе к пляжу. Отец не уставал радоваться. Умея сравнивать и учитывать все преимущества своего географического положения, он умело пользовался им. Преимущественно – летом, когда он, нарядившись в пеструю, перешитую бабушкой из занавесок пляжную рубаху, с сигаретой в зубах и с безнравственными друзьями сворачивал от цементного Лачплесиса на идущую вдоль моря улицу Юрас. Тут, между основательной оградой и рослыми соснами, пряталась мраморная дача буржуазного диктатора Ульманиса, занятая, естественно, Хрущевым. По присыпанной мелким песком мостовой гуляющие добирались до короткой, упирающейся уже прямо в море, Турайдас. Здесь, напротив удобной эспланады садилось солнце, расплавленное белесым Рижским заливом, и все те же приезжие блондинки, размягченные закатом, становились сговорчивыми.

– Пир красок, – мурлыкали они.

– То ли будет, – нежно поддакивали местные.

2

В теплые дни отец примыкал к летним друзьям, но зимой дружил только с одним инженером. Отличник и ударник, проектировавший вагоны всех советских электричек, Нёма прекрасно зарабатывал, жил в отдельной квартире на улице имени неизбежного Горького и владел бежевой «Ладой». Достигнув всего завидного, Нёма захотел странного. Судьба его выслушала и отправила в Англию в составе делегации вагоностроителей. Обычно родина не рисковала холостяками, но у Нёмы оставались в заложниках жилье с окнами на женское общежитие и автомобиль немаркой окраски, которому он из коварства накануне поездки купил зимние покрышки.

Не удивительно, что просчитавшиеся власти рассвирепели, когда Нёма, добравшись до Лондона, тут же попросил в нем политического убежища. В связи с этим тройка, состоящая из подполковников Ревалда и Невицкого, а также генерал-майора Авдюкевича, постановила заключить Нёму под стражу при его появлении на территории СССР. Но он оказался на этой территории лишь тогда, когда она перестала быть СССР, и только для того, чтобы в открывшихся архивах КГБ полюбоваться на то постановление, которое я сейчас цитирую.

Нам пришлось труднее. Дерзко расставшись со всем ценным, включая любимую женщину, именуемую в деле «сожительницей», Нёма не мог отказаться от бесценного и, собрав его в потертый из конспирации портфель, отдал на хранение отцу, рассчитывая, что тот тоже выберет свободу и когда-нибудь вернет клад владельцу.

Услышав по Би-би-си, что рижский вагоностроитель предпочел остаться в Англии, мы впали в веселую панику. В ожидании обыска прежде всего следовало избавиться от самиздата. Жечь его было нигде и жаль, поэтому мы отвезли мешок отборного чтива к Пете, на редакционную дачу, которую никто не навещал по случаю глубокой осени. С портфелем, враз ставшим радиоактивным, мы поступили по совету болгарских (других не было) детективных романов: сунули в ячейку автоматической камеры хранения. Спрятав концы, мы стали ждать развития событий и – заодно – учинили могучий завтрак с селедкой под Тома Джонса и сестер Берри. В диссидентском ажиотаже мы и не заметили, как прошли сутки, срок хранения багажа закончился, и пришла пора переложить портфель в другой ящик.

На семейном совете долго решали, кому идти на вокзал. Отец, служивший в институте ГВФ, ходил в лётной форме профессора хоть и гражданской, но авиации и привлекал слишком много внимания (для того он ее и носил). Со мной дело обстояло не лучше, потому что заросший спереди до груди и

сзади до лопаток я напоминал волосатого человека Евтихиева, и меня пытались высадить из трамвая. Зато брат подходил по всем показателям.

Вернувшись из армии, где он чуть не попал в число душителей Пражской весны, Игорь устроился на завод, располагавшийся по соседству от того, который я охранял от пожара. Мой изготовлял автобусы, его – Нёмины вагоны, и оба находились в самом гнусном районе Риги, незаслуженно названном Красной Двиной. Игорь работал в военном представительстве, и я до сих пор не знаю, что это значит. По-моему он – тоже. Мои коллеги до исступления играли в домино, то его – в шахматы. Кадровые офицеры, они годами оттачивали на шахматной доске тактическое мастерство, которое им не помогло в независимой Латвии, когда их завод, как и все остальные, закрылся, сдавшись без боя.

Надвинув кепку до бровей, Игорь шел на вокзал, виляя. Вокзал, однако, располагался в пяти минутах от дома, так что особенно вилять было негде. За ним – незаметно, насколько нам это удавалось – следовала вся семья, включая бабушку. Заветная ячейка камеры хранения не открывалась. Подергав ручку, Игорь отправился за помощью, и она пришла в виде человека в штатском, который ловко усадил его в автомобиль.

– Игорька в ДОПРу замели, – мгновенно отреагировала бабушка, дольше других жившая при советской власти и лучше всех ее понимавшая.

В КГБ зловещий портфель вскрыли при понятых. Там оказались записная книжка, вузовский диплом, справка о сдаче экзамена по английскому языку для кандидатского минимума, медаль ВДНХ, выцветший номер «Плейбоя» и грамоты за успехи в социалистическом соревновании.

Не стоит удивляться эклектическому составу этих сокровищ. Чуть позже мы сами собрали все, что могло убедить свободный мир в нашей профпригодности. По молодости лет только у меня не было случая отличиться, но одну грамоту я все-таки увез, спрятав в старый учительский атлас, ценный тем, что мир в нем был раскрашен в империалистические цвета и позволял заучивать колонии, что страшно помогало всем, кто собирал марки. Среди пестрых карт моя алая грамота не выделялась и внимание таможни не привлекла. Поэтому я и сейчас любуюсь нарядной картонкой, подтверждающей мое участие в чемпионате младших классов 15-й средней школы по футболу. Не победу, а участие, но я все равно горжусь тем матчем, в котором наш 4 «В» одолел хулиганов из бандитского 5 «Б» со счетом 5:4, после чего наши форварды сбежали от расправы. Хорошо еще, что на нас, защиту,

проигравшие не обратили внимания.

Изучив улики, следователь брезгливо смахнул «Плейбой» в свой стол, а записную книжку сладострастно запер в сейф. О ее судьбе Нёма узнал много лет спустя, когда новые власти злорадно устроили в рижском КГБ музей. Из своего многотомного дела, Нёма выяснил, что его записная книжка развлекала КГБ до последних дней советской власти. Она позволяла сотрудникам ездить вслед за ее хозяином по городам и весям СССР, где Нёма бывал в командировках, гостях и на свиданиях. Каждый адрес, начиная с курортных, тщательно отслеживался и негласно проверялся на предмет заговоров и диверсий, пока Нёма проектировал в Лондоне те же вагоны, что и в Риге. Кроме того, он, наконец, женился – на симпатичной дочке богатого фабриканта, изготовлявшего велосипеды. Видимо, транспорт был в его гороскопе.

3.

Быстро потеряв интерес к безответному брату, органы взялись за отца. На допросы он ездил чаще, чем на работу. В кабинет отец приходил в форме, и по нашивкам на рукавах получалось, что следователь, седой латыш, был ниже его по званию. На первой же встрече, увидав, что отец ведет протокол вместе с ним, он сразу поскучнел.

– Альбрехт? – грустно спросил следователь.

– Как без него, – развел руками отец.

К тому времени, он, как все мы, выучил наизусть знаменитую брошюру главного юриста самиздата и могли расшифровать – и спросонья, и с похмелья – аббревиатуру ПЛОД, предлагающую властям играть по их же правилам.

В сущности, органы интересовал один вопрос: знал ли отец о Нёминых планах и если да, то почему о них не донес. Отец все отрицал, и следователь, как и предупреждал Альбрехт, переходил на личности. Он напирал на летнюю безнравственность Нёмы, отец – на зимние покрышки, покупка которых никак не совмещалась с планами предательства. Спевшись, они со следователем часто засиживались до темноты, и отец подбрасывал его до дома на наших «Жигулях».

К зиме КГБ отступился и перенес расправу по месту службы. Отца опять выгнали с работы. Стенограмма аутодафе сохранилась загадочным, чтобы не сказать мистическим образом. Треть века спустя она нашла нас в Америке – в конверте без обратного адреса. Разглядывая толстую пачку папиросных листочков,

неизвестно кем написанных и посланных, я обнаружил, что отец вел себя с кристальной порядочностью. Он не чернил Нёму, не отрицал их дружбы и даже не упоминал пресловутые покрышки. Отец ничего не просил, ни в чем не каялся и не терял хладнокровия. Зато с другой стороны кипели страсти. Как в наказании шпицрутенами, каждый чувствовал себя обязанным приложить руку.

– Генис дружил с предателем родины, – говорил ректор, с которым отец выпивал в день авиации.

– С предателем родины дружил он, – вторил декан, с которым отец выпивал на остальные праздники.

– Родины предатель был ему другом, – заключал склонный к стихотворчеству заведующий кафедрой, которого я звал дядя Юра, потому что с детства привык встречать за нашим столом.

Согласившись с главным, друзья и коллеги не расходились и в деталях. Моему падшему отцу предложили стать к станку, чтобы честным трудом на каком-нибудь производстве искупить вину перед родиной.

В тот же день, но с наступлением темноты к нашим дверям потянулись жены обвинителей, чтобы извиниться за горячность своих мужей. Но отец никому ничего не простил, просто потому что никого ни в чем не винил. Он искренне считал поведение коллег и товарищей абсолютно естественным, то есть вынужденным.

– Мораль – объяснял он мне, – неприменима к ритуалу.

Как только эмигрантам разрешили навещать оставленную родину, отец, так и не дождавшись пока она его простила, приехал в институт с чемоданом заокеанских сувениров, вроде часов с Микки Маусом, и галлоном «Джонни Уокера». С последним расправились в том же зале те же коллеги. Отец, рассказывал о жизни другой сверхдержавы. В этом не было ничего нового – ему и раньше поручали политинформации, ибо он всегда слушал Би-би-си и с радостью делился деталями.

Крым,
или
Вдогонку не нацелуешься

Оставшись без работы, отец освоил новую профессию: тихое ремесло переплетчика. У него не было выхода. Из Киева он бежал на Восток, из Рязани – на Запад. Теперь, с волчьим билетом, уже не имело смысла останавливаться.

– Пусть так, – говорил отец, – но что делать с библиотекой?

Мандельштам говорил, что разночинцу библиотека заменяет биографию; нам она заменяла – все остальное. Семейный капитал, она служила еще и основой идентичности. Не происхождение, не национальность, не профессия, не политические взгляды, а книги определяли личность отечественных интеллигентов, делая их непохожими на всех и неотличимыми друг от друга. В гостях у сверстника я могу достать с полки любую книгу, потому что помню их все на цвет и ощупь.

Нет ничего удивительного, что путь в эмиграцию начался с книг, точнее – с журналов. Отец их выписывал все, включая провинциальный «Байкал» и эзотерическую «Зарю Востока». Закаленный боец идеологического фронта, он в каждом умел найти запретные плоды – разные, но одинаково соблазнительные. Если в «Иностранке» это были плоды просвещения, то в других – фиги, которые в кармане делались еще слаще. «Новый мир» печатал правду в разумных пределах, «Юность» – тоже, но в джинсах. Газета *«Daily Worker»* говорила по-английски, польские журналы – по-польски, которого никто не знал, но это ничему не мешало, потому что там печатали репродукции американских абстракционистов и портреты французских кинозвезд в бикини. Среди редкостей был выходивший в Вильнюсе детский журнал *«Genys»*, что на литовском означает дятел (не потому что стучит, а потому что нос длинный, как у меня).

Подшивки копились на антресолях нашего бесконечного коридора. Каждый раз, когда с них сметали пыль, жизнь останавливалась, и вся семья с наслаждением рылась в сброшенных на пол журналах. Каждый находил свое. Отец – «Ивана Денисовича», мама – Бёлля, я – Гладилина, бабушка – выкройки из журнала «Силуэт», который хоть и выпускался в Таллине с одним «н», уже тогда считался оплотом свободомыслия и моды.

Всю эту груду казалось немыслимым, ни увезти с собой, ни

выбросить. Отец решил выдрать лучшее и собственноручно переплести в книги, которые соберут, так сказать, пыльцу культуры в заросшем саду советской периодики. Для этого понадобилось секретное, как все, что могло пригодиться самиздату, пособие по переплетному делу и украденный в знакомой конторе дерматин шоколадного цвета. Суровые нитки взяли у бабушки, она же сварила мучной клейстер. Самодельные книги выходили лучше настоящих. Под домашним переплетом собиралось только любимое: весь Солженицын, весь Лакшин, весь Сименон, все братья Стругацкие. Перебравшись с нами в Америку, эти книги составляли первую мебель и напоминали о доме. Но вскоре на мучной запах клея явились тараканы. Мы бились с ними много лет и избавились, лишь переехав из Манхэттена на другую сторону Гудзона.

2.

Сборы в эмиграцию начинались с дешевых чемоданов, годных на один раз, потому что дальше заграницы не уедешь, а возвращаться тогда никому не пришло бы в голову. Но еще до них (громоздких, без колесиков, покрытых тем же дерматином того же дерьмового цвета) началось прощание, прежде всего – с сослуживцами.

К тому времени моя синекура в пожарном депо закончилась (завод сгорел, пока я был в отпуске). Но я нашел другую – на радио, от которого, как выяснилось, мне, как и отцу, никогда не удавалось отойти ни далеко, ни надолго. Устроиться туда мне помог наш старший товарищ Лева Гуревич. Он вещал на станции «Атлантика» для рыбаков западного бассейна, простиравшегося от Рижского взморья до банки Ньюфаундленда.

– Добравшись до нее, – рассказывали мне много лет спустя канадцы, – советские рыбаки иногда прыгали за борт, чтобы обрести свободу на берегу. На суше, однако, они не знали, что с ней делать, и коротали век в специально для них построенном приюте, слушая русское радио, в том числе – эту самую «Атлантику». Лева, естественно, об этом не догадывался и учил меня не баловать аудиторию разнообразием.

– Начинать репортаж, – говорил он, – надо как песню: «На левом берегу красавицы Даугавы…». А потом уже все равно, дальше никто не слушает.

Виртуоз микрофона, Гуревич довел свое искусство до совершенства и записывал передачи, не выходя из дома. Интервью он брал у жены-буфетчицы Насти.

– «В уставленном хризантемами красном уголке ткацкой фабрики я встретился с делегатом партийного съезда Майей Капустой», – открывал он программу, а дальше жена читала передовую из партийной прессы.

В эфире Настя бывала и завучем, и медсестрой, и парашютисткой, даже смотрителем маяка, для чего ей пришлось говорить низким, осипшим от балтийской непогоды голосом. Супруги погорели на полковнике пограничных войск, который, очумев в отставке, никогда не выключал радио. Обман вскрылся, и Леву выгнали как раз тогда, когда он сочинял либретто балета про Сальвадора Альенде «Чилийская серенада».

Лева оказался в Америке раньше меня и устроился лучше. Он поселился в столице, быстро выучил язык и стал печататься в федеральной прессе.

– «На левом берегу красавца Потомака», – прочитал я начало его репортажа и не стал вникать.

Не найдя в себе дерзости для творческой работы, я окопался в редакции газеты «Рижские волны», печатавшей расписание программ. Изредка требовалась заметка, и тогда я писал: «Труженики моря из краснознаменного колхоза-передовика „Узвара“ выходят ловить салаку на нежной заре».

Кроме меня в газете работали немолодые латышки. Они твердо знали день, когда выйдут на пенсию, и нетерпеливо ждали ее. Весть о моем отъезде застала их врасплох, заставив редактора, милую, но партийную даму, провести со мной разъяснительную беседу.

– В отличие от тебя, – начала она со вздохом, – я жила в довоенной Латвии и хорошо знаю, что такое гримасы капитализма. Это и безработица, и инфляция, и так называемая демократия, когда народ голосует за одну-единственную партию, а потом присягает на верность диктатору Ульманису, чей племянник до сих пор работает директором нашего Дома быта, запоровшего мне зимнее пальто. Зато с тех пор, как пришли русские, жизнь изменилась – ведь раньше мы все на евреев валили. И Рига теперь такая, что и не узнать. А то раньше в старом городе – кабаки, на эспланаде – фокстрот, за рынком – бордели, на базаре – миноги возами, что не продавали – вечером в Даугаву сбрасывали. По бульварам – профурсетки в перьях. Короче – декаданс, разврат, упадок. В газетах так и писали: маленький Париж.

Заметив, что нравоучительная беседа сворачивает не туда, она резко себя прервала и тихо сказала:

– Главное – не хвали. Когда тебя в Америке спросят, как на службе провожали, отвечай «с партийной ненавистью».

На этом мы поладили. Но в тылу было не проще. Разговоры о родине начались с жены. Воспитанная на декабристах, она путала их с диссидентами, готовилась к подвигам и говорила глупости:

– В Сибирь за тобой пойду, но в Америку не поеду.

– А в Италию? – вкрадчиво спрашивал я, напоминая ей маршрут эмиграции.

– В Италию? – переспрашивала она, вспоминая Гарибальди, Чиполлино и «Гуччи», и я почувствовал, что Сибирь тает.

Еще труднее оказалось утешить друга-марксиста Зяму. Перейдя на подпольное положение с тех пор, как его вымели из нашей «Молодежки», он не считал возможным покинуть отчизну, пока она не исправится.

– Мать не выбирают, – сурово говорил он.

– Конечно, – соглашался я, – кто ж нас спрашивал.

– Больных детей не бросают, – горячился Зяма.

– Это ты про нас?

– Сумасшедший гусь, – махал Зяма на нас с отцом рукой, – сумасшедшие шкварки.

Запутавшись в пословицах, метафорах и семейных отношениях (своих и гусиных), я покаянно молчал, обремененный грузом родины, который Зяма взвалил на наши с ним неширокие плечи.

Зато с соседкой все обошлось.

– Ты будешь в нас стрелять? – спросила она.

– Вряд ли, в моем военном билете записано «рядовой необученный, годный к нестроевой службе в военное время». У меня после менингита – девиация языка влево, никто оружие не доверит.

Поняв, что со мной каши не сваришь, соседка перевела стрелку на бабушку, с которой до этого годами не разговаривала, враждуя на кухонной почве.

– Какие же вы, Анна Григорьевна, неблагодарные, – поджав губы, сказала она, – вам родина все простила: мужа-врага народа, зятя-еврея, внука, обросшего до прости-господи, а вы ее, родину, предать готовы.

Но бабушка и без того была кремень.

– Умру, где Шевченко, – говорила она.

– В Ленинграде?

– На родине.

– В Риге?

– Лишь бы не в Америке.

И я, даже встав на колени, не смог ее отговорить.

3.

И все-таки сложнее всего было разобраться с собой. Как все вокруг, я, конечно, мечтал о Западе, особенно – о Японии, которая тогда круто входила в моду: Куросава, Кобо Абэ, «Ветка сакуры». В сущности, Западом была и Гана, как я узнал от знакомой переводчицы, и Египет, как мне объяснил строивший Асуанскую плотину дядя Алик, и даже Куба, где побывал на практике Витька Буль с иняза. Но сам я, живя в портовом городе, да еще на самой западной кромке страны, видел живьем только одного иностранца – канадского коммуниста, которого мы совершенно случайно затащили на пьянку и, не умея говорить по-английски на другие темы, расспросили о том, как он провел лето. На память он нам оставил банкноту в два канадских доллара, но мы не решились ее спустить в валютном магазине, ибо не верили, что такие купюры бывают нефальшивыми.

В остальном заграница мерцала, лишь изредка засевая нашу реальность магическими, как мощи, вещами. Однажды я нашел на пляже вынесенную волной коробку с наклейкой на неведомом языке и удивился ей, как Робинзон Крузо – следу Пятницы. В другой раз приятель-моряк обменял на водку чучело съеденного омара. Он висел над моим диваном рядом с картой Голландии. Собственно, этим исчерпывались материальные контакты с зарубежным миром, не отличающимся от потустороннего: о нем тоже можно было читать и грезить.

С первыми мыслями об эмиграции призрак Запада стал твердеть, плотнеть, наливаться соками жизни, так что мы, как Фома неверный, уже, казалось, могли потрогать его руками. Перспектива отъезда пугала дважды. Было страшно уезжать, еще страшнее – что не отпустят.

Чем решительнее заграница проступала сквозь марлевый, вместо железного, занавес, тем менее реальной казалась наша сторона. Уже не своя, еще не чужая, страна была теперь не единственно возможным, а одним из многих адресов во внезапно склеившемся мире.

Пушкин после ссылки в Михайловском вернулся туда по своей воле. Мы, понимая, что потом будет поздно, решили заранее навестить родину. Но я не знал, что такое родина, когда ее не пишут, как в букваре, с большой буквы. И это несмотря на то, что, исследовав, не считая столиц детства – Киева, Рязани и Риги, изрядную часть страны, название которой мы не умели произносить без сарказма, я полюбил все, что увидел, и дорожил каждой встречей. С карпатскими колыбами, с дюнами на Куршской косе, с молочным Белым морем, с бурым медведем в вологодском лесу. К 24-м годам мне удалось столько накопить, что должно бы хватить до конца. Но я все равно боялся того, что

заранее и бездумно именовал ностальгией. Объявив ей превентивную войну, мы с женой отправились туда, где никогда не были, но всегда хотели – в Крым.

Помимо субтропического климата полуостров грела диссидентская слава. Крым был диким и цивилизованным сразу. Первым его делали бородатые люди с гитарой, вторым – история, прицепившая нас, пусть и в качестве скифов, к античности, Средиземноморью, Европе. Крым казался мостом в тот мир, у границы которого мы жили в Риге. К тому же в Ялте у меня была тётя-экскурсовод, автор текстов к альбому открыток «Всесоюзная здравница».

– Вам повезло, – съязвила она, – море – ледяное, на пляже – ветер, Крым – пустой: весной тут одни чахоточные.

Но сам живя на курорте, я всегда ценил мертвый сезон, когда обыденная жизнь, выползая из щелей, куда ее летом загоняют приезжие, устраивает себе праздник. Наслаждаясь им, мы медленно курсировали между достопримечательностями на заблудившихся автобусах и попутных грузовиках. Не отличая эллина от иудея, мы отдали дань Волошину в Коктебеле, патриотам – в Севастополе, грекам – в Херсонесе, Айвазовскому – в Феодосии, караимам – в Чуфут-Кале, татарам – у Бахчисарайского фонтана, шампанскому – в Новом Свете. Наконец, исчерпав историю, мы застряли с Чеховым в Ялте. От остальных классиков его отличало равнодушие к проклятым вопросам. В отличие от нас Чехов не рвался на Запад, а был им. Он понимал, что перемена мест не вылечит даже от чахотки.

Тут, однако, в Крыму зацвела магнолия, и я, утратив остатки здравомыслия, полез напоследок купаться.

Лимб, *или* Отказники

Мы хотели сменить адрес, нам предложили сменить родину.

– Путь к свободе, даже если вам придется сорок лет шляться по пустыне, лежит через Обетованную, – сказал Миша Циновер, и, недоверчиво взглянув на нас, добавил, – я имею в виду Израиль.

Его недоверие было вполне оправданным. Все мы, включая выросшего на Евбазе отца, были липовыми евреями. Настоящие мне впервые встретились (и не понравились) в Бруклине. Дома такие не попадались, и не случайно. Советский еврей был им иногда, узнавая своих, как в масонской ложе – по тайным, но всем известным приметам. Например – на танцах, как это случалось в знаменитом юрмальском ресторане «Лидо», где ближе к закрытию плясали «хава-нагилу» и «семь-сорок».

Будучи декоративным, наше еврейство всего лишь оттеняло универсальные черты советского человека. Пожалуй, лишь еврей и мог им считаться. У латыша была своя национальная идентичность, в которую ему разрешали рядиться на праздник песни. Национальность русских включала в себя всех остальных.

«Русский уголовник, – пишет „Нью-Йорк Таймс“, – Олжас Улугбеков…»

Но у евреев национальности не было вовсе. Поэтому у великого Похлебкина в книге про кухни народов СССР еврейская кулинария выдавлена на последние страницы, которые она делит с блюдами народов Крайнего Севера, лучшим из которых, не могу умолчать, автор считал еще живого тюленя.

Вместо первичных национальных признаков власти предлагали евреям вторичные: журнал «Советиш Геймланд» со стихами Арона Вергелиса. Обходясь без языка, корней и религии, мы вместо Торы читали Шолом-Алейхема и заменяли притчи Талмуда анекдотами про Рабиновича. Что касается Бога, то брат в Него не верил, я – сомневался, отец путал с фаршированной рыбой. В сущности, только ее и можно было безоговорочно причислить к иудейскому племени. Остальные были потерянным коленом. Теперь нам предстояло найтись под руководством Циновера.

Как все евреи, Миша был физиком до тех пор, пока не решил уехать на историческую родину. Получив отказ на выезд в Израиль, он вылетел с того самого атомного реактора, вокруг которого кучковалась наша техническая интеллигенция, и, став

евреем по основной, а не побочной специальности, открыл семинар отказников. На этой работе он тратил энергии, не меньше чем на прежней вырабатывал реактор.

Циновер был неотразим. Он источал оптимизм и не верил в будущее. Не зная, когда это кончится, он знал – где, и готовился к встрече с новой отчизной, дерзко и шумно прощаясь со старой. Стремясь наполнить каждый день ожидания, Циновер занимался всем сразу: с физиками – физикой, с гуманитариями – Шестидневной войной и со всеми – английским, преподавая его новичкам по американскому бестселлеру «Исход», считавшемуся сионистской пропагандой.

В квартире Циноверов на Авоту, той самой улице, где жил дедушка Мандельштама, никогда не закрывались двери – буквально. Открыв их нараспашку, евреи бросали вызов властям, хитроумно до наглядности убеждая их в своей лояльности.

– Мы не делаем ничего беззаконного, – означала политика открытых дверей, – нам нечего скрывать от этой страны, ибо мы не считаем её ни своей, ни исправимой.

В этом было что-то торжественное, почти библейское, если бы не жаловавшийся на гвалт отставник, живший на той же лестничной клетке.

– Отпусти народ мой, – отвечал ему Циновер, – и можешь захлопнуть за нами двери.

2

Мы полюбили Циновера, хотя сначала пришли от него в ужас: ему было все равно, что есть.

– Миша разрезает батон вдоль, – чуть не плача, рассказывал впервые побывавший у них в гостях отец, – кладет внутрь сырой лук и называет это обедом.

Вскоре, однако, все изменилось: мы научили Циновера завтракать до ужина, он нас – быть евреями, насколько это возможно. Вникая в родные, как объяснил нам Циновер, традиции, мы радовались новым праздникам. Правда, разогнавшись на пути к Западу, мы сперва прибавили к некороткому семейному прейскуранту католическое Рождество, встречая его экуменическим компромиссом: и с жареным гусем, и с гусиными шкварками.

Узнав об отступничестве, Циновер нас пожурил и приобщил к настоящей Пасхе, а не той, на которую мы красили яйца. Отмечать Песах в Риге было не так просто, потому что мацу не продавали, а обменивали на муку в синагоге скрывавшейся на

старинной улочке Пейтавас. Опасаясь прозелитизма, приставленные к пекарне органы строго следили за паритетом сырья и продукта.

Первый (и последний, как я с огорчением должен признать) седер прошел с оглушительным успехом. Соседка вызвала милицию, бабушка спрятала в своей каморке запретный дрожжевой хлеб, гости не расходились до завтрака и после него.

Но если с телом иудаизма нам удалось разобраться, то дух его оставался непросветленным, пока Циновер не затеял самиздатский журнал «Еврейская мысль». На первых порах выяснилось, что редколлегия не знает, чем еврейская мысль отличается от любой другой, особенно – русской. Поэтому в дебютном номере мы поместили белогвардейские стихи Цветаевой, антисемитские статьи Розанова и – до кучи – еврейские анекдоты.

К следующем выпуску Циновер навел порядок, раздав всем актуальные задания. Одному выпал реферат книги Зенона Косидовского «Библейские сказания», другому – рецензия на Талмуд. Примкнувший к нам из чувства протеста марксист Зяма взялся набросать страничку-другую про Филона Александрийского. Мне поручили написать статью про стихи Хайяма Бялика, но она Циноверу не понравилась.

– Ты упустил главное, – вздохнул он, – Белик, или как там его, боролся против безродных космополитов.

– Как Сталин? – опешил я.

– Вроде того, – согласился он, – настоящий еврей живет на родине.

– В Бруклине, – добавил грузный Яша, который уже три года мечтал перебраться поближе к американскому кузену, державшему бензоколонку на Атлантик-авеню.

Остальные недипломатично молчали. Несмотря на еврейские мысли и узкую карту Израиля, висевшую теперь у нас дома вместо мезузы, далеко не все в нашей веселой мишпухе готовились стать евреями навсегда или даже надолго.

Дело в том, что евреи, диссиденты по праву рождения, даже сами у себя не вызывали доверия и были избранным народом, обладающим возможностью сбежать – не куда, а отсюда.

– Несправедливо, – говорили мне в Америке, – что только евреев не выпускают из России.

– Несправедливо, – поправлял я, – что только евреев и выпускают.

Зато при Брежневе евреем мог быть любой. В эмиграции я встречал их всех: казаков, армян, цыган, молокан, даже вотяка. По правилам игры, которые соблюдались тем строже, чем меньше

в них верили, у отъезда за границу было одно оправдание – стремление к воссоединению семьи. Никого не смущало, что любовь к указанному в вызове израильскому дяде перевешивала чувства к оставшимся дома родителям, братьям и детям от предыдущего брака. Потешаясь над проформой, мы придумывали несуществующим родственникам биографию и профессию. Мой дядя был учителем, у Вайля – садовником, у Циновера – сионистом. Не удивительно, что он один собирался в Израиль и доехал до него.

Остальных грызли сомнения. Меня у евреев смущали заглавные буквы на тех же местах, что и в школьном учебнике. Вновь слушая про Народ и Родину, я пугливо озирался, боясь, что меня заподозрят в пафосе. Я не хотел любить евреев за то, что они евреи. Я восхищался Израилем как Римом, Карфагеном и Афинами, но не мог его считать национальным домом, потому что не знал что такое национальность и никогда не был у нее дома. Но главное, интересуясь еврейской, как, впрочем, любой другой историей, страстно и безоглядно, я любил лишь русскую литературу и готов был заниматься ею в любой точке планеты, где бы мне это позволили.

– В Бруклине, – повторил благодушный Яша, и, забегая вперед, скажу, что он оказался прав.

3

Израиль давал путевку в жизнь. Она называлась визой и выдавалась в ОВИРе толстыми тетками. Мы обзывали их парками. Они пряли наше будущее, решая, кого отпустить, кого придержать, кого оставить, как им казалось, навсегда.

– Пути еврейской судьбы, – говорил Циновер, – так же неисповедимы, как у гоев, но мы знаем, кто виноват и что делать.

– Что? – спрашивали семинаристы.

– Учиться, учиться и учиться, как говорил Моисей евреям в пустыне.

Семинар и в самом деле процветал. Заезжие физики, которые за границей тоже были евреями, читали лекции на дважды непонятном языке. Американские туристы (я и не знал, что в Риге такие бывают) рассказывали про Иерусалим, показывая отпускные снимки. Нам объяснял каббалу тайный хасид. Мы штудировали уголовный кодекс. Разучивали государственный гимн «Ха-Тиква». Учинили капустник на Пурим. Зачитывали письма с исторической родины на географическую. Пили «Кристалл» и ругали власти, твердо веря в то, что они ловят каждое наше слово.

Отказ отправлял в лимб, и мы наслаждались всяким днем, проведённым в транзите, даже не догадываясь, что это называется буддизмом. Ввиду перемен все неудобства казались, как на даче, временными, не исключая и советскую власть. Незыблемая для других, нам она представлялась чужой и комичной, вроде полуживого Брежнева.

Научившись ни на что не обращать внимания, отказники ждали конца отказа или просто конца, как это делал Марьясин. Начальник легендарного ВЭФа, выпускавшего транзисторные приемники «Спидола», с помощью которых осуществлялась беспроводная связь с Западом, в отместку был приговорен к бессрочному пребыванию на Востоке. Не чая дожить до перемены адреса, Марьясины транжирили нажитое, пока от прежнего преуспевания не остались посеревшие от хода времени вымпелы за громкие победы в социалистическом соревновании.

Нам особенно транжирить было нечего, поэтому в расход был пущен неприкосновенный запас. Расчетливо выбирая жертв, мы обменяли 13 томов Рабиндраната Тагора на два воскресных завтрака. Федина хватило на один, зато золоченный шеститомник Шиллера – до сих пор жалею – помог отметить мой 24-й день рождения.

– В Бруклине Шиллера – завались, – утешали одни гости.

– Будешь его читать, – добавляли другие, – когда устанешь подметать тротуары.

Готовясь к этой перспективе, мы осваивали смежные профессии. Я оттачивал мастерство в обращении с брезентовым рукавом, который простаки зовут пожарным шлангом. Вайль на пару с моим братом освоил выгодное ремесло окномоев. Боясь высоты, Петя сидел на подоконнике спиной к улице и декламировал Киплинга, пока Игорь драил стекла.

Другие отказники устроились не хуже. Поскольку на интеллигентную работу их не брали, они зарабатывали на вольных хлебах больше, чем раньше. Плотный Яша рыл могилы. Пунктуальный Циновер по вечерам включал немногочисленные в Риге неоновые рекламы, а по утрам гасил их. Рассеянный Зяма сторожил аквариумных рыбок, пока, зачитавшись, не забыл воткнуть в розетку вилку обогревателя, из-за чего все экзотические разновидности замерзли, а отечественные лишь проголодались. Но лучше всего было разгружать вагоны со съестным. Однажды я перетаскал четыре тонны апельсинов, после чего двадцать лет к ним не притрагивался.

Всякий труд был почетен и никакой не принимался всерьез. Понимая, однако, что каникулы не длятся вечно, все потихоньку готовились к западной жизни, которую теперь считали настоящей

– то есть не временной, а вечной. Пытаясь её себе представить, я опирался на смутные вести в виде заграничных открыток, которыми изредка со мной делилась моя прежняя любовь Сула. На одной была Вена, на другой – верблюд, на третьей – Красное море, где она купалась с женихом-саброй. Открытки казались видениями с того света – небо на них было безоблачным, словно в райских кущах.

Зная из отечественной прессы, что там ничего не дают даром, мы загодя собирали документы для резюме, которым намеревались соблазнить работодателей. Поскольку всякая свобода чревата свободным рынком, в Риге возникла индустрия отъезда, кормящая переводчиков, машинисток и нотариусов. Никто из них не был на Западе, но все они знали, что там пропадешь без дипломов, аттестатов и прочих доказательств профпригодности. Вздыхая от непомерных трат, я отдал в перевод документы и получил обратно всю свою жизнь от метрики до брака на английском, в двух экземплярах, заверенную нотариусом и скрепленную казенной печатью. Папку с бумагами венчал диплом филолога, к которому прилагались безупречные результаты сданных в университете экзаменов. Их портила одинокая четверка по атеизму. Я получил ее из-за вечно мучивших меня сомнений, но надеялся, что она мне не навредит, став тонким доказательством мятежного духа.

Сложив в рюкзак интеллектуальный багаж всей семьи, мы с братом повезли его в Москву, где представлявший Израиль голландский консул переправлял документы по адресу – в свободный мир, чтобы это ни значило.

Увидав вываленную на стол гору дипломов, даже привычный к евреям консул вежливо удивился:

– Как у вас говорьят, – пошутил он, – собака не перепрыгнет.

Я никогда не слышал, чтобы у нас так говорили. И никогда больше не видел этих докуметов, не удосужившись открыть толстый конверт, наконец нашедший нас в Бруклине.

Но сперва власти решили расстаться с родителями. Отец поклялся бросить курить, когда впервые в жизни увидит Запад. Как только поезд пересек австрийскую границу, он выбросил окурок в окно. Мне кажется, он еще тлел, когда я отправился по тому же маршруту.

Брест,
или
Долгое прощание

Родители покинули отчизну так, как по их мнению она того заслуживала: по-пижонски, с одним чемоданом. В нем лежал мамин сарафан и пляжная рубаха с лошадьми на красном лугу, в которой отец считался неотразимым в Дзинтари. Нам предстояло перевезти через Железный занавес все остальное, включая сумасшедшую тетю Сарру.

Последний осколок Евбаза, она, как все там, никогда не служила и провела жизнь между моей бабушкой и дядей Колей, которые приходились ей суровой сестрой и мягкотелым мужем. Когда он умер, Сарра, потеряв и без того хрупкую связь с реальностью, перебралась в сумасшедший дом, где пациентов привязывали к кроватям без простыней.

Отец её оттуда вытащил и перевез в Ригу. Тете Сарре было все равно. Она не узнавала даже меня, я её – тоже. Высохшая, как стручок неизвестного растения, она никак не походила на мою смешливую тетку, которая «махерила» с взятками, играя со мной в «66». Собственно, из-за нее я научился считать раньше, чем читать. Теперь Сарра молча сидела на кушетке и ждала, когда её отравят. Чтобы предупредить покушение, она ела только крутые яйца, которые сама себе варила. Весть о переезде она приняла нервно: долгим, ни к кому не обращенным криком без слов. Мы приняли это за «да», потому что ни у нас, ни у нее не было другого выхода.

С остальным было не проще. Нам предстояло разрушить устоявшуюся за полвека жизнь и прокутить ее руины. Власть обменяла имущество, накопленное тремя поколениями, если считать фарфоровую балерину Ульянову, доставшуюся нам вместе с Саррой по наследству, на твердую валюту: 90 долларов на нос. Мешавшая округлить сумму десятка бесила и умиляла сразу. Ведь где-то в недрах правительства особые люди, шевеля губами, крутили ручку арифмометров, чтобы не приблизительно, а с точностью то третьего знака оценить движимое имущество эмигранта. Про недвижимое никто не заикался: ключи – в домоуправление и поминай как звали.

Нам, впрочем, и этот расклад казался царским. На доллары приходили смотреть гости. И дом разорять оказалось так же весело, как строить: субботник наоборот. Распродажа началась, естественно, с книг. Разделив библиотеку на необходимое и

любимое, мы отправили тонну первого морем и принялись торговать последним. Обеспечив будущее редкими за океаном Герценом и Белинским, мы избавлялись от зачитанного, легкомысленного и англоязычного: Джека Лондона, Марка Твена, Майн Рида, Конан Дойля, О'Генри, даже Жюля Верна.

Первый же покупатель стал последним. Молодой офицер, не торгуясь, купил всё на корню за 1000 рублей, составлявших мою годовую зарплату в пожарной охране.

– Куда бы ни услали, – говорил он, лаская изодранные переплеты, – с ними я нигде не пропаду.

Окрыленные барышом, мы разбазаривали наш дом крещендо. В комиссионку шла мебель, кроме обеденного стола, посуда, кроме рюмок, опустевшие (жуткое зрелище) книжные шкафы. Один мы спустили с нашего четвертого этажа не раскрутив, отчего он, теряя на каждом лестничном пролете четверть стоимости, стал к первому этажу дровами.

Никогда – ни до, ни после – я не чувствовал себя таким богатым. Деньги казались шальными и были временными. Их срок жизни измерялся днями, как зимой у сугроба, а летом у бабочки. Каждый вечер мы провожали застольем, балуя себя молдавским коньяком и местной миногой. С утра, уже брезгуя сдавать бутылки, мы собирали диковинный скарб в дорогу. Прислушиваясь к советам бывалых, мы запасались тем, что обладало по их сведениям безусловной ценностью за границей. В стандартный набор, способный ввести в ступор психиатра, входил фотоаппарат «Зенит» с цейссовской оптикой, деревянные ложки без счета, янтарь и натуральные кораллы, которые знатоки выковыривали из старинных украинских монист. Хуже всего был большой слесарный набор.

– Без него, – говорили эксперты, – нет смысла соваться на Запад.

Я так и не понял, почему, но рашпиль, тиски и струбцина заняли свое место в двух из 17 чемоданов. В других помещались семейный архив, кастрюля, запас белья, бабушкина перина и пищевой НЗ: не портящаяся на чужбине твердокопчёная колбаса, югославские пакеты с куриным супом «Кокоша юха», справедливо считавшимися манной эмигранта, а также елочные игрушки на первое время. С этим багажом нам предстояло отправиться на вокзал после того, как мы исчерпаем прощание торжественными проводами. Они, объединяя в себе тризну, акт гражданского неповиновения и грандиозную пьянку, требовали мужества, здоровой печени и отчаяния. Прощаться приходили либо те, кто готовился к отъезду, либо те, кому было нечего терять. Часто это были одни и те же люди.

Оставив загашник на дорогу, мы вложили все оставшиеся деньги в водку. Не удивительно, что я ничего не запомнил, кроме спящего у входных дверей Лёвы, в обычные, а не праздничные дни торговавшего раритетами в букинистическом магазине. Присыпанный перьями из разодранной в вакханальном экстазе подушки, он, объединяя античную мифологию с христианской, походил на усопшего ангела.

На перрон нас провожала страшно помятая, будто с картин Босха, толпа. Мы шатались, пассажиры шарахались. Когда мы ввели в купе покорившуюся судьбе тетю Сарру, погрузили 17 чемоданов, Вайля и марксиста Зяму, провожавших нас до Бреста, я понял, что не успел сделать главного: в последний раз поваляться на диване с книжкой и сказать бабушке то, что всю жизнь хотел.

2

Поезд дальнего следования отчаливал так плавно, будто считал себя кораблем. За окном неторопливо уплывали в прошлое не успевшие опохмелиться друзья и близкие. Из виду навсегда исчезли родные шпили. Не зная, как к этому отнестись, мы отправились глушить преждевременную тоску. В вагоне-ресторане уютно бряцал судок с солянкой, но водки все равно не хватило. В Минск, где мне не довелось до тех пор бывать, поезд приходил в пять утра и стоял 15 минут, но я все равно нашел у кого купить прощальные пол-литра. Я все еще был на родной земле, которая кончалась в Бресте. На границе мы наконец расстались с друзьями.

– Ариведерчи, – легкомысленно бросил Вайль, рассчитывавший нагнать нас в Риме.

Растроганный Зяма меня обнял и попросил не очернять родину.

– Думаю, она справится без меня, – высокомерно ответил я и шагнул в будущее, открыв матовую дверь таможни.

За оцинкованными, как в морге, столами чиновники лениво потрошили багаж лысого еврея. Юля и нервничая, он рассказывал им анекдоты про Рабиновича. Таможенники смеялись, но не теряли бдительности, встряхивая носки, перелистывая страницы и ощупывая швы.

Когда – и очень нескоро – дело дошло до нас, таможня начала с книг и бумаг. Заметив «Ивана Денисовича» в домашнем переплете, усатый дядька в зеленой форме посуровел:

– Солженицын, – сухо объяснил он, – к провозу запрещен.

– На Запад?

– Куда угодно.

Вслед за Александром Исаевичем в кучу запретного угодили домашний фотоальбом, дипломная работа «Булгаков и мениппея», которой я надеялся поразить просвещенную часть Запада, и классный дневник с замечанием моей первой и до сих пор не прощенной учительницы Ираиды Васильевны. Время шло, досмотр не кончался, венский поезд уходил, а мы все еще не могли проститься с отчизной.

– Ничего страшного, – объявил старшой, – отправитесь следующим.

– В Варшаву?

– Один хрен.

Не считавшаяся полноценной заграницей Польша была паллиативом, но располагалась на полпути.

Попав, наконец, в поезд и оставшись без попутчиков, мы очумело озирались, и, боясь пропустить польскую столицу, выскочили на остановку раньше. Осознав по беспроглядной тьме Варшаву-товарную, мы влезли обратно на ходу, пихая в спину тетю Сарру. Она не роптала. С момента отъезда к ней частично вернулся разум. Приняв эмиграцию за эвакуацию, она решила, что мы не едем к немцам, а бежим от них, притворяясь, как это было с ней в прошлый раз, цыганами.

За цыган нас и приняли на столичном вокзале. Больше всего мы боялись остаться без билета и застрять на территории Варшавского пакта. Дожидаясь утра, мы раскинули табор возле еще закрытой кассы. Пока Сарра завтракала сваренными про запас крутыми яйцами и сторожила 17 чемоданов, я отправился осматривать достопримечательности, не рискуя удаляться от вокзала дальше первого магазина. Мне не удалось узнать, чем он торговал, ибо витрину украшала прозрачная ваза с тысячью гвоздик: половина – белых, половина – красных. Сняв на всякий случай кепку, я отправился обратно, оставив Польшу на потом.

Когда касса открылась, мы были первыми и единственными покупателями. Буднично купив билеты на Запад и не удостоившись взгляда таможенников, знавших, что после русского шмона им нечего делать, мы сели в поезд и отправились в путь, считая границы. В Чехословакии мы купили через окно горячую сосиску – здесь еще брали наши последние рубли. Только к ночи поезд пересек австрийскую границу. Аграрный пейзаж не изменился, но я все равно высунулся в окно и втянул в себя воздух. Пахло навозом.

В Вену мы прибыли глухой ночью в состоянии полной эйфории. Стоя на перроне в чужом городе незнакомой страны с

17 чемоданами и полоумной тетей на руках, мы смеялись и обнимались, пока не пришел полицейский.

– О, полицай! – закричали мы и обняли его тоже.

В участке все быстро выяснилось, и нас отправили на такси в пансион *«Zum Türken»*, где собирали других предателей. От переживаний жена заговорила с шофером на безупречном немецком, который с прохладцей учила в школе. Пораженный произношением венский таксист растрогался и решил прийти ей на помощь:

– Фройляйн, я же вижу, что вы – волжская немка. У нас, на свободе, вам больше незачем скрывать происхождение. Бросьте этих евреев, – сказал он, ткнув пальцем на заднее сидение, – и живите на всю катушку.

3

Вернувшись в Ригу через треть века, я обнаружил, что мой квартал изменился лицом. Магазин модных платьев, который безо всяких на то оснований назывался «Лотосом», переродился в бутик. Гастроном, где по ночам второгодник Максимов с завидной прибылью торговал водкой, больше не держит спиртного. В книжном магазине литературу и детективы продавали в разных разделах, второй, естественно, больше. На месте пышечной, но все в той же декоративной избе расположился ночной бар «Аризона». Проходной двор вырос в молл. Магазин с хомутами торгует эротическим инвентарем. Пункт по приему утиль-сырья, куда я в пионерском раже таскал макулатуру, стал киоском и продавал то, что раньше покупал. В бомбоубежище устроили тир. «Палладиум» обветшал, но там все еще показывали американские фильмы. Исчезли очереди у водочного магазина, уставленного «Рижским бальзамом» («Неужели люди пьют его добровольно?» – спросил меня американский приятель). Нет больше «Приема стеклотары», куда мы ходили через день, а по понедельникам дважды.

Но дом остался. Разлука его преобразила, хотя на первый взгляд ничего не изменилось. Серый и незатейливый, он по-прежнему лишен тех архитектурных излишеств, которые делают Ригу неотразимой. Здесь не было ни средневековых башенок, ни завитушек купеческого барокко, ни рубленных девизов протестантской этики (*Labor Omnia Vincit*), ни самодельной мифологии ар нуво, ни стилизаций кирпичной готики, ни социалистических звезд, снопов и рогов изобилия. Собственно, на фасаде вообще ничего не было, кроме цемента и окон без

наличников. Однако именно это обстоятельство и делало его минималистским памятником функционального зодчества, провозгласившего орнамент преступлением. Теперь мой дом красовался на всех открытках, но он уже был не моим.

Зайдя для разгону во двор, я узнал только липу. Она стала еще старше, но сохранилась лучше меня. Лужа высохла, мусор убрали. Хибару дворника запирала стеклянная дверь с непонятной, а значит финской, табличкой. Зато машина была шведской – *«Volvo»*, и хозяин на меня вежливо косился.

– Я сюда каждый день выбрасывал мусор, – объяснил я, и он перестал улыбаться.

Махнув на него рукой, я свернул в родной подъезд, но уперся в цифровой замок, куда уже не сунешь универсальную открывалку – двухкопеечную монету, да и откуда она у меня возьмется?

Найдя на табло квартиру номер 9, я нажал кнопку и, услышав *«Ko, ludzu?»*, сказал по-английски, что жил здесь раньше.

– *Not anymore*, – ответил домофон, и я, не став спорить, отправился домой, за океан, убедившись в том, что там мне и место.

Amerika

Вена, *или* Обморок

Впервые в жизни проснувшись за границей, я тревожно прислушался. В коридоре пели «Я шагаю по Москве». Пансион *«Zum Türken»* был набит соотечественниками. За завтраком, называвшимся континентальным и оказавшимся скудным, шел горячий разговор. Опытные посвящали новичков в тонкости западной жизни.

– Шиллинг!

– Какой шиллинг?

– Австрийский, даже если по-маленькому.

– Жлобы! Стоило уезжать.

С трудом поняв, что речь идет о платных уборных, я уклонился от беседы со своими, готовясь к встрече с чужим.

Перед выходом мы помылись, причесались и переоделись дважды. Присели на удачу, набрались мужества и переступили порог.

– Это, – не удержавшись, перефразировал я Нила Армстронга, – маленький шаг для любого человека, кроме советского.

Запад для нас и правда был Луной, причем, её обратной стороной: мы знали, что она есть, но нам не доведется на нее посмотреть. За дверями пансиона небо, как и обещали эмигрантские открытки, было категорически безоблачным. Солнце беззаботно сияло. Пустой переулок вел к безлюдному проспекту.

– На то этот мир и называется свободным, – не успокаивался я, – что в нем можно идти, куда душа прикажет, избегая, разумеется, платных уборных.

Мы не боялись, а надеялись заблудиться. Километр спустя, однако, пейзаж не изменился. Скучные буржуазные дома, которые напоминали Ригу, какой она была и стала без советской власти. Только тротуары еще чище.

– Некому пачкать, – заключили мы, все еще не встретив ни одного венца, и покорно продолжили путь.

Вглядываясь сегодня в то солнечное утро, я стараюсь вспомнить, чего, собственно, ждал от первой встречи. Но спустя сорок лет и сотню путешествий, картина расплывается, память глохнет, притупляется острота азарта и остается лишь стыдливое недоумение. Твердо я тогда знал одно: Запад обязан быть другим

– на цвет, вкус, запах и ощупь. Вскормленная в изоляторе детства надежда на волшебную – альтернативную – реальность жила во мне, как в каждом ребенке, открывшем в моем случае «Незнайку», а в чужом – «Гарри Поттера». С тех пор, как Гагарин выяснил, что Бога нет, я понимал: другой мир потому и называется потусторонним, что его надо искать по ту сторону. И вот мы здесь. Прорвавшись сквозь границу, не растеряв 17 чемоданов, не уморив полоумную тетку, идем по опустошенной воскресеньем Вене, сжимая в кулаке австрийские шиллинги. Давно идем, солнце палит, пить хочется, а чуда все нет. И тут, на черте, отделяющей энтузиазм от обиды, наш пока еще немой ропот был услышан и оно явилось.

2

Супермаркет, возможно, был необычным, но я до тех пор и обычных не видел, поэтому заглядывал в него с опаской. Важно, что он оказался открытым, хотя людей не было ни внутри, ни снаружи. Пригладив волосы и придав лицу скучающее выражение «нас ничем не удивишь», до сих пор характерное для соотечественников за рубежом, мы вошли в прохладный зал и, не справившись с собой, открыли рот. Все было так, как снилось, только лучше.

Дело в том, что я вырос в доме, где жизнь вертелась вокруг книг и закуски. И того, и другого нам не хватало даже больше, чем денег. С первым справлялся самиздат, со вторым – случай.

– Русские не знают, – писал американский журналист, – что они любят, ибо тут каждый ест, что выбросят.

Не уверен, что американец правильно понимал смысл им написанного, зато у нас сомнений не было и никто не выходил из дома без авоськи. Живя зимой охотой, а летом – собирательством (в основном – грибов, но иногда и ягод), мы привыкли не составлять меню, а доверять его случаю. В будни из всего получались котлеты, в праздники – салат Оливье, если выбрасывали колбасу и горошек.

Незадолго до прощания, однако, в Риге обнаружилась радикальная пропажа: полностью исчез лук, необходимый, как соль, для приготовления всех блюд, кроме сладких. Устав закусывать печеньем, мы всей семьей отправились в Ленинград, чтобы напоследок посетить Эрмитаж и проверить, как в Питере с луком. До музея мы не добрались, обнаружив еще на задворках второй столицы стройную луковую очередь. К светлым невским сумеркам мы загрузили мешок в багажник и отправились

восвояси, не переставая улыбаться. Нежданная роскошь располагала к филантропии, и мы, вернувшись луковыми баронами, щедро одаривали ближних, включая враждебных соседей. Никогда я еще не был так популярен, но лишь до тех пор, пока луковицы не пустили перья, став непригодными для котлет.

– Ничего, – утешали мы себя, – на Западе всего вдоволь, кроме, конечно, духовности, которую мы везем с собой.

И все же супермаркет привел всех в предобморочное состояние. Страшнее всего выглядел колбасный отдел: не кончаясь, он сворачивал за угол и терялся в подсобке. Мы, конечно, знали, что Запад, обменяв дух на тело, живет без дефицита, но не знали, что до такой степени. Подкованный антисоветской пропагандой, я думал, что свободный рынок напоминает спецраспределитель для старых большевиков: сервелат, горбуша, финский сыр «Виола», плюс мандарины к Новому году. Но венский прейскурант ошеломил меня, словно первый секс. Несуразное, как в «Камасутре», разнообразие оскорбляло консьюмеристскую невинность и, чтобы унять истерику, я привычно перевел тело в дух, представив колбасу – книгами.

– Они взаимозаменяемы, – успокаивал я себя, – каждый экземпляр служит аккумулятором изобретательного ума и опыта самых даровитых поколений.

Стесняясь, как в чужом гареме, мы не смели прицениться к нарядному товару и, выбрав что поскромнее, вышли с апельсиновым лимонадом того мутно-желтого цвета, которым отдавала мастика для натирки паркета. Открыв в сквере бутылку и облившись пеной, я убедился что запах был тоже знакомый – химический. Утолив газированной мерзостью жажду, мы молча сидели на скамейке, раздавленные размерами того огромного мира, который нам предстояло освоить, пригубить, разжевать и переварить.

Думаю, что за этот шок нашу эмиграцию назвали в метрополии «колбасной». Но это не совсем правильно. Мы ехали за свободой, не зная, что она обернется колбасой, включая салями, составленной из итальянской ослятины с занзибарской гвоздикой и французским коньяком.

3

О приближении к центру мы догадались по архитектуре. Скромное очарование буржуазии сменилось нескромным: на

фасадах прибавилось колонн. Горожане по-прежнему прятались, но магазины стали встречаться чаще. Витрины без съедобного меня волновали меньше, пока я не увидал книжную лавку. Среди глянцевых обложек с умляутами я разглядел три бурые книги на кириллице, и тут мне стало дурно во второй раз: у всех на виду лежал трехтомник Мандельштама.

Один том – я еще мог понять. Он у меня самого был – настоящий, но фальшивый. Его тайком изготовили в той же типографии, где напечатали легальный и неуловимый тираж синей книжки из «Библиотеки поэта». Она досталась мне за 25 рублей от книжного жука, как назывались у нас маклеры, предложившего заодно купить Бердяева. Но его «Самосознание», несмотря на свидетельствовавший о краже штамп «Спецхран», стоило 600 рублей, что превышало годовую стипендию отличника – мою. На исходе советской власти я вновь встретил эту книгу в другом переплете и под открытым небом. Голубые поспешно напечатанные книжки делили прилавок с молдавскими помидорами и расходились не хуже. Мой приятель-жук убедившись, что он свободе не конкурент, покинул отечество, зашив в воротник автограф Есенина, чтобы уже никогда не заботиться о деньгах.

– О, муж Айседоры Дункан, – одобрил нью-йоркский букинист и купил раритет за 100 долларов.

Но всего этого я тогда не мог знать и предвидеть. Не желая ничего слышать, я рвался в магазин, чтобы обменять на стихи сразу всю нашу валюту.

– Советское издание Мандельштама, – кричал я, отбиваясь от державших меня жены и брата, – ключ к кладу, эмигрантское – сам клад.

А ведь тогда я еще не понимал Мандельштама, пользуясь его стихами как примером и оправданием:

Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло.
Поедем в Царское Село

Мандельштам был именем поэзии, недоступной и многообещающей, как вера. И если супермаркет привиделся мне «Камасутрой», то три тома Мандельштама в порыжевших бумажных переплетах казались Торой, хранящей закон для всех, кто проникнет в каббалу откровения.

И все же близким удалось меня скрутить и увести от

магазина с пустыми руками, обещав в награду поход в музей, ради которого, честно говоря, все это и было затеяно.

Я, конечно, не хочу сказать, что покинул пенаты ради *Kunsthistorisches Museum*, но хранящиеся в нем десять картин Брейгеля составляли десяток решающих аргументов в пользу эмиграции.

4.

В определенном смысле наше поколение – наиболее причудливое с эпохи неолита. Уверен, что лишь в сознании моих сверстников Вивальди рифмовался с «Солнцедаром», а Брейгель – если не с Солженицыным, то уж точно с Тарковским. С тех пор, как мы увидели в его «Солярисе» картину «Охотники на снегу», она стали символом неизвестно чего и паролем неизвестно к чему.

Это и не удивительно. Распечатанный символ теряет глубину и становится аллегорией, а расшифрованный, уже не запирающий вход пароль и вовсе перестает быть собой. Фокус нашей жизни заключался в том, что она отличалась от другой – горней и идеальной. Ослепляющая, как солнце, она позволяла о себе судить по лучу, благородно дающему запертым в пещере представление о самом светиле. Без всякого Платона нам было ясно, что мы прикованы спиной к свету. О его источнике мы судили по теням на стене, но их производил не Голливуд, как легко подумать, а другие – не стреляющие – посланцы высшей реальности. Цветная и интересная, она не походила на пыльный платоновский склад, заставленный «стольностью» и «стульностью».

– Правду, – скажу я сегодня, разочаровавшись в ней, – можно открыть лишь тем, от кого её скрывают.

Но там и тогда я верил в благую весть, которую несли нам редкие солнечные зайчики культуры. Например – Брейгель.

– Поскольку, – оправдывался я, – в советских музеях не было его картин, мне не остается ничего другого, как отправиться к художнику в Вену.

Разукрашенное, как пирожное, здание музея казалась безвкусным, ибо не соответствовало принципам молодежного дизайна из журнала «Польша». Укорив архитектора, мы решительно пропустили Рубенса с Тицианом, чтобы не отвлекаться на знакомых по Эрмитажу, и вошли в зал Брейгеля. Усевшись напротив «Охотников», я стал ждать, когда окажусь, как мечтал все эти годы, по ту сторону стекла, защищающего его

реальность от нашей. В каждую картину можно войти, следуя за художником, оставляющим лазейку зрителю. Но эта картина – вогнутая: она не зовет, а втягивает. Воспользовавшись этим, я забрался в левый угол и пристроился за псами, глядя в спину ничего не заметившим охотникам. С холма открывался вид на мир, и он мне нравился. Необъятный и доступный, он вмещал гармонию, обещал счастье и разрешал себя окинуть одним взглядом. Снег украшал крыши, лед служил катком, костер грел, очаг обещал ужин, альпийские скалы очерчивали границу, за которой начиналась еще более прекрасная Италия. Чувствуя, что охотники возвращаются «усталыми, но довольными», как пионеры в моем букваре, я порадовался за нас с ними.

– Искусство, – вынес я вердикт, – учит всюду быть дома.

– Поэтому мы его покинули, – хмыкнула жена, и мы отправились в буфет, чтобы съесть пирожное «Брейгель» и сходить, ни в чем себе не отказывая, в сортир, но музейный туалет оказался бесплатным.

На следующий день нас отправили в Рим в одном на всех эмигрантов вагоне. В тамбуре дежурили солдаты с автоматами.

– Кого, – не без тревоги спросил я, – они охраняют?

– Евреев.

– Чтобы не сбежали?

– Чтоб доехали. Про террористов слыхали?

Я беззаботно пожал плечами, не веря в палестинцев, считавшихся вымыслом советской агитации.

К ночи поезд вскарабкался в горы, и в окно ввалились белые, как у Брейгеля, скалы. Как только поезд пересек Доломитовые Альпы, в купе заметно потеплело.

Рим,
или
От себя не убежишь

Сперва я их даже не узнал. Оба в шортах, солнечные очки на пол-лица.

– *Buon giorno!* – закричал отец.

– Славу богу, – перевела мать, – доехали.

Для начала нас познакомили с проворным мальчишкой, сыном хозяйки римского пансиона.

– На Западе, – с высоты своего заграничного опыта длиной в месяц объяснил отец, – главное – знакомства, по-вашему – блат.

Когда мы выгрузили 17 чемоданов и тетю Сарру, пришлось решать, где жить в ожидании Америки.

– Лучше бы с фашистами, – вздохнул отец, – а не как раньше, с коммунистами.

– Ты же всегда говорил, – удивился я, – что они друг друга стоят.

– Не в Италии. Помнишь Чиполлино? Левые живут в хижинах, правые – во дворцах.

Однако размер выделенного нам пособия не оставлял выбора, и мы, как все, отправились к марксистам в Остию. Мне до сих пор не понятно, почему Третью волну вынесло на этот морской курорт. Так или иначе, тем жарким летом любимая дача римлян впустила шумную толпу, с которой я смертельно боялся смешаться. Чем не отличался от всех остальных.

– Попав за границу, – заметил много лет спустя Миша Эпштейн, – только русские переходят на другую сторону улицы, заслышав родную речь.

– Еще бы, – согласился я, – мы себя знаем.

Тогда я еще не знал и удивлялся, как неприятны люди, отобранные по одному признаку – евреи, филателисты, болельщики. В Остии нас объединяли советский опыт и туманные американские перспективы, общие для всех, кроме летнего приятеля отца и зимнего друга нашего дома дяди Жоры. Боясь, что его не впустят в Штаты из-за серьезного партийного стажа, он стал сионистом, но начал издалека и попросился в Австралию. Другие ждали американской визы у моря, собираясь возле овальной будки пригородной почты, ставшей эпицентром молодых эмигрантских будней. Здесь снимали и сдавали квартиры, обменивались точными, но непроверенными сведениями, флиртовали с местной молодежью, торговали

консервами «Завтрак туриста» и зубной пастой «Зорька», собирали экскурсии и связывались с родиной с помощью международного телефона. Чем дороже стоил звонок, тем громче кричали в трубку.

Из-за наплыва иноземцев одичавшие от интервенции почтовые служащие пребывали в состоянии перманентного отчаяния.

– По буквам, для идиотов, – объясняла в окошечко напористая бабка, – Ке-ше-нев.

– Простейших слов не понимают, – сочувствовала другая.

– О, соле мио, – пела в лицо клерку третья, надеясь растопить лед.

Сам я переходил на русский, исчерпав невеликий запас университетской латыни: *«Puer, pueri, puero»*.

Но вскоре наши достаточно изучили итальянский, чтобы торговаться на базаре, и со дворов коммунальных вилл потянулся запах обожженных баклажанов, которые одесситы называли синенькими. Моя жизнь тоже налаживалась: пинии делились тенью, Тирренское море было теплее Балтийского, вино обходилось дешевле минералки, и мы не пили её из экономии. Просыпаясь после сиесты в беседке, обвитой созревающим виноградом, я притворялся Нероном, и, когда спадала жара, меня тоже тянуло к приключениям. Главным из них, конечно, был Рим.

2

Дорога в Рим казалась списанной из «Итальянских сказок». Как и у Горького, она требовала от пассажиров пролетарской солидарности, когда начинались забастовки. В Риме они были непредсказуемы, как в Риге – дожди, и относились к ним так же беззаботно. Внезапно электричка останавливалась на полпути, и пассажиры неторопливо пересаживались в автобусы. Все опаздывали, но никто не роптал, зная, что все дороги ведут в Рим. Пользуясь этим, я по старой памяти путешествовал автостопом. Как и дома, меня обычно подбирали грузовики.

– *O, Russo!* – радовался шофер, – *Comunista?*

– Где мне, – отнекивался я на пальцах, но он принимал мой жест за скромность и угощал слишком изысканным для придорожной забегаловки коктейлем – молоко с «Амаретто». За стойкой мы вели бурный спор, обходясь за неимением общего языка именами собственными.

– *Stalingrad!* – кричал шофер.

– Сталин, – возражал я.

– *Gagarin!* – не унимался итальянец.

– Брежнев, – отбивался я.

– *Vietnam?* – спрашивал он.

– Прага! – крыл я козырем.

– *Belle ragazze*, – сдавался собеседник.

– Да уж, – соглашался я на «красных девиц», и шофер заказывал по второму стакану.

Так или иначе, мне всегда удавалась добраться до Пирамиды Цестия. Конечная остановка пригородного сообщения, она и впрямь была пирамидой и приютом для сотни ленивых кошек. Здесь стартовал заветный маршрут, от которого у меня подгибались колени. Вооруженный мечтой и Плутархом, я бросался к прошлому, но отвлекался на настоящее. Глотая слюну, обходил прилавки с экзотическими скибками кокосов. Заглядывался на римлянок в узких юбках, спорхнувших на мотороллеры из «Сладкой жизни». Прямо на тротуарах сомалийские негры продавали коврики с гуриями, медную утварь и золоченые энциклопедии. Всюду ели макароны не по-флотски. Лилось вино, били знаменитые фонтаны, ржали кони, и пухлые легионеры в крашеных латах позировали возле бесспорного, но несуразно громадного Колизея.

Рим был намного больше и лучше меня. Он грозил обратить мою куцую биографию в занудный том путевых заметок. Боясь обменять свою историю на чужую географию, я соглашался на роль паломника, страшась участи туриста. Но и с ней у меня не очень получалось. Ставя галочки и отсылая хвастливые открытки, я будил в себе бледный восторг, не дождавшись настоящего вожделения. Всё стояло на своих местах и казалось картонным. Хотя с занудным прилежанием отличника я осматривал город до мушек в глазах, он не складывался в Рим. Лишь однажды я почувствовал укол истины, когда в сумерках выбрался за ворота и пошел по дороге, уворачиваясь, как человек женатый и трусоватый, от гетер, охотившихся на водителей рефрижераторов. В свете фар я прочел на мраморной табличке *«Via Appia»* и охмелел от названия. Никогда не менявшееся, в отличие от ветреной улицы Ленина, оно заземлило мои неопытные странствия и предлагало урок.

– Чтобы означающее, – пересказывал я его сам себе на привычном языке Лотмана, – слилось с означаемым, надо забыть все, что знал, и узнать заново – на своих, а не заемных условиях.

Не умея отличить собственные впечатления от вычитанных, я оставил и Рим, и мир на потом, капитулировав перед соблазном, оказавшимся просто физически непреодолимым.

3

В Гоголевской библиотеке соотечественников собиралось не меньше, чем у почты в Остии. Возможно, это были те же люди; да и книги, стоя за ними в очереди, мы брали одинаковые: Солженицына. Но за ним открывался целый город запретного, и я осваивал его по улице зараз: Бердяев стоил Форума, Набоков – Ватикана. Я понимал, что вновь запираюсь в книжном гетто, но не мог с собой справиться, ибо был счастлив за его бумажными стенами.

– Стоило уезжать, чтобы опять уткнуться в книги, – попрекал меня внутренний голос.

– Стоило, – мычал я, отрываясь от желтых страниц ветхих эмигрантских изданий, чтобы добраться до библиотеки имени Гоголя, которого с каждым визитом я понимал все лучше.

Гоголь не хотел стать итальянцем, он хотел быть с ними. Предпочитая жить за границей, русские писатели не собирались приспосабливаться к ней. Наполненные собой и своей родиной, они любили и ненавидели её на расстоянии еще больше. Лелея ностальгию, классики упорно подкармливали её разлукой и смягчали русским словом. В их книгах иностранцы служили стаффажем, вроде мишек на картине Шишкина. Иностранцы оживляли окрестности, вносили меру, указывали на масштаб и, ничего ни в чем не понимая, как те же медведи, не играли никакой роли.

– За рубежом, – пришел я к выводу, начитавшись эмигрантов, – русская литература вела себя как дома и говорила на иностранных языках реже героев Льва Толстого.

Меня это устраивало. Более того, радовало. Восток протискивался на Запад, создавая на его территории плацдармы русских издательств, журналов и газет. Осев в гоголевской библиотеке, они слепили мир таким, каким я всегда хотел, – чужим и русским. Еще не осознав фатальности выбора, я признал его своим и неосторожно поделился этим с соседом. В Черновцах он работал дантистом, причем круглые сутки: днем лечил зубы, ночью полировал их. Золотые протезы составляли основной источник доходов, пока об этом не узнали в ОБХСС. Брезгливо выслушав мой план жизни, он откликнулся, не скрывая презрения.

– Гастарбайтер? Стоило уезжать.

Этот рефрен, то возбуждая решительность, то гася сомнения, сопровождал все эмигрантские разговоры. Перестав принадлежать властям, судьба каждого оказалась результатом рокового решения, которое предстояло оправдывать до конца

дней. Дома мы жили, потому что родились, на Западе – потому что уехали.

– Зачем? – спрашивали нас друзья, враги и посторонние.

– За свободой, – отвечали мы, трактуя её как осознанную необходимость Гегеля или экзистенциальный каприз Сартра.

На самом деле одни бежали из отечества от ужаса, другие надеялись ему насолить, третьи ссылались на детей, и все мечтали жить где лучше. Одному мне страстно хотелось делать за границей то, что я делал бы дома. В моем, отдающем шизофренией случае, это значило писать о русской словесности – даже не её, а о ней. Среди эмигрантских стихов и прозы я не находил того, без чего литература не бывает полной: читателя, понимающего, что ему хотят сказать авторы – не лучше, и не хуже их, а по-другому.

– Каждый писатель, – нашел я у только что открывшегося мне Набокова, – создает себе своего идеального читателя.

Когда я окончательно решил таким читателем стать, приехали Вайли.

4.

На правах старожила я показывал им Рим. Мы выпили на каждом из семи холмов. Райка свалилась в фонтан Треви. Я поделился полным Буниным и новым Зиновьевым. Мы обнаружили такое дешевое бренди, что купив три бутылки, получали четвертую даром. А потом, остыв от встречи, взялись за старое. Радикально сменился строй и ландшафт, но по-прежнему оставался нерешенным генеральный вопрос: что делать.

Выслушав и приняв проект тотального преобразования литературного процесса по субъективному вкусу или произволу, Вайль все разложил по полочкам:

– Литература, – рассуждал он, – бывает советской, антисоветской и литературной.

Взявшись за последнюю, мы решили описать такую альтернативу, которая никому не служит, ничего не требует и бредет средним путем, не прекращая улыбаться и подмигивать.

– Вольная словесность, – решили мы, – отличается от невольной тем, что первая не замечает второй.

Оглядывая с этой точки зрения словесную ниву, мы радовались тому, что она еще не сжата. Нас ждали и Веничка Ерофеев, и Абрам Терц, и Саша Соколов, и едва появившийся на журнальном горизонте Довлатов, и персональный патрон нашего дуэта Валерий Попов. Вырвавшись на свободу, мы с энтузиазмом

злоупотребляли ею, распоряжаясь книгами современников с тем легкомыслием, на которое они нас подбивали.

Чтобы проверить, не опередил ли нас кто, мы изучили историю вопроса и не обнаружили ее. Единственным опытом такого рода оказалась книга автора, жившего на том же сапоге и преподававшего новую словесность в университете города Перуджа.

Одного названия хватило, чтобы пуститься в путь. Собрав котомки с тушенкой, сервелатом и газетной вырезкой с первым совместным опусом из рижской «Молодежки», мы вышли до зари на трассу с грузовиками.

– *Russo*, – привычно радовались дальнобойщики с левыми взглядами и передавали нас с рук на руки, пока мы не оказались у цели. Профессора, однако, не оказалось на месте. Он читал одну лекцию в месяц, и мы на нее не попали. Пришлось оставить подробное письмо с вопросом о том, как лучше приступить к делу жизни.

– Приступать категорически не рекомендую, – написал профессор в ответной открытке, – Что вы будете есть?

Этот вопрос нам не приходил в голову, но мы быстро нашли решение. Петя хотел продолжить карьеру окномоя, я – вновь стать пожарным. (Мы, конечно, не знали, что обе профессии в Америке считались привилегированными и были доступны только членам профсоюза, где нас не ждали).

Разобравшись с будущим, мы стали прощаться с настоящим. Римские каникулы кончались, и напоследок мы отправились на экскурсию туда, где все началось. По дороге к Капитолийскому холму нам встретились измученные достопримечательностями ивановские ткачихи. Пересекшись на полпути, две группы замерли, услышав родной язык в римском сердце чужбины.

Первым пришел в себя руководитель делегации с носовым платком, ловко завязанным на макушке.

– Да вы ж изменники, – взвизгнул он, ошеломленный догадкой, – родину продали.

– И не зря! – нашелся мой сосед-дантист, потрясая золоченной цепью, которую он выменял на расписные рушники в гуще римской барахолки «Американо».

Две экскурсии расстались, оставшись при своих: никто не знал, ни сколько стоит родина, ни кому её можно продать.

Я сорок лет жду ответа, но теперь мне есть, чем торговать. «Новая газета» одарила меня квадратным метром родной земли в географическом центре отечества, расположенном неподалеку от тунгусского метеорита, знавшего, куда падать. Купчая висит у меня над столом, но я по-прежнему не готов продать родину, так

как верю, что она еще пригодится.

Бродвей, *или* КВН

За ночь до перелета в Америку она мне приснилась. Титановые стены, алюминиевые купола, платиновые колонны: «Туманность Андромеды» в интерпретации студии Довженко.

Хотя и мое, и предыдущее поколения грезили об Америке, я совсем не мог себе ее представить. Книги не слишком помогали. Ведь Хемингуэй, как Тургенев, предпочитал Париж, а Фолкнер, как Искандер, писал о Юге. Из американских художников я хорошо знал одного Рокуэлла Кента, но он рисовал Гренландию. Американское кино мне просто не нравилось. Гордясь экстравагантным вкусом, я не мог найти больших различий между Голливудом и той же студией Довженко, которая ведь тоже иногда снимала великолепное кино, если за него брался Параджанов. В американских фильмах меня раздражало то же, что и в советских: предсказуемость, неизбежная победа добра над злом и вымысла над реальностью. О последней я, естественно, ничего не знал, но в ту, что показывали, твердо не верил. Голливуд, казалось мне, сразу лакировал действительность и разоблачал её, особенно в картинах с социальным контекстом и бунтарским подтекстом, которые чаще других пробирались на отечественные экраны. С телевизором было еще хуже. Из заокеанских репортажей мы вынесли только то, что безработные ходят в нейлоновых сорочках, которые стоили 25 рублей, продавались по блату и котировались на уровне водолазок, называемых в Риге битловками.

Беззащитный перед американской мечтой, я твердо знал лишь то, что лечу в страну будущего. Оно манило меня с тех пор, как я вычитал в сталинской фантастике про анабиоз, позволяющий проспать век, чтобы сразу оказаться в коммунизме. Когда мне исполнилось семь, Хрущев сократил этот срок до 20 лет. Теперь мне предстояло увидеть, что он имел в виду. Страна была другой, но будущее, тайно надеялся я, – то же. Боясь его прозевать, я всю ночь не спал, вглядываясь в иллюминатор «Боинга». Не я один, судя по тому, что салон взорвался овацией, когда самолет приземлился в аэропорту Кеннеди.

За его пределами стояла осень. Поздний октябрь не красил город и не скрывал его убожества. Это была нелюбовь с первого взгляда. Обида залила душу доверху: меня привезли не в ту Америку. Пока автобус пробирался сквозь низкие пригороды, я

терпел и стал роптать, когда пошли многоэтажные дома с пожарными лестницами снаружи. Уродуя каждый и без того убогий фасад, они придавали целым кварталам подсобный вид, выворачивая улицу наизнанку.

Не имперская Вена, не вечный Рим, и, конечно, не старая Рига, Нью-Йорк выглядел захудалым и допотопным. Еще и потому, что в бродвейский отель «Грейстоун» нас привезли к ночи и задворками. В обклеенном мутными обоями номере узкая кровать прижалась к одинокому стулу и облезлой тумбочке. В углу стоял кукольный холодильник и электрическая плитка, позволявшие заняться домашним хозяйством. Окно выходило в спину кирпичному дому. Лампочка была тусклой, пахло химией, из стены торчало неработающее железное устройство неопределенного назначения.

– Газовый рожок! – внезапно осенило меня, и я наконец сообразил, в чем дело: со времен «Сестры Керри» тут ничего не изменилось.

Будто соглашаясь, на пятнистый ковер дерзко выбежал бурый таракан. Я не стал его давить – как первого американца, зашедшего в гости.

2

Утро началось с дилеммы: аптаун или даунтаун? Верх звучал лучше низа, и, выйдя из вестибюля на Бродвей, я уверенно повернул направо, не зная, что там начинается Гарлем. В те времена он считался дном и выглядел соответствующе. За 96-й начинались трущобы. Выбитые окна заслоняла фанера, целые защищали решетки. Белых не было вовсе, черные говорили мне «Wellcome». От смятения я решил закурить и обнаружил, что оставил в номере спички. Это означало, что пора говорить по-английски.

Я готовился к этому моменту, сколько себя помню. В школе меня мучили, заставляя не только читать, но и пересказывать «Moscow News». Однако статьи о передовиках, написанные на советском английском, не поддавались переводу, и я не поднимался выше тройки. Зато дома со мной занимался языком отец по оксфордскому учебнику, предназначенному для колониальных народов. Изо дня в день я следил за жизнью Тома и Мэри, помогая им вставлять в беседу пропущенные слова, чаще всего – глаголы. Теперь настал момент истины и я, собрав в кулак волю и грамматику, обратился к хозяину табачного киоска:

– *Can I buy a box of matches?*

– *Nope*, – отрезал он, и я зашатался от ужаса.

Заметив мое отчаяние, продавец улыбнулся и протянул спички, объяснив, что в Америке они не продаются, а достаются даром.

Витиевато поблагодарив, я с наслаждением закурил, от чего хозяин опять посуровел. Чуть позже мне сказали, что по запаху «Прима» не отличается от марихуаны. Тем не менее, первый, после встречи с тараканом, контакт с Америкой завершился победой, и я вернулся к «Грейстоуну», чтобы попытать счастья в другом направлении.

Спускаться по Бродвею оказалось куда интереснее, чем подниматься. Улица все больше походила на бульвар, и дома росли с каждым блоком, пока я не дошел до «Ансонии». Доходный дом был размером с замок и походил на него. Снизу кованая ограда и внутренние дворы, сверху – бастионы. Окна прорезаны в метровых стенах, заглушавших Карузо и Шаляпина, которые когда-то жили здесь. «Ансония» ненадолго примирила меня с Нью-Йорком.

– Этот странный город обладает ветхим шармом купеческой роскоши, – смягчился я, – вроде ГУМа.

Но это не меняло дела: я по-прежнему не находил в Нью-Йорке ничего общего с Америкой. Другие, конечно, тоже, но по иным причинам. Мне не хватало будущего, для остальных его было слишком много.

Не дойдя до небоскребов, я свернул с Бродвея в парк, который оказался Центральным и необозримым.

– Эту часть города, – объяснил я себе – просто забыли построить.

Той осенью прямоугольная дыра в полсотни кварталов не обещала ни культуры, ни отдыха. Сырой ветер продувал аллеи насквозь, пальто у меня не было, знакомых – тоже. Я чувствовал себя чужим на празднике жизни, который все больше походил на будни.

Ориентируясь по солнцу, а не по манхэттенской топографии, я добрел до юго-восточного угла, где неожиданно встретил старого друга – пруд из повести Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Надо признаться, что я любил Холдена Колфилда больше всех американцев. У нас он считался своим в доску. Пользуясь ею, мы без труда перебирались через океан к пруду в Централ-парке, размышляя, улетали или не улетали на зиму тамошние утки. Я долго глядел, как они лениво плавают по не замерзшей пока воде, будто сами не знали, что им делать.

– Оставаться, – решил за них я, – и терпеливо ждать, когда настоящая Америка слипнется с вымышленной в одну страну, уж

такую, какая получится.

И тут меня окликнул Радзиевский.

3

В юности я болел КВНом и возглавлял все команды – от пионерского лагеря до филологического факультета. Самое успешное дитя оттепели, КВН пережил все геополитические катаклизмы, включая эмиграцию. Приспосабливаясь к любой широте, долготе и режиму, он вмещал изрядную часть отечественной смури и умел на все вопросы отвечать невпопад:

– Что такое брак по-итальянски?

– Макароны из кукурузы.

Не удивительно, что в юности моим героем был легендарный капитан рижской команды Юра Радзиевский, учившийся у моего отца и писавший у него диплом.

Вечером мы пришли к нему в гости. Сидя в двусветном зале, который он непонятно называл «лофтом», мы вежливо отнекивались от предложения купить такой же по соседству и по дешевке. За ужином Юра делился опытом выживания в Новом Свете:

– Америка – объяснял он, – тот же КВН. Чтобы попасть в ее клуб, надо быть веселым и находчивым.

Именно прежний опыт привел Радзиевского к успеху, когда, не видя других перспектив в Нью-Йорке, он решил заняться техническим переводом – с русского и на русский. Юра собрал нескольких единомышленников и стал искать заказы, пока не нашелся один – огромный, завидный, связанный с нефтью и рассчитанный на много месяцев хорошо оплачиваемой работы. Обходя конкурентов, Юра снизил цену настолько, что заинтересовал заказчика, но и вызвал его подозрение. В тот же день клиент захотел посмотреть на переводчиков в деле. С утра Радзиевский снял пустую контору на Пятой авеню, арендовал мебель, рассадил друзей и родственников за привезенные столы, оставив себе самый большой с табличкой «Президент». Он успел напечатать визитные карточки, в стакане стояли ручки с названием несуществующей фирмы. Липовые сотрудники не поднимали головы над грудами пустой бумаги. Сам Юра источал сдержанную уверенность. Убедившись, что все в порядке, клиент решил тут же завершить сделку, позвонив в свой офис. Он снял трубку в чехольчике с надписью «Radzievsky», но гудка не было. Даже в Нью-Йорке нельзя провести телефон за полдня. Попав впросак, Юра перевернул доску и объявил шах, оказавшийся

матом.

– Три часа назад, – сказал он, обводя руками фальшивый офис с остолбеневшими от ужаса подельниками, – ничего этого не было. Если я сумел организовать такую фальшивку, то неужели не справлюсь с вашим заказом?!

Контракт подписали, и скоро бизнес разросся, языки размножились, Юра стал ездить на Роллс-Ройсе. Но как только число сотрудников перевалило за дюжину, в дело вмешались власти.

– В штатное расписание всякой фирмы, достигшей такого размера, – сказал Юре федеральный чиновник, – обязательно должны быть включены представители ущемленных национальных меньшинств.

– Никаких проблем, – обрадовался Радзиевский, – тут другие не работают, все – из меньшинства, и именно что ущемленного: даже с арабского у нас переводят евреи.

Ему посоветовали не валять дурака, а взять негра, и Юра быстро нашел одного, пьющего, из университета Лумумбы.

– Я ж говорю, – завершил он эпопею, – Америка – КВН, и главное – не принимать её всерьез.

В отель я вернулся обнадеженным, задумывая втюрить простодушным американцам свою дипломную работу «Мениппея у Булгакова».

4.

Тем холодным октябрем 1977 года я вгрызался в Манхэттен, как червяк в яблоко, не догадываясь, что оно служит символом Нью-Йорку, в величие которого мне никак не верилось. Возможно, потому, что, словно Наполеон под Москвой, я напрасно ждал, когда мне вручат ключи от города. Без них мне приходилось самому подбирать к Нью-Йорку отмычку, и этот каждодневный труд еле оплачивался новыми впечатлениями.

Город все еще казался уродливым. К пожарным лестницам прибавились бочки с водой на крышах, стоящие там на случай пожара. Собственно, как профессионал борьбы с огнем я должен был радоваться муниципальной предусмотрительности, но не того я ждал от Нью-Йорка. Обветшалый город не мог разобраться ни с прошлым, ни с будущим. Застряв в унылом безвременье Драйзера, Нью-Йорк был не столько старым, сколько старомодным – как фотографии в альбоме чужой бабушки.

Не радовали даже небоскребы. Одни, как «Вулворт», отстали на три поколения и напоминали торт, другие – на два и

походили, как это случилось с «Крайслером», на торчащую авторучку со снятым колпачком, третьи представляли современность и не отличались друг от друга. Даже в центре на улицы выползали ржавые эстакады, на которые выскакивали поезда подземки. Устав ездить под землей, они вырывались на свежий воздух, прекращая грохотом беседу. Впрочем, говорить мне особенно было не с кем и я убеждал сам себя полюбить в этом городе хоть что-то, кроме музеев.

Лед тронулся, когда я обнаружил, что у Нью-Йорка есть карманы, в которых на средневековый манер устраивались гетто для ремесленников и чужеземцев. На 36-й улице торговали пуговицами. Цветочная 28-я казалась оранжереей. Бриллиантовая 47-я говорила на идиш. В Чайнатауне старики играли в ма-джонг и подпевали Пекинской опере. Расцвеченная, как елка, маленькая Италия притворялась «Крестным отцом» и пахла кофе. Нью-Йорк закоулков выглядел интересней и честней. Как я, он был иностранцем, только без комплексов. Нью-Йорк ведь не стремился стать американцем и равнодушно позволял каждому найти себе угол.

Мой был еще незанятым, пока я не прибился к своим на первой русской тусовке, по-местному – «party». Выпивали стоя, водку – безо льда, вино – из четырехлитровой бутыли, закуской считались орешки. Разговор шел о знакомом – книги, политика, козни начальства. Не умея вращаться с бокалом, я отошел к стене, где скучал человек со знакомой внешностью. Присмотревшись, я ахнул: Барышников.

– *Sveiki*, – сказал я по-латышски, надеясь, что звезда приветит земляка.

– Здрасте, – ответил Барышников без энтузиазма и, узнав новенького, спросил из вежливости, всего ли хватает.

– Еще бы, – похвастался я, – нам дают три доллара в день: сигареты, сосиска и сабвей в одну сторону.

– А у меня, – вздохнул Барышников о своем, – мосты обвалились и конюхам не плачено.

Бруклин, *или* В тамбуре

Каждый, кто знает цифры, не может заблудиться в Манхэттене. Бруклин – дело другое. Необъятный и тесный, он мне показался монотонным и безрадостным как густонаселенная пустыня. По любой улице можно было идти час, а можно – день, и ничего не менялось: кирпичные домики, лоскутные дворики, чахлые кусты и неплодовые деревья. Правда, где-то был океан.

– Сколько до него? – спросил я прохожего.

– Минут пятнадцать, – обнадежил он меня, но три часа спустя водой по-прежнему не пахло, и выбившись из сил, я понял, что Бруклин предназначен для машин, а не людей.

И все же именно Бруклин стал домом, так как здешняя община сдала нам с женой светлый подвал из трех комнат. Последняя – явно лишняя, потому что из мебели у нас был матрац и пришедшие из-за океана подписные издания. Девятитомник Герцена служил стулом, трехтомник Белинского – тумбочкой, оставшийся от книг ящик – столом. Телевизор мы подобрали на обочине. Отделанный красным деревом, он показывал только помехи, но украшал квартиру.

Соседи оказались радушными и евреями. Кроме меноры и мезузы, они надарили нам кучу бесполезных вещей, из которых меня особенно поразили заношенные до дыр галстуки. За каждым стояла усердная жизнь, проведенная в конторе.

– Лишь бы не это, – с ужасом подумал я, ибо не носил галстук с тех пор, как в пятом классе меня выгнали из пионеров за кривлянье на линейке.

В нашем районе на 14 кварталов приходилось 14 синагог, а также кошерный магазин, маленький банк, иешива, спортивный зал с бассейном-лягушатником и культурный центр, где отмечали все праздники, кроме Рождества. Многие никогда не выходили за пределы этого еврейского рая, и нам не советовали, намекая, что кругом – джунгли.

Я, естественно, не поверил и пошел осматривать асфальтовые окрестности. Улицы отличались только номерами, и, как в Гарлеме, я опять не встречал белых. Здесь, однако, мне не были рады. Я понял это, когда с балкона прямо под ноги свалилась корзина подожженного мусора.

Вернувшись к своим, я попытался освоиться, но это плохо получалось. Евреи мечтали поделиться лучшим – религией.

– Теперь, – говорили они, – когда вы сбежали от безбожной власти фараона Брежнева, вы можете без страха молиться, ходить в синагогу и справлять субботу с фаршированной рыбой.

Только она из всей заявленной программы вызывала энтузиазм, но до тех пор, пока не выяснилось, что в Бруклине фаршированная рыба не имеет ничего общего с той, которую готовила моя русская мама. Из вежливости мы сходили в гости, заглянули в синагогу, выкупались в бассейне и пришли на лекцию боевика Меира Кахане, уговаривавшего каждого еврея завести автомат и пугать им негров.

Пресытившись ортодоксами, я неожиданно прибился к сектантам, встретив на улице одноклассника, ставшего в Бруклине хасидом. Он предложил мне первую в Америке работу. Охотясь на новеньких, хасиды обращали русских евреев в свою затейливую веру прозелитскими брошюрами. Моя задача заключалась в том, чтобы их переводить с английского на русский, получая по семь долларов за страницу.

Моему восторгу не было конца. Сидя за купленной с рук пишущей машинкой, я узнавал много нового о хасидах, с каждой страницей нравившихся мне все больше. Я просто не мог не согласиться с их цадиками, утверждавшими бесспорное:

– Все шутки, – говорил равви Пинхас, – из рая, и даже насмешки – оттуда же, если они произносятся от чистого сердца.

Кроме того, хасиды лихо пили водку, особенно – в день рождения Любавического ребе, в котором они подозревали мессию.

Я с ним познакомился заочно, когда мне поручили редактировать написанную по-русски автобиографию Шнеерсона. Из нее я узнал, что ребе жил в Ленинграде, учился в Кораблестроительном институте, сидел в ГПУ, бежал в Европу, изучал математику в Сорбонне, спорил с Сартром и исповедовал ту версию религиозного экзистенциализма, которая позволяет говорить с Б-гом, даже тогда, когда кажется, что Он не отвечает.

Хуже, что с редактурой ничего не вышло. Когда я решился вычеркнуть лишнее, посчитав плеоназмом сочетание «еврейская синагога», мне велели не умничать, потому что мессии не ошибаются.

– Но тогда, – сдуру возразил я, – как же можно редактировать текст?

– Никак, – согласились со мной, и мне пришлось искать новую работу по ту сторону Бруклинского моста в большом, а не еврейском мире.

Нью-Йорк конца 1970-х достиг надира своей истории.

– Хуже, – объяснили старожилы, – не бывает: город обезображен, безработица – 17 %, инфляция не меньше, каждый седьмой живет на муниципальное пособие, да еще грабят на каждом углу.

Сокрушаясь для виду, я на все смотрел сквозь розовые очки. Расписанные граффити дома и заборы не могли еще больше изуродовать бескрылую архитектуру. С преступностью я не встречался, так как взять с меня было нечего. По той же причине мне не грозила инфляция, а с безработицей я справился с помощью знакомого эмигранта. Он позвал меня за компанию грузчиком в фирму «Сассун», продававшую самые модные в Америке джинсы. Их рекламный слоган, как тогда говорили на английском, а теперь на русском, знала вся страна: «Ooh-la-la Sasson». Будучи, как атаман Платов из «Левши», человеком семейным, я тоже не владею французским и до сих пор не знаю, что это значит. От других джинсов эти отличались наклейкой на заду, а из французского там были только владельцы – два алжирских еврея и их секретарша-любовница.

Готовясь к интервью с работодателем, я надел один из дырявых галстуков, но вряд ли он мне помог. Старший партнер Клод, которого младший называл Мордехаем, задал один вопрос:

– Писать умеешь?

– Только эссе, – заскромничал я.

– Я спрашиваю, буквы знаешь?

– Простите, – обиделся я, – если мне и не удалось закончить университет с красным дипломом, то лишь потому, что я за вольнодумие получил четверку по атеизму.

– *Overqualified*, – сказал он.

– Чересчур, – перевел я про себя и бросился убеждать Клода-Мордехая, что уже забыл, чему учился.

Работа оказалась не трудной, но чудовищной. В девять утра я отбивал карточку и открывал картонный ящик с джинсами, которые надо было разложить по оттенкам и размерам. В 9:15 я первый раз смотрел на часы. В 9:20 – во второй, потом – каждую минуту. Дотянув с неописуемыми мучениями до полудня, я отходил к окну, чтобы съесть принесенный из дома бутерброд в одиночестве, избегая коллег, живо напоминавших моих рижских пожарных. Дело в том, что русские грузчики обедали с водкой, американские – с марихуаной. Последние, впрочем, светились радушием. Накачанные и мечтательные, они, как я, не выносили монотонного труда и рвались к подвигам. Одни предлагали основать профсоюз грузчиков, другие хотели бороться с наркотиками, третьи – торговать ими.

После обеда я возвращался к джинсам, умоляя минутную стрелку поменяться местами с часовой, но ничего не получалось, и я постоянно бегал в туалет, к окну, питьевому фонтанчику и к большим часам в вестибюле, надеясь, что они идут быстрее моих. Но купленный за два доллара у приветливого негра «Ролекс» исправно показывал точное время, и это казалось мне невыносимым. Страшнее этих дней, скажу я сорок лет спустя, Америка ничего не смогла придумать.

– Свобода, – думал я с ужасом, раскладывая бесконечные джинсы, – обернулась тоской рабства.

Ужас заключался в том, что бежать дальше было некуда. Пособие кончилось, жена – беременна, и Булгаков, как с мениппеей, так и без нее, никому не нужен. От отчаяния я вступил в сделку с судьбой, пообещав ей ни на что не роптать, если она снимет с меня кандалы.

Клятва была принята к сведению, о чем я узнал следующим утром, когда попытался выбраться из нашего подвала, чтобы отправиться с утра на работу. Дверь не поддавалась, окно – тоже, телевизор не показывал даже помех, но телефон работал. Я вызвал брата, который пришел с одолженной лопатой и откопал в снегу проход с крыльца.

За ночь метель кончилась, Бруклин выглядел одним сугробом, и счастливые дети катались с него на пластмассовых тазиках, заменявших им санки. Не работал общественный транспорт, личный – тем более. Закрылись школы, банки, даже синагоги. Ходить было трудно, но мы протоптали дорожку к винному магазину, не уступившему стихии. Вернувшись в тепло, мы тянули бренди, наслаждаясь свободой, как евреи, сбежавшие из Египта на север. В тот тихий час я проник в глубинный смысл Исхода и узнал, чем он кончается. На следующий день меня выгнали с работы.

3

Между тем, из Рима прилетели Вайли. Чувствуя, что повторяюсь, я не могу не сказать, что мы выпили во всех пяти боро Нью-Йорка, не исключая Богом забытого Статен-Айленда, обошли (без жен) Гарлем и приоткрыли остальную Америку. Самым экзотическим в ней нам показался район массового присутствия соотечественников – Брайтон-Бич.

Эта прибрежная полоса Бруклина, заселенная тогда почти исключительно одесситами, манила многих и озадачивала других. Здесь все казалось знакомым и чужим, как в журнале

«Юный техник», который я купил во втором классе, не догадавшись, что он на болгарском. Главная улица сияла вывесками на почти родном языке. Над одним магазином горело неоном «Оптека». Здесь продавали градусники с гуманным Цельсием, а не истерическим Фаренгейтом. В кафе «Капуччино» подавали не капуччино, а пельмени с водкой из конспиративных чайников. В самом углу, у надземки, примостился «Магазин книг». Пляж моря располагался за прогулочной эстакадой. Под нею торговали ковриками с Аленушкой, харьковскими мясорубками и бюстгальтерами на четыре пуговицы.

Все наши экспедиции завершались в «Москве». Перед входом в этот ресторан-гастроном сторожил клиентов фотограф, предлагавший сняться с фанерными персонажами из мультфильма «Ну, погоди». Внутри под коллективным портретом «Черноморца», за накрытыми немаркой клеенкой столами сидели завсегдатаи, редко снимавшие ушанки. За ними присматривал плечистый хозяин Миша. Когда прекратили выпускать евреев, он сумел выкупить у Брежнева дочь-инженера. Уже на следующий день она тоже стояла за прилавком. Нас Миша полюбил за аппетит и лично жарил свои знаменитые котлеты. Выпив, мы легко находили с ним общий язык, но не понимали надпись на счете, где над причитающей с нас суммой стояла аббревиатура «СРБ». Оказалось – «С Рыжей Бородой». Так Миша обозначил Петю, приняв его за старшого. Вайль действительно был столь представительным и корпулентным, что на его фоне я казался худым. Вдвоем мы напоминали букву «Ю», а по одиночке никуда не ходили. На Брайтоне мы изучали местные нравы методом тотального погружения и не возвращались трезвыми.

Брайтон был первым островом русской (более или менее) свободы. Вырвавшись на нее, он жил, как хотел. Стремясь понять, что получается, когда нас выпускают на волю, мы смотрели на Брайтон морщась, но не отворачиваясь. Результатом стал первый американский очерк с вызывающим названием «Мы – с Брайтон-Бич». Журнал с ним вышел с портретом авторов на обложке. Наш опус цитировали, читали с эстрады и критиковали за то, что мы пресмыкались перед Брайтоном и издевались над ним, обнародовав безжалостные подробности эмигрантского быта. В сущности, мы всего лишь искали тот наименьший знаменатель, на который делилась Третья волна. Брайтон был ее дном – двойным, золотым, илистым. Отсюда, с крайнего востока Америки, до Старого Света было ближе, а до Нового – дальше всего. Брайтон-Бич служил тамбуром и казался аттракционом. Словно комната смеха, он преувеличивал наши заблуждения, делая их наглядными, забавными, незабываемыми.

Вскоре я перебрался в Манхэттен, бросив Бруклин на произвол его затейливой судьбы, а когда навестил свой первый американский дом много лет спустя, то на месте 14 синагог оказались 14 церквей – как будто в Бруклин вошли крестоносцы.

«Новое русское слово», *или* Спиритический сеанс

Новым в «Новом русском слове» были только мы с Вайлем. Старейшая русская газета, впервые вышедшая в свет в 1910-м – за два года до «Правды», считалась ковчегом эмиграции, оплотом свободы и последним бастионом белой гвардии. Достаточно сказать, что в ней печатался Бунин, а его секретарь с несклоняемой фамилией Седых редактировал газету.

Поднимаясь к нему по дряхлой лестнице четырехэтажного дома в центре Манхэттена, я повторял ударные стихи Цветаевой, надеясь ввернуть их в разговор. Кабинет оправдал мои ожидания: на стене висел портрет Бунина в багетной раме. Хозяин ей не уступал: золотые очки, золотые часы, золотые запонки. Я, правда, представлял себе редактора кряжистым стариком со шрамом от сабельного удара времен арьергардных боев врангелевской армии в Крыму, но и этому поклонился в пояс.

– Нам нужны сильные люди, – сказал работодатель, проницательно глядя мне в глаза.

– Еще бы! – подхватил я, – «Белая гвардия, путь твой высок: чёрному дулу – грудь и висок».

– Рама с версткой весит 40 паундов. Справишься?

– Без проблем! – воскликнул я, хотя имел смутные представления о верстке и никаких – о паундах. Кроме того, я согласен день и ночь писать статьи на благо освобожденной от большевиков России.

– А, – махнул рукой мой собеседник, – сочинять надо так, чтобы у комсомольцев стояло. Ну что ж, возьмем на пробу, если Седых утвердит.

– Яков Моисеевич, – крикнул он в коридор, и в кабинет вкатился лысый человек, чрезвычайно напоминавший Абажа из книги моего пионерского детства «Королевство кривых зеркал».

Исправляя ошибку, я ему тоже почитал Цветаеву.

– О, Марина, – вздохнул Седых, – она так бедствовала, что за двадцать франков вымыла бы любой сортир в Париже.

В типографии меня встретили настороженно, как всех выходцев из совдепии. Линотописты с белогвардейским прошлым вели патриархальный образ жизни. Они отмечали именины (а не дни рождения), православную (а не западную) Пасху и Старый (а не Новый) год, в канун которого редактору клали на стол первую полосу со стихами похабного содержания:

Е…а мать, не то, что мать е… а.
Е…а мать зовут и Агафона.

Седых делал вид, что хватается за сердце, хотя этот розыгрыш вел свое происхождение из дореволюционных газет. По ним тосковали наши виртуозы наборного дела. Они знали, где ставить «ять», но это уже ничего не могло изменить. Не отличая Сталина от Ленина, не говоря уже о Хрущеве и Брежневе, они всех их равно ненавидели и считали евреями.

О своих обязанностях я не знал ровно ничего и страшно удивился, когда мне торжественно вручили шило. Главный инструмент метранпажа, оно служило для того, чтобы выковыривать из металлической полосы отлитые на линотипе строчки, а также вставлять шпоны и шпации. Что это значит, теперь забыли даже те, кто знал.

Дело в том, что до появления на свет компьютеров каждый газетный лист состоял из отлитых на линотипах строк, туго зажатых в раму. Помазав краской шрифт, с полосы делали отпечаток для корректуры и офсета. Потом ее разбирали, чтобы пустить в переплавку. Метранпаж, читая металлическую газету, как в зеркале, собирал статьи, заголовки и рекламу в логически стройную страницу. Короче, я влип в производственный роман, и он мне понравился. Презирая в школе ручной труд и прогуливая его уроки, я ничего не научился делать руками без карандаша и боялся всех машин сложнее зонтика. Зато теперь я старательно учился этому сложному ремеслу. Не зря Ленин называл хорошо зарабатывавших типографских рабочих аристократами пролетариата и предателями своего класса. Приобщившись к высокой касте, я наслаждался физическими, как у пианиста, навыками. Развивая тактильную чувствительность, гладил ладонями зажатый могучими струбцинами печатный набор, чтобы определить, куда вставить горизонтальную пластинку-шпону или вертикальный клинышек – шпацию. Когда попадалась статья, требующая крупного декоративного заголовка, мне полагалось складывать его вручную, вытаскивая затейливо вырезанные буквы из наборных касс, в сущности, таких же, какими пользовался первопечатник Иван Федоров. Гордясь усвоенным, я не мог отмыть руки от въедливой краски даже тогда, когда типография сгорела. На суде выяснилось, что ее поджог мой предшественник, ровесник и тезка из-за неудовлетворенного авторского самолюбия: Седых его не печатал.

Пожар, как это с ним бывает, способствовал украшению газеты, принудив редакцию – первую в Нью-Йорке – к прогрессу.

Линотипы сдали в лом, на смену им пришли компьютеры, и сама профессия метранпажа вымерла как раз тогда, когда я ею овладел. Все, что у меня от нее осталось – обгоревшее шило.

2

Прижившись в «Новом русском слове», я, наконец, сумел поближе познакомиться с чужой страной – Россией. Её представляли люди прежнего времени, помнившие Гражданскую. Остальные войны были несчастьем, та – катастрофой, не меньше потопа. Но чаще они ссылались не на библейскую, а византийскую историю. Большевики у них считались вроде турок, мы – тоже.

– Утратив язык и память, – объяснил мне заведующий новостями Абрам Соломонович Геренрот, – новое население России к старому не имело никакого отношения, кроме географии: как Стамбул и Константинополь. Не сумев распорядиться великим наследством, победившие варвары ввели коней в храмы, Ленина – в Кремль и, прощаясь, принялись говорить друг другу «пока», за что убить мало.

Всю современную литературу старая эмиграция считала нечленораздельной, в первую очередь – Бродского. Отечественная словесность, верили они, испустила дух вместе с Буниным, портреты которого висели всюду, кроме кабинета Седых, где его заменяла забранная стеклом вырезка из стокгольмской газеты. Порыжевшая фотография запечатлела шведского короля, вручавшего Нобелевскую премию мрачному русскому джентльмену. Рядом стоял жовиальный Яков Моисеевич, уже тогда напоминавший Абажа, только молодого.

– Куда бы он без меня делся, – сказал Седых, – из иностранных слов Бунин знал только «мерси» и всю жизнь боялся ажанов.

Признав во мне смышленого и любознательного варвара, Яков Моисеевич при каждой встрече делился воспоминаниями.

По утрам я приносил ему план свежего выпуска. В нем не было ничего хитрого: газету исчерпывали четыре страницы. На первой шли новости, простосердечно украденные из «Нью-Йорк таймс» и переведенные на монастырский русский с английским акцентом. Военные самолеты назывались «бомбовозами», паром – «ферри», Техас – «Тексасом», политбюро – кремлевскими старцами. Вторую полосу закрывала критическая статья о советских безобразиях. Иногда она называлась «Как торгуем, так воруем», иногда – «Как воруем, так торгуем». Третья полоса

вмещала фельетон в старинном смысле, то есть, пространное эссе на необязательную тему, которое не читал никто, кроме линотипистов. Четвертая страница радовала кроссвордом, именуемым здесь «Крестословицей». Все остальное газетное пространство занимали объявления. На первой полосе шли извещения о смерти, на последней – реклама кладбищенских услуг.

В православные праздники из года в год печатались одни и те же материалы. Старенькие читатели, включая насельниц парагвайской богадельни, бесплатно получавшие прочитанные номера, за год все забывали и радовались умилительным пасхальным стихам и рождественским очеркам, как в первый раз.

По вторникам «НРС» запускало Большую Берту – статьи самого Андрея Седых. Эмигранты читали их вслух, пересказывая особо гневные абзацы соседям. Яков Моисеевич громил совдепию, разоблачал происки почты, поднимавшей расценки на рассылку газеты и давал советы очередному президенту. Мне у него нравились только некрологи. По-детски радуясь, что умер не он, Седых становился шаловливым. Таким же он был каждое утро, когда, предоставив мне компоновку очередного номера, устраивал получасовой спиритический сеанс.

– Любите Шерлока Холмса? – заводил он разговор.

– Кто ж не любит?!

– Как – кто, Конан-Дойль! Он мне часто жаловался, что из-за этого проклятого сыщика не ценят его исторические романы. А «Трое в одной лодке» знаете?

– Наизусть.

– Да, Джером превосходно читал свою прозу, мы с женой так смеялись.

– Приходилось видеть, как Жозефина Бейкер танцевала?

– Где мне.

– Много потеряли. Я у нее в Париже интервью брал, так она меня в номере встретила в одних туфлях с перьями.

Другим моим кумиром стал эсер Мартьянов, чей книжный магазин делил подвал с типографией. Организатор заговора, он всю жизнь гордился тем, что стрелял в Ленина, и убивался из-за того, что не попал. Каждую свободную минуту я рылся в его лавке древностей, забитой осевшими за полвека изгнания книжками. Среди них совсем не было знакомых. В одной я прочел, что на месте Атлантиды располагался континент Му, другая называлась «Гоголь в КГБ».

Мартьянов верил в мистику предопределения, считая, что все, кроме его судьбоносного промаха, происходит не случайно. В этом его убедил коллега-ассасин Борис Коверда, застреливший

организатора убийства царской семьи большевика Войкова. Отбывая 10-летний срок в польской тюрьме, Коверда черенком ложки нацарапал на штукатурке две фамилии, сверху – жертвы, снизу – свою. Потом разделил их вертикальной чертой – и стена возопила, как на пиру Валтасара:

ВОЙ КОВ
КОВ ЕРДА

3

Мы с Вайлем попали в «НРС» независимо друг от друга и по-разному: я – снизу, он – сверху. В газету Петю взяли за талант и внешность. Моя борода росла клином, его – лопатой. Поседев с годами, он выглядел Дедом Морозом или, как заметил режиссер Герман, честным русским дворником. В молодости, однако, Вайль больше напоминал дьяка. Поскольку в редакции он меньше других походил на еврея, Пете поручили хронику светской жизни. Он посещал и описывал благотворительные базары, пельмени донских институток, блины на широкую масленицу и другие православные посиделки. Вайль даже был на обеде в честь приобщения к лику святых блаженной Ксении Петербургской.

– Борщ подали холодным, – жаловался он, – говядину – сырой.

В остальное время Петя скучал так отчаянно, что, заснув за письменным столом, уронил голову на руки и чуть не выбил себе глаз, наткнувшись лицом на зажатую в кулаке шариковую ручку. Хотя он считался белым воротничком, а я ходил чумазым, Петя мне завидовал и часто спускался в типографию помогать и сплетничать.

Впрочем, мы и так почти не расставались, поселившись по соседству, на северной оконечности Манхэттена. Нас разделяли 15 минут ходьбы или одна остановка сабвея. По утрам мы встречались в третьем вагоне, доезжали до газеты и трижды обходили квартал, набираясь свежего воздуха, прежде чем погрузиться в затхлую атмосферу нашей старорежимной редакции.

– Это все равно, – жаловались мы, – что жить в музее восковых фигур, в который нас не звали.

Седых категорически не верил в разумную жизнь за Железным занавесом. Отчасти его можно было понять. Когда Вайль, желая помочь новой эмигрантской словесности, объявил в своей хронике о том, что в эзотерическом журнале «Гнозис»

печатается глава «Буптый брак» из романа «Калалацы», Якову Моисеевичу стало дурно.

Избегая перемен и уж точно не желая к нам приноравливаться, газета напоминала православный календарь, который тот же Мартьянов выпускал в своем книжном подвале. Даты в нем менялись, сведения – нет, что всех устраивало, обещая старикам вечную жизнь по эту, а не ту сторону смерти. Остановив колесо сансары, газета питалась архивными публикациями: крестный ход в Орловской губернии, вся правда о Ледяном походе, тайная любовь Деникина. Явление Третьей волны не входило в расчет, поэтому нам предлагалось учиться у Бунина и не лезть к старшим.

Поняв, что антисоветская газета нуждалась в нас не больше, чем советская, мы вновь взялись за свое. Каждый вечер, с трудом дождавшись конца тусклого трудового дня, мы отправлялись в закусочную «Бургер Кинг», брали из экономии один бутерброд на двоих и, периодически наполняя бумажные стопки для кетчупа тайком принесенным бренди, искали третий путь для ненавязанной словесности.

Наш диалог звучал абракадаброй для посторонних, но их не было, а себя мы понимали с полуслова.

– Полив Венички, – начинал один.

– Хронотоп Искандера, – подхватывал другой.

– А знамя – порожнеослепительный Набоков, – выпевалось хором.

С утра это казалось не таким очевидным, как вечером, и, чтобы придать нашей эстетике стройность и наглядность, мы изготовили писательскую колоду. В ней каждой масти соответствовало литературное направление, каждой карте – свой автор. Солженицын у нас считался тузом отведенных реализму бубен. Бродский тоже был тузом, но пик, которым в нашем раскладе соответствовал высокий модернизм. Трефа досталась питерским. Королем мы назначили Валерия Попова, дамой – Довлатова, и даже он не роптал, когда чуть позже мы этими картами играли с ним в подкидного дурака.

Разложив других по полочкам, себе мы нашли место у раздачи и принялись сочинять программную статью с занятым у Белинского названием «Литературные мечтания». Каждого из любимых авторов сопровождали графики, разъясняющие и запутывающие их поэтику. Аксенова изображала спираль, Владимова – пунктир, Сашу Соколова – концентрические круги от брошенного в воду камня, который никто не бросал. За это критики Первой волны обозвали нас «чертежниками», вдова Набокова услышала, как муж перевернулся в гробу от того самого

«порожнеослепительного», и только Седых отнесся снисходительно. Если Довлатова он величал «вертухаем», то нас с Вайлем почти дружески звал «двое с бутылкой».

Париж, *или* Пилигримы

Когда Седых узнал, что мы, отслужив в «Новом русском слове» полтора года, собираемся в первое европейское турне, он счел придуманный нами еще в Риге маршрут дилетантской глупостью:

– Что значит Бенилюкс?! – весело кричал на нас Яков Моисеевич, – Вселенная делится на две части: Париж и окрестности. Первая, разумеется, больше, так как Париж неисчерпаем.

Седых знал, что говорил, ибо прожил там свои лучшие – межвоенные – годы, говорил по-французски без акцента и всегда обедал с вином и дамой. Его жена, актриса Женни Грей (так она перевела на английский псевдоним мужа) умела готовить в будни ветчину, а в выходные – курицу. Но Седых никогда не роптал. Каждый обеденный перерыв он проводил в расположенном напротив редакции французском ресторанчике. Там он и состарился вместе с его хозяином. Яков Моисеевич помнил все, что ел и пил с ранней молодости. После Бунина он больше всего любил сыр – и французских королей, о которых написал несколько популярных книжек для эмигрантов. Сбежав от немцев, Седых оказался в той самой Касабланке, что стала названием знаменитого фильма. Якову Моисеевичу он не нравился, как, впрочем, и все кино, кроме Макса Линдера.

– В лагере для беженцев, – рассказывал Седых, – нас жутко кормили: два яйца в месяц. Поэтому, попав, наконец, в Нью-Йорк, я первым делом заказал яичницу. Повар сделал болтушку, но я-то мечтал о глазунье. Тогда он смёл готовое блюдо в мусорное ведро и приготовил другое. Убедившись в щедрости Америки, я решил в ней жить, а Париж навещать – так и во сне.

Париж, как и хранившийся в нем эталон метра, служил мерилом литературного успеха. Там цвела русская словесность, там шли газетные войны, там пели цыгане, там делили портфели, там называли Россию домом и рассчитывали вернуться к Рождеству.

Но для нас Париж, как это издавна водилось в Новом Свете, был американской мечтой. Богатые туда летали на уик-энд, бедные – в отпуск, молодые – в медовый месяц, старые – тоже. Мы ехали по любви и необходимости. Париж придавал смысл и вес эмиграции, он был её столицей.

2

Вкатив в Париж на арендованной машине, я не поверил глазам. Все оказалось на месте: и Сена, и Эйфелева башня, и Нотр-Дам. Если Нью-Йорк не оправдал моих ожиданий, то Париж исчерпал их, честно предложив сразу все, что было известно о нем каждому. Париж существовал, и это не могло не мешать. Как Ассоль, дождавшаяся алых парусов, я не знал, что делать дальше. От страха мне даже захотелось обратно – к трем мушкетерам, «Триумфальной арке», Хемингуэю, Эренбургу, Квазимодо.

Честно говоря, из всех парижских достопримечательностей нас больше всего интересовал Абрам Терц, но, оставив его на десерт, мы начали с Лувра и «Русской мысли». Бахчанян предложил этой газете рекламу к подписной кампании: мужик, везущий на телеге громадный мозг.

«Русская мысль» мало отличалась от «Нового русского слова» – разве что бумага лучше, евреев меньше, выходила реже. В редакции нас встретили как индейцев из дружественного племени и познакомили с сотрудниками. Интереснее других был критик Сергей Рафальский, напоминавший сердитого гнома. Редакция выделила ему парту в коридоре, где он сочинял ядовитые отзывы.

– Если автор этих стихов молод, – заканчивал он обычно рецензии, – он должен читать Пушкина и Некрасова, а если стар, то пусть пишет, как хочет.

Отдав дань вежливости Первой волне, мы направились к Третьей, решив с ней знакомиться по правилу буравчика: справа налево.

Русская мысль, о чем можно судить и по чертежу Бахчаняна, всегда делится на два полушария. Правое любит родину с востока, левое – с Запада. Оставшись без мозжечка, которым нам служила власть, вызывающая к себе объединяющую ненависть, эмиграция страдала шизофренией. Она пыталась сама себе объяснить, что её разделяет. Все мы бежали от одного, а прибежали к разному, сохранив в пути неприкосновенный запас ненависти и спортивной злости. Когда, стремясь устранить противоречия, старая эмиграция организовала публичный диспут с новой, то представители последней передрались между собой еще до начала спора. История распри вошла в анналы, и очевидцы еще много лет спустя с восторгом рассказывали, как Марамзин замахнулся на Синявского стулом.

Прежде, чем врезаться в склоку, мы с Вайлем решили оглядеть линию фронта, начиная, естественно с «Континента». Редакция почти официального органа нашей эмиграции

располагалась возле Пляс Этуаль. Редактор жил там же, но этажом ниже и смотрел из окна на Триумфальную арку.

Солженицын Парижа, Владимир Емельянович Максимов вершил судьбами свободной словесности и платил гонорары. На родине за «Континент» сажали, в диаспоре к нему относились по-разному. Изначально этот журнал задумывался очередным ковчегом, целый флот которых обременял тогда эмигрантскую прессу. Максимов обещал объединить всех, включая одиозного Лимонова, после того, как Бродский настоял на публикации лимоновских стихов.

Сам Лимонов появился в Париже несколько лет спустя, после того, как его выдавили из Нью-Йорка. Навестив его в аскетической каморке, мы увидали немного: на стене – портрет Дзержинского, на гвозде – фрак.

– На случай Нобелевской премии, – не дожидаясь вопроса, сказал Лимонов.

В беседе он не церемонился: Бродского называл бухгалтером, Аксенова – засохшей манной кашей, русских – опухшими от водки блондинами. Остановившись, чтобы перевести дух, Эдик из вежливости перевел разговор на Америку.

– Что ж мы все обо мне, да обо мне, – извинился он, – скажите лучше, что у вас говорят о Лимонове?

Максимов славился не меньшим азартом. Обвиняя Запад в покладистости, он написал преисполненную негодованием «Сагу о носорогах». Памфлет пользовался успехом, но почему-то автора путали с антигероем, и когда Бахчанян изобразил соперничавший с «Континентом» журнал Синявских «Синтаксис», то у него получилась дуэль фехтовальщика с носорогом.

В большой политике Максимов ставил на христианское возрождение, в частной жизни исповедовал смирение, в творческой – сочинял роман «Чаша ярости». Лучше всего его риторический жар выражала фигура умолчания.

– Лишь безмерное уважение к академику Сахарову, – писал он, – мешает мне назвать его наивным и бездумным простаком, играющим на руку кровавому КГБ.

Начавшись в редакции «Континента», наш визит продолжился в редакторских апартаментах. За столом Максимов, перестал кручиниться о русской судьбе, напоминал шукшинского персонажа и говорил так же.

– Как оолень жажду, – задорно окая, изображал он знакомого алкаша.

На прощание Максимов потребовал от нас вычеркнуть его из реалистов, к которым мы его опрометчиво причислили.

– Я честно отражаю в романах действительность, – объяснил

он, – но всегда имею еще что-то в виду.

Мы пообещали, не решаясь спорить. Эстетика вовсе не была, как нас учили в школе, лакмусовой бумажкой, позволяющей определить, к какому лагерю принадлежит тот или иной эмигрантский автор. Так, стойким бойцом «Континента» был дерзкий авангардист Владимир Марамзин, отсидевший свое за самиздатский пятитомник Бродского. Он не только писал дивную и смешную прозу, но еще и издавал вместе с бардом Хвостенко журнал «Эхо». Его программу лаконично изображал коллаж того же Бахчаняна: Венера Милосская погружается в мясорубку.

Подлизываясь к «Эху», мы пригласили его редактора в таверну с буйабесом. В ресторане Марамзин вел себя снисходительно:

– Как называется, – спросил он, усаживаясь за стол, – часть стены, отделяющая её от пола?

– Плинтус? – испуганно ответили мы.

– Раз слова знаете, пишите, – обрадовал он нас и перешел на французский, который во всей компании понимала только официантка.

Судя по именам собственным, Марамзин рассказывал ей о зверствах Андропова и коварстве Брежнева. Других посетителей не было, и она покорно слушала все два часа, пока длился обед. Расстались мы друзьями и навсегда.

С Некрасовым нам повезло больше. Он сам окликнул нас на бульваре, узнав по фотографии в «Русской мысли», и отвел в кафе «Куполь». Не веря счастью, мы ерзали на бархатных стульях, вспоминая, кто сидел за этим столом до нас.

– Потрепанный голубь мира, – представился Некрасов, – порхаю над схваткой по Европе.

Об этих странствиях он писал беспартийные и безалаберные «Записки зеваки». Читая их, я учился смотреть на мир, как он: не сравнивая, не завидуя, разинув рот.

Закончив с литературой, мы перешли к живописи, посетив двух парижских кумиров нонконформистского искусства: Шемякина и Целкова. Первый снимал апартаменты напротив Лувра.

– Живых, – с горечью сказал затянутый в черную кожу художник, – туда не вешают.

В просторной гостиной стоял одинокий стул с повязанной бантом гитарой.

– Его, – шепнул Шемякин, но мы уже и так догадались, что речь шла о Высоцком.

Шемякин жил в роскоши, Целков – в уюте, среди женщин. Пока они квасили капусту, мочили яблоки и варили варенье,

художник писал монстров – больших, маленьких и средних. Чтоб не путаться, он вычислял цену по дециметрам живописи. Несмотря на квадратно-гнездовой метод, его уродцы выходили живыми, и автор их побаивался.

– Недавно, – не без ужаса признался Целков, – они закрыли рты.

3

Больше всего Синявский любил сказки и жил в одной из них. Их старинный дом в большом запущенном саду располагался в пригороде Fontenay-aux-Roses, поставлявшем цветы ко двору Людовика XIV. Андрей Донатович, маленький, косоглазый, с седой бородой, в облаке дыма, встретил нас в темной и просторной библиотеке, до потолка заросшей рукописными книгами. Не хватало только реторты, но вскоре подали вино, и первая оторопь прошла.

Синявский категорически не соответствовал своей грозной славе. В нем не было ничего язвительного, даже острого. Лучась добродушием, он все делал с приставками – не смеялся, а посмеивался, не говорил, а приговаривал, не сидел, а присаживался, не пил, а выпивал, не ел, а закусывал, прикрывая (лагерная привычка, объяснил он) рот ладонью. Зато писателей он любил хулиганствующих – Бабеля, Маяковского, Веничку Ерофеева, а персонажей – фольклорных.

– В юности, – рассказывал Андрей Донатович за бокалом, – мы с Марьей странствовали на байдарке по русскому Северу. Помнится, был жаркий день, воздух неподвижный, истома, грести лень. И вдруг – быстрая рябь на воде. Он мгновенно проскользнул по протоке за изгиб, так и не дав себя рассмотреть.

– Кто? – ахнули мы.

– Как – кто? Водяной.

Сам Синявский больше напоминал лешего и от его имени надписывал книги (во всяком случае, подаренную мне). Марья Васильевна была ведьмой. Довлатов рассказывал про нее анекдот, уверяя, что она сама его придумала для устрашения.

Марья Васильевна покупает в магазине метлу.

– Вам завернуть, – спрашивает продавец, – или сразу полетите?

Друзья её боялись не меньше врагов, ибо она никого не щадила, не желая жить без скандалов. Умная и, мягко говоря, резкая, она умела делать все. Готовить (я и сейчас по её рецепту запекаю баранину с баклажанами), шить себе платья с

супрематическими аппликациями, печатать «Синтаксис» в типографии, расположенной в подвале их дома. Пока Синявский сидел, Марья Васильевна выучилась на ювелира.

– Когда мужа арестовали, я осталась нищей с ребенком на руках, – хвасталась она, – Когда Синявский вышел, я была чуть ли не самой богатой дамой в Москве.

Главным её шедевром был, конечно, Абрам Терц. Укутав его уютом, она держала мужа за письменным столом, пряча ботинки, чтобы тот не сбежал от дневного урока в алжирский кабачок за углом.

У них в гостях я умирал от стеснения и счастья. Синявский был моим богом с тех пор, как я услышал на рижском пляже отрывок из «Прогулок с Пушкиным» по радио Свобода. Она, свобода, меня и сразила. Оставив литературоведение евнухам словесности, Синявский, назвав себя Абрамом Терцем, шел от слова, веря, что мысль догонит. Сквозь текст поэта он рвался к его астральному телу, продленному в пространстве и времени до мордовских лагерей. Это была высокая, глубокая, легкая, необязательная, но безошибочная проза о поэзии. О другой я никогда и не мечтал.

Я никак не могу понять, как Синявские приняли нас, молодых и косматых, за своих. Но прибившись к ним, мы опять оказались в лагере оппозиции, никогда об этом не жалея. Париж поделился с нами лучшим из того, что мы оказались способны увидеть.

– Мы что улитки, – понял я намного позже, – путешествуем, не высовывая головы, и чтобы увидеть мир, нам недостаточно его посетить.

Таймс сквер, 1,
или
Новые американцы

«Новый американец» начался с визитных карточек, потому что придумавшему газету Боре Меттеру сказали, что главное в бизнесе – адрес.

– Location, location, location, – объяснил ему в лифте сосед-бизнесмен – запомни, поц, в Америке место красит человека.

Соседу нельзя было не верить. Он владел одной четвертью лавки, где продавались кабачковая икра, шпроты и «Новое русское слово». Мечтая составить ей конкуренцию и разрушить монополию на свободное слово, Меттер перечитывал Драйзера и готовился быть непреклонным, как «Финасист», «Титан» и «Стоик».

В прошлой жизни Боря был моряком загранплавания, что необычно для еврея, и родственником известного ленинградского писателя, что уже не так удивительно. Не чета всем нам, Меттер, прежде чем отправиться на историческую родину и найти её в Нью-Джерси, побывал и в других экзотических портах. Из его путевых воспоминаний мне больше всего нравилась история про судового замполита. Заблудившись в Гонконге, он опаздывая на корабль, нанял велорикшу. Боясь показаться сагибом, моряк не забрался в коляску, а усадил туда очумевшего возницу, который указывал крутящему педали замполиту дорогу к пристани.

Несмотря на морские рассказы, Меттер – единственный из своих сотрудников – не имел литературных амбиций. Он хотел издавать газету, а не писать в нее. Поверив соседу из лифта, Меттер выбрал самый престижный после Белого дома адрес в Америке и снял там офис. На визитке стояло Таймс сквер 1.

Отсюда поднималась неоновая часть Бродвея. За углом открывалась отданная тогда пороку, а теперь Диснею легендарная 42-ая стрит. Сам треугольный небоскреб умеренной высоты, но не амбиций, служил витриной капитализма. На фасаде мелькала реклама, призывающая купить пиво, автомобиль и вступить в армию. Бегущая строка цитировала биржевые индексы и делилась свежими новостями 1980-го года: Иран, Картер, заложники, нашедшаяся кошка. 31-го декабря с крыши спускался светящийся шар, отмечающий смену каждого года.

Считая эту достопримечательность большой, как все в Америке, афишной тумбой, я даже не знал, что она внутри полая, пока не попал в первую редакцию «Нового американца». Она

размещалась в чулане без окон. Довлатов в нее влезал только сидя. Теснота не мешала пить, курить и ссориться. Собственно, нас с Вайлем для того и пригласили, чтобы разрядить обстановку. Первые номера нового еженедельника не оправдали надежд, в чем обвиняли друг друга отцы-основатели.

– Вы же, – зазывали они нас, – беспринципные циники, без царя в голове, вам лишь бы хиханьки да хаханьки, и нашей газете без таких не обойтись.

– Какие есть, – согласились мы, – и пошли к Седых заявлять об уходе.

Весть об измене он принял панически. Из «Нового русского слова» никто не уходил – ни живым, ни по собственному желанию. Посерев от обиды, он взял себя в руки и попросил ему тоже подыскать место в редакции конкурентов.

Сменив с восторгом и не раздумывая постоянную службу на редко оплачиваемую работу, мы вырвались на волю и остались без денег. Их, впрочем, хватило, чтобы отметить шампанским первый вольный понедельник в пол-одиннадцатого утра. Разлив бутылку прямо на бродвейском тротуаре, мы чокнулись пластмассовыми стаканчиками за наконец обретенную в Америке свободу. Она отличалась от русского безделья тем, что сулила труд по любви без зарплаты. Эта целомудренная утопия пьянила больше шипучего, и мы весь день строили ослепительные планы на будущее – до тех пор, пока жены не вернулись с работы.

Изрядно забегая вперед, я должен с благодарностью признать тот понедельник краеугольным. С того дня я никогда не служил и всю жизнь делал, что люблю и как хотел, точнее – как мог. Мне повезло не изменить свободе, о которой говорил пышный девиз «Нового американца», напечатанный там, где в советских газетах пролетариев призывали объединяться.

– Мы выбрали свободу, – убеждал читателей придумавший это лозунг Довлатов, – и теперь наше счастье у нас в руках.

Чуть ниже размещалось самоопределение органа, где нам с Вайлем предстояло работать: «Еврейская газета на русском языке». Никто не знал, что это значит.

2

Первая газета Третьей волны оказалась в кризисе, едва успев выйти в свет. От «Нового русского слова» она отличалась только форматом, предпочитая остальным сюжетам все те же приключения кремлевских старцев. Чтобы избавиться от них чужими руками, нас вызвали из тыла врага и предложили любой

пост на выбор. Мы согласились на должность главного редактора – для Довлатова.

Сергей ломался до третьей рюмки, но согласившись, решительно взял бразды правления и отдал их нам, чтобы не вникать в детали. Себе, помимо колонки редактора, он отвел церемониальные функции: мирил и ссорил сотрудников, вел изнурительные переговоры со всеми и обо всем, а главное, представлял газету в сношениях с внешним миром, прежде всего – на Брайтон-Бич, где его безмерно уважали за виртуозное владение феней.

Момент истины наступал раз в неделю на планерке, когда Довлатов обозревал вышедший номер. Лукаво объявив себя – единственного недипломированного сотрудника в редакции – недостаточно компетентным, чтобы обсуждать содержание наших материалов, он судил лишь о стиле, но так, что у всех горели уши.

– Что ты, собственно говоря, имел в виду, – ласково спрашивал Сергей поэта, педагога и массажиста Гришу Рыскина, – когда написал «кровавая рука крайма душит Нью-Йорк, по которому слоняются бездомные в чесуче»?

Нам доставалось наравне с другими, особенно за статью «Простаки в мире секса».

– Смесь напора с лицемерием, – говорил Сергей, – как будто этот опус написали Портос с Арамисом.

Никто не смел обижаться, потому что в редакции царил азарт взаимного издевательства, который мы же и насаждали. У нас не было ничего святого, и больше всего мы боялись того, что Аксенов (пиковый король в нашей колоде) называл «звериной серьезностью». Перегибая палку, мы считали смех всему мерой, еще не зная, что шутки могут стать нервным тиком и обернуться стёбом. Сергей это предвидел. Он ненавидел профессиональных юмористов и боялся, что его к ним причислят.

– Ирония и жалость, как у Хемингуэя, – одергивал он нас без особого толку.

В принципе ему было все равно, о чем писали в «Новом американце», лишь бы чисто, ясно, уместно, с симпатией к окружающим и со скепсисом к себе. Отделавшись от антисоветского официоза, не менее предсказуемого, чем советский, не впав в панибратство, научившись избегать пафоса, сдержанно шутить и видеть в читателе равного, «Новый американец» расцвел на свободе. Выяснилось, что она скрывалась в стиле, добывалась в словаре и наряжалась простым синтаксисом. Раньше никому не приходило в голову, что устный язык может стать письменным без мата.

По-моему, Довлатов, заново открывший «средний штиль» Ломоносова, и сам не заметил совершённой им революции. Сергей просто физически не выносил, когда пишут «пах» вместо «пахнул», а за «представлять из себя», мог, как я выяснил, преследовать неделями. Возделывая и пропалывая наш грамматический садик, Довлатов расчистил почву для всех. В «Новом американце» все стали взыскательными читателями других и настороженными писателями для себя. Боясь позора, мы, готовые отвечать за каждое лишнее, неточное или скучное слово, писали, озираясь, как в тылу врага.

Больше всех – по три полосы – сочинял Леша Орлов, влюбленный в баскетбол. К сожалению, им не интересовался, несмотря на двухметровый рост, Довлатов, и спортивные страницы считались рекламой, что не останавливало Лешу. Жилистый и тощий, он напоминал игрушечного зайчика из рекламы батареек «Дюрасел». Когда все выбивались из сил, Леша подрабатывал таксистом, писал про политику, соблазнял дам и заполнял случайные паузы, хлопая, как на стадионе, в ладоши: «Спар-так».

Кино занималась пара энтузиастов. Батчан был учен, Шарымова – старше и опытнее.

– Вы не можете меня к ней ревновать, – однажды сказал Довлатов, – потому, что мы встречались до вашего рождения.

Про жизнь писал все тот же многострадальный Рыскин. Знаток немецкой философии, поэт в душе и на деле, он трижды поступал на курсы программистов и возненавидел компьютеры, так и не научившись их включать. Гриша боялся нищеты, ел про запас, а на черный день купил два дома в трущобах – по доллару каждый. Когда выяснилось, что за недвижимость надо платить городу налоги, Рыскин с огромным трудом от нее избавился и наконец обрел достаток, став профессиональным массажистом. Работа открыла ему Америку в своеобразной перспективе, о чем Гриша сочинил интересную книжку. Я написал на нее хвалебную рецензию. Называлась она «Ниже пояса».

Самым симпатичным в редакции был художник Длугий. Ученик нонконформиста Немухина, рисовавшего игральные карты, Виталий из уважения к учителю ограничивал себя костями домино. Когда его пригласили на выставку в Латинскую Америку, мой брат, писавший, кстати сказать, в газету под псевдонимом «Тетя Сарра», посоветовал Длугому послать картины не самолетом, а телеграфом: дубль-два, пять-один, четыре-пусто.

Рядом с Довлатовым малогабаритный Виталька казался щенком и был таким же задиристым.

– Я – не Рембрандт, – говорил он в ответ на любые

претензии, – я – Длугий.

Это не помогло, и Сергей его чуть не задушил, когда в разгар борьбы за свободу профсоюза «Солидарность», Длугий раскрасил польский флаг зеленой и коричневой краской.

– Почему же это флаг у нас на обложке не красно-белый? – еще сдерживаясь спросил Сергей.

– Это – условные цвета, – заносчиво ответил Длугий, – настоящее искусство не унижается до копирования действительности.

Он не успел договорить, как мы с Петей повисли на Довлатове, зная о его отношении к авангарду.

К счастью, оба были отходчивы. Обложку переделали, и в знак примирения Сергей подарил Длугому свою книжку с автографом.

– Люблю тебя, Виталий, – вывел Довлатов, – от пейс до гениталий.

3

«Новый американец» удался: нас читали, любили, приглашали в гости, многие даже подписывались. Купаясь в счастье, мы жили в долг и впроголодь, ибо чем лучше шли дела, тем меньше оставалось денег. Решая парадокс, Сергей, который с первого дня трудился в газете даром, пришел к выводу, что нас может спасти профессиональный менеджер.

– В нашей газете, – объявил Довлатов на чрезвычайном общем собрании, – вдоволь журналистов, художников, критиков, поэтов и фотографов, но никто не умеет считать деньги.

– А что считать-то? – спросил Рыскин, но его зашикали.

– Мы – дети социализма, – сокрушался Сергей, – по-нашему лучше украсть, чем продать. Газете нужен настоящий хищник-эксплуататор, который сумел бы нажиться на наших талантах.

Каждый представлял его себе по-своему. Довлатов заранее благоговел, я – ненавидел.

Первый пришел в редакцию своим ходом. Полный, с пшеничными, как у модного тогда Леха Валенсы, усами, он, обладая опытом в крупном американском бизнесе и не нуждаясь в прибыли, согласился помочь исключительно из жалости.

– Я буду продавать перочинные ножи, и с каждого газета получит 5 % практически даром – за две полосы рекламы. Представляете, сколько в год набежит?

Мы не представляли, но боялись спросить, чтобы не показаться идиотами. Не выдержав затянувшегося молчания, я

сменил тему.

– Вы читали Джойса в оригинале?

– Ну а сам-то как думаешь? – сказал он, снисходительно улыбаясь.

Через неделю усатый бизнесмен исчез, и мы еще долго получали письма с просьбой вернуть деньги за оплаченные, но так и не доставленные ножики. Сергей всем вежливо отвечал, однако, и это не отучило его искать богатых.

Следующим менеджером был юный американец, только что закончивший престижный Дартмутский колледж по специальности «Макроэкономика».

– Говорят, он хорошо играет в футбол, – сказал порекомендовавший его профессор Лосев, – жаль, что не в наш.

Вникнув в ситуацию, юноша нашел решение:

– Как показывает экономический анализ, причина дефицита кроется в том, что ваши доходы меньше расходов, и это значит, что надо попросту сократить последние, – вывел он и перестал платить типографии.

Когда газета не вышла в срок, этот менеджер тоже исчез.

Третьего Боре Меттеру привел сосед, с которым он ездил в лифте. Тщедушный молодой человек в трениках сразу взял быка за рога.

– Я спасу газету, – пообещал он, – надо, чтобы Бунину было где печататься.

– Но Бунин умер, – сказали мы.

– Какое горе! – воскликнул менеджер.

Этот не успел навредить, потому что наш рекламный агент Миша Бланк спустил его с лестницы, узнав в нем дилера, продавшего ему автомобиль без мотора.

Довлатов, однако, не потерял веру в большой бизнес и на каждую планерку приводил новых воротил.

Один, с лишаем, велел нам писать с огоньком, другой требовал выгнать Бахчаняна, третий предлагал продать газету хасидам, четвертый – баптистам, пятый пообещал взять все расходы на себя и попросил жетон для метро на обратную дорогу. Самым обнадеживающим считался крупный, судя по приговору, биржевой маклер, но ему грозил долгий срок.

Все они смотрели на нас сверху вниз, видя, что мы готовы работать даром – как каторжники, боявшиеся, что у них отберут тачку.

«Новый американец», *или* Склоки

Когда газета отчаялась разбогатеть, мы согласились обеднеть и ввели мораторий на собственные зарплаты, приучившись обедать в гостях, в том числе – у моих родителей. Но и за накрытым столом редакция продолжала заседать.

– Чтобы расшевелить читателя, – говорил Довлатов, – газете нужна склока.

– Полемика? – переспросил я.

– Тоже годится, – одобрил Сергей, – но склока лучше.

В сущности, он был прав. Всякая газета сильна оппозицией, даже советская, в которой мы завистливо читали материалы из рубрики «Их нравы». Именно там задолго до опытов Комара и Меламида, писавших картины в соавторстве с животными, я прочел, что на американскую выставку абстрактного искусства попал холст, созданный одноглазым попугаем. Я запомнил это, потому что сочувствовал птице – у мамы тоже не было глаза, и она часто промахивалась, накрывая чайник крышкой.

– Автор заметки намекает, – решил я тогда, – что будь у птицы оба глаза, она рисовала бы, как Репин.

Нам тоже нужен был такой «попугай», и им стал Солженицын. Мы все, конечно, были его поклонниками. Собственно, своим «Архипелагом» Солженицын и затащил нас в Америку, убедив на своем примере в неисправимости отечества. Однако в Новом Свете он нас презирал и в упор не видел.

– Пока мы пируем на тучных полях Америки, – означало его молчание, – он, Солженицын, грызет горький хлеб изгнания.

Не удивительно, что снимок Солженицына в шортах, игравшего в теннис на своем корте в Вермонте, вызывал любопытство, граничащее со злорадством и порождающее его. Тем не менее, Солженицыным восхищались все, либеральная часть эмиграции – с оговорками, Бахчанян – без них.

– Всеми правдами и неправдами, – говорил он, – жить не по лжи.

Поэт и царь в одном лице, Солженицын заменял эмиграции Брежнева, тоже порождая анекдоты. Так, когда Бродскому дали Нобелевскую премию, Солженицын сдержанно одобрил Стокгольм, но посоветовал поэту следить за сокровенной чистотой русской речи.

– Чья бы корова мычала, – по утверждению молвы ответил

Бродский.

Скрывшись в Вермонте, Солженицын интриговал недоступностью. Единственный русский писатель, которого никто, кроме Бориса Парамонова, не видел, будоражил фантазию и провоцировал нашу газету на кощунственные публикации. Жалуясь на них, апологеты Солженицына писали нам с экивоками: «Милостивые господа, которые с усердием, достойным лучшего применения…»

Мы отбрехивались, полемика тлела, скандал разрастался, и на планерках цитировали Джерома: «Большие собаки дрались с большими собаками, маленькие – с маленькими, в промежутках кусая больших за ноги».

Довлатов от всего этого млел, и газета с наслаждением печатала поношения в свой адрес, вызывая восхищение терпимостью.

– Школа демократии, – говорили друзья.

– Либеральная клоака, – поправляли их враги.

– Главное, – лицемерно примирял всех Довлатов, – чтобы не было равнодушных.

Их действительно не было. «Новый американец» возмущал старую эмиграцию тем, что пользовался большевистским языком («сардельки – это маленькие сардинки?»). Евреи жаловались, что о них мало пишут, остальные – что много. И все укоряли нас непростительным легкомыслием, столь неуместным, когда родины (старая, новая и историческая) обливаются кровью.

– Как, как накормить Польшу?! – спрашивал Борю Меттера все тот же сосед в лифте, жаловавшийся на бесчувственность «Нового американца» до тех пор, пока на общем собрании Боре не запретили пользоваться лифтом.

Упоенные дерзостью и разгоряченные голодом, мы наслаждались свободой слова, не зная, как легко она становится еще не изобретенным тогда стёбом. Читателям нравилось следить за газетными склоками, в которые мы втягивали друг друга, публично выясняя отношения, в том числе – с Довлатовым.

– Считаешь ли ты разумным, – вкрадчиво спрашивали мы Сергея, – выслать иранских студентов из США в ответ на захват американских дипломатов в Тегеране?

– Конечно, но лучше посадить, – не задумываясь, говорил Довлатов, и мы печатали это в газете как доказательство дремучего правосознания ее главного редактора.

Довлатов отвечал тем же, и читатели, наблюдая из номера в номер, как мы валяем дурака, привыкали считать газету родной и нужной. Мы убедились в этом, когда «Новому американцу» исполнился год. Отмечая юбилей, редакция сняла в Бруклине

ангар, куда набилось больше тысячи поклонников. Выпивая и закусывая, они смотрели на сцену, где Довлатов проводил открытую планерку. Это было посильнее «Тома Сойера»: зрители платили не за то, чтобы красить забор, а за возможность наблюдать, как это делают другие.

Уникальный коммерческий успех этой акции привел к мысли заменить бумажную газету устной, упразднив расходы на типографию. Но к тому времени в газете скопилось слишком много писателей, которые не хотели менять профессию.

2

Понукаемой нуждой «Новый американец» давно оставил престижный склеп на Таймс-сквер и в поисках дешевизны пустился во все тяжкие. Наши скитания начались с безрадостной конторы на Модной авеню, где когда-то располагались пошивочные цехи, а теперь – в память о них – сидит бронзовый еврей за швейной машинкой. В редакции всегда горел свет, потому что солнце не проникало сквозь немытые со времен «Сестры Керри» окна. От переезда, однако, просторнее не стало. В редакции постоянно толпились чужие, подглядывавшие за тем, как от свальной любви и ревности зачинается и рождается газета. Мы никого не выгоняли, но когда приходили бизнесмены, Довлатов просил меня посидеть в сортире.

– Если корчить такие рожи, – жаловался он, – то о рекламе можно забыть.

Тем не менее, прав был я. Деловые люди не отличались от остальных. Они хотели инвестировать в газету не деньги, а талант. Иногда – стихи, часто прозу и всегда полезные советы. Легче от этого не становилось, и, не справившись с манхэттенской рентой, мы перебрались через Гудзон в Нью-Джерси, где нас приютили в своей типографии украинцы, издававшие большую, старую и серьезную газету «Свобода». Единственные, кто принял всерьез этническую принадлежность «Нового американца», они подарили каждому из нас по нарядному альбому, поздравив «з Новим роком» по еврейскому календарю. Редакция так и не научилась им пользоваться.

Американские украинцы не имели ничего общего с теми, кого мы знали раньше. Они совсем не говорили по-русски и имели смутные представления о советской действительности. Свой чудный ржаной хлеб они называли «колхозным», считая, что это значит «крестьянский». При этом, украинцы знали кремлевских вождей и ненавидели их не меньше нас. Это помогло моему

знакомому, управлявшему самодеятельностью города Харькова, найти себя в новой жизни. С местным фольклорным ансамблем он поставил антисоветский гопак «Запорожцы пишут письмо Андропову».

Нью-Йорк отвел украинцам восточную часть даунтауна, которую они делили с панками. Несмотря на боевые ирокезы, молодежь мирно ела борщ в «Веселке». Помимо ресторанов, на Ист-сайде находились церковь святого Юры, институт Шевченко и музей, который по-настоящему расцвел, когда догадался включить в число украинских художников всех кто навещал Крым, Одессу или Киев: и Малевича, и Шагала, и Архипенко, и весь остальной авангард.

Помимо искусства, меня привлекала украинская колбаса. Свернувшись, как пожарный шланг, плотным кольцом, она щедро пахла и обещала застолье. Готовясь к нему, я однажды погрузил в багажник колбасный круг вместе с караваем черного и бутылью вошедшего тогда в моду «Абсолюта». Когда, задержавшись дольше разумного в музее, я вышел на улицу, то обнаружил, что машину украли. У меня и сейчас сжимается сердце, когда я представляю, что сделали воры с колбасой. Не секрет, что простодушные (другие не воруют старые машины) американцы с подозрением относятся к чесноку и чужой кухне. Во всяком случае, когда месяц спустя машину вернули полицейские, в опустошенном багажнике валялась коробка из «Макдоналдса».

Союз с украинцами не спас газету. С провинциальной стороны Гудзона Манхэттен выглядел Китежем. Заходившее в Нью-Джерси солнце отражалось в стеклянных небоскребах и топило город в почти балтийском янтаре. Не сумев покорить Нью-Йорк с наскока, мы решили взять измором, если не его, то себя. Вайль перестал платить за квартиру, я стеснялся смотреть на работящую жену, Рыскин съел лимон, Меттер обедал сахаром из украденных в кафе пакетиков.

От нищеты начались настоящие склоки. Мы обвиняли менеджмент, того же Меттера, в бездействии, он нас – все в том же легкомыслии. Не в силах справиться с собой, Боря взялся за нас и приставил к Довлатову комиссара по серьезности. Им назначили солидного Поповского, которого в зависимости от его поведения мы звали то Марком, то Мраком Александровичем.

Поповский жил через дорогу от меня, и я часто заходил к нему за материалами.

– Мой отец, – в первую встречу сказал Марк Александрович, указывая на портрет бородатого мужчины, выглядевшего намного моложе самого Поповского.

– Не похож, – удивился я.

– Духовный отец, – пояснил он, – Александр Мень.

Как неофит Поповский любил христианство яростно и сумел развалить единственную действующую организацию Третьей волны – Союз ветеранов. К нам с Вайлем он относился, как к непородистым щенкам: снисходительно, но на Довлатова смотрел с удивлением, вслух поражаясь, когда Сергей упоминал Фолкнера или Кафку. Как раз этим мне Поповский нравился: он говорил, что думал, не всегда, а только начальству. Стремясь избавить газету от всего, за что ее любили читатели, Марк Александрович пытался нас урезонить и заменить узниками совести.

Планерки стали шумнее, закуска перевелась, крах был неминуем, но я был безусловно счастлив, ибо делал лишь то, что любил, и каждый день говорил о главном.

3

Книги у Довлатова не задерживались. Любимые, вроде Достоевского, «Хозяина и работника» и, конечно, Фолкнера, он знал наизусть, с другими легко расставался, наделяя нас с Вайлем то Львом Халифом, то Сашей Соколовым. Меня его отношение к литературе удивляло до икоты, точно так же, как его – мое, особенно, когда я проболтался про мениппею.

– О, понимаю, – обрадовался Сергей, – прохладный сумрак библиотек, зеленая лампа, пыльные фолианты.

Этот «прохладный сумрак» навсегда лишил меня уважения к литературоведческим глупостям, и я рьяно учился обходиться без них у Довлатова. Я слушал Сергея, страдая от внутреннего протеста, ибо, как каждый отличник филфака, благоговел перед словом «поэтика», мечтал открыть ее законы и применить их к какому-нибудь литературному телу.

К тому же мы были очень разными: я хотел знать все, Довлатов – все забыть, чтобы открыть заново. Не то, чтобы Сергей презирал эрудицию, он ее терпел, пережидая, как чужие запои. Твердо уверенный в том, что ничего полезного вычитать нельзя, он публично обещал заняться чужой философией, как только выработает свою. Пугаясь этого демонстративного невежества, я чувствовал довлатовскую правоту, но не смел разделить его взгляды. Возможно, потому, что пил меньше.

Отметая школы и направления, Сергей интересовался не сходством разных авторов, а их неповторимыми отличиями. В его пересказе каждый выходил курьезом словесности. В книгах он ценил не замысел и сюжет, а черту портрета и тон диалога, не путь к финалу, а момент истины, не красоту, а точность, не

вширь, не вглубь, а ненароком, по касательной, скрытно, как подножка, и непоправимо, как пощечина. Страдая от Лотмана и молодой запальчивости, я громко спорил и тихо мотал на ус, понимая, что правда там, где никто не был раньше.

Беседы с Довлатовым развивали не интеллект и не вкус, хотя и его тоже, а тактильное отношение к слову. Сергей ощупывал текст, замечая, где выпирает лишнее и зияет недостающее. Примерно то же я делал, когда работал метранпажем.

И все же, если исключить мениппею, Довлатов поощрял наши опыты. Принципиально отказываясь отделять художественную литературу от любой другой, он считал критику равноправной словесности, вынуждая и нас к тому же. Кроме того, Сергей требовал, чтобы мы издали книгу и не понимал, почему мы не торопимся. Сам он ждал слишком долго, чтобы откладывать это решающее событие в биографии автора.

– Писатель, – вещал Довлатов, – начинается со второй книги, ибо первую, даже хорошую, может написать всякий.

Когда Сергей нас убедил, мы, собрав и искромсав все написанное, принесли рукопись, чтобы ее набрала на домашнем компьютере жена Довалтова Лена. Чтобы передать ей книгу, мы с Сергеем встретились в «Макдоналдсе». Отмечая принесенным бренди окончание труда, мы засиделись допоздна и расстались, довольные друг другом. Только утром обнаружилось, что портфеля с рукописью нашей первой книги не оказалось ни у одного из трех участников застолья. Как в инциденте с колбасой, я огорчился за вора, обнаружившего в новеньком, специально купленном для этого случая портфеле-дипломате стопку бумаги, испачканной непонятными буквами.

Книгу пришлось составить заново, от чего она не стала хуже, чем могла бы быть, если учесть унылое, навязанное издательством название: «Современная русская проза».

Клойстерс,
или
Мне тридцать лет

Сильнее всего в Нью-Йорке меня раздражала его незрелость. Ни молодой, ни старый, он, как весь Новый Свет, казался обделенным историей. Конечно, потому, что я не удосужился её выучить. С высокомерием рижанина, выросшего в ганзейском городе, я не умел ценить того, что есть, и жался к тому, что было, поселившись на северном краю Манхэттена, неподалеку от древнейшей достопримечательности Нью-Йорка. Ею считается пень того тюльпанового дерева, где голландский негоциант купил этот остров сокровищ у проходящих мимо индейцев.

– Сегодня историки подозревают, – объяснил мне экскурсовод, – что индейцы действительно проходили *мимо* и, оказавшись на этом острове случайно и впервые, охотно обменяли чужую недвижимость на красные лоскуты и синий бисер голландцев.

Так или иначе, возле пня можно до сих пор найти наконечники индейских стрел. Ближе к моему дому, посреди громадного парка с первобытными валунами, цветником и бельведером высился монастырь Клойстерс. По возрасту он годился Нью-Йорку в прадеды. Привезенный по частям из Старого Света и составленный в Новом на деньги Рокефеллера, Клойстерс был музеем и предлагал мне то, по чему я тосковал и в России, и в Америке: Европу. Проскочив ее по пути на Запад, в Нью-Йорке я вновь ощущал знакомую ностальгию по чужому прошлому.

В Клойстерс оно копилось под сводчатым потолком искусной кладки. На гобеленах жил единорог. В саду росли те цветы, что были вытканы на шпалерах фламандскими ткачами. Весной у ограды цвели дряхлые яблони. Жонглеры в двуцветных штанах веселили детей на Рождество. А осенью, ранним сентябрем, вокруг Клойстерс собиралась средневековая толпа, включавшая монахов, звездочетов, писцов и маркитанок. Кульминацией карнавала справедливо считался турнир, на котором с треском сшибались рыцари из лиги Ржавого меча. Одного из них я знал: в мирные дни он работал бухгалтером и помог мне заполнить первую в жизни налоговую декларацию.

– Сбежавшая из истории Америка, – сказал он, бряцая жестяными латами, – играет с прошлым, а не мучается им.

С облегчением обнаружив в Клойстерс еще один тамбур по дороге в Америку, я навещал его через день, прячась от

настоящего в импортном монастырском дворике с разными, собранными по всей Европе колоннами.

Опушку монастырского парка украшало открытое кафе, которое располагалось строго посередине между моим домом и Петиным. Здесь, заняв незаметный угловой столик, мы читали написанное, обсуждали планы и с помощью жребия делили задание на дом. Наши встречи, как в кино про мафию, проходили по-деловому, без лишних слов. Сомнительные места в рукописи отмечались точкой на полях и безжалостно вымарывались, ибо защищаться считалось западло, объяснять – еще хуже.

– Если не смог сказать, что хотел, – гласил наш авторский кодекс, – то никого не интересуют твои благие намерения.

Мы никогда не спорили. Подозреваю, потому, что, несмотря на двойную подпись, стеснялись друг друга, боясь, что вклад одного окажется меньше другого. Этот никогда не уходивший страх служил залогом справедливости. Когда двое рвутся заплатить по счету, то расходы в конце концов делятся поровну.

Увлеченные работой, мы обменивались рукописями, делали заметки и вели протокол, не обращая внимания на окружающих. Зато окружающие обращали внимание на нас. Будничным утром кафе заполняли дамы – пенсионерки и мамы, прогуливавшие детей, пока мужья работают. На террасе мы были единственными мужчинами, к тому же говорившими на непонятном языке и всегда выбиравшими самый укромный столик. Заметив подозрительные взгляды, я высказал догадку, что нас принимают за русских шпионов.

– Где нам, – засомневался Вайль.

2

11 февраля 1983 года мне исполнилось тридцать лет, что меня чрезвычайно обрадовало. В любой компании я был самым молодым и молча страдал, боясь, что меня не принимают всерьез. Разночинец возраста, я компенсировал страх задиристостью – и так, и на письме. Одна литературная дама публично меня поблагодарила, за то, что я в своих текстах её никогда не упоминал.

Юбилей представлялся мне порогом зрелости, и я решил его отметить с той помпой, которую позволяла наша квартира с одним окном в колодец, а всеми остальными – на тихую синагогу и шумную школу. Жилую часть делила с книгами кровать с модным водяным матрацем. Остальную площадь занимал дубовый письменный стол, за которым я мечтал написать свое

собрание сочинений. Купленный по случаю у разорившейся конторы, он весил с тонну и простирался от дверей до стены, вынуждая ходить боком. Слоновьи ноги проминали паркет. В каждом ящике мог бы спать ребенок. Могучую, как надгробная плита, столешницу изрезали морщины. Короче, стол превышал мои амбиции, мешал жить и играл главную роль в торжествах. За квадратным монстром собрались все, кого я успел узнать и полюбить в эмиграции.

Созвав гостей из пяти боро и трех штатов, я сиял от поздравлений, стараясь не напиться. Американцев, что характерно, за столом не было, во всяком случае, до тех пор, пока не пришли жаловаться соседи. Между бутылками и закусками стоял коллективный подарок: электрическая пишущая машинка с русской клавиатурой. Довлатов утверждал, что на его долю пришлось три буквы, не трудно догадаться – какие.

В пылу веселья никому не пришло в голову выглянуть в окно, а когда это все-таки сделали, то ничего не увидели. Той ночью в Нью-Йорке разразился буран века. Снег засыпал нашу улицу до второго этажа. От машин остались только антенны. Новость о блокаде привела гостей в восторг. Допив водку, они устроились на ночлег вповалку. Супружеские пары спали на ковре, опытная Шарымова, любимица богемного Питера, устроилась в стенном шкафу, Вайль растянулся на письменном столе, миниатюрный художник Длугий улегся на гладильную доску. Элегантный поэт и шахматист Эдик Штейн, который обучал в польской тюрьме своей любимой игре будущего Папу кардинала Войтылу, спал, не снимая бабочки. Писатель-метафизик Юрий Мамлеев наоборот дремал в пиджаке, сняв пластмассовый галстук, который я до сих пор храню как сувенир потустороннего.

Уже при первом знакомстве Мамлеев покорил меня – и собой, и прозой. Плотный и улыбчивый, он походил на Чичикова, но внутри Мамлеева полыхало зловещее пламя, и чтобы оно стало заметнее, он читал свои рассказы при свечах. Вопреки слухам Мамлеев исповедовал не банальный сатанизм, а собственную религию «Ик» и считался гением в эзотерических кругах. Затесавшись в них однажды, Вайль пришел в отчаяние от арканов Гурджиева и столько выпил, что не смог объяснить, почему вернулся домой с гигантским надувным слоном розового цвета, вытеснившим хозяина из спальни в гостиную. Жена Мамлеева Фатима, ставшая после крещения Машей, говорила о муже с придыханием и горечью:

– Некого с Юрашкой рядом поставить, разве что Гоголя.

– И правда – Гоголь, – почти искренне соглашался я, ибо читал его с испугом и упоением.

Мамлеев писал чернуху деловитой прозой с умилением и пронзительными деталями, будто списанными с рядовой жизни упырей. В рассказе «Изнанка Гогена» они у него насобачились сосать кровь из глаз. Сам я всегда любил фантастику и, насмотревшись в Америке триллеров, побаивался вампиров, но Довлатова Мамлеев не пугал. Сергей твердо верил, что ничего страшнее и удивительнее простого человека в мире нет, и принципиально не отличал естественное от сверхъестественного.

В том, что Сергей не прав, я убедился утром. Все гости встали помятыми, но только у Мамлеева черный пиджак со спины был измазан известкой. Заметив эту пугающую деталь, мы натощак обошли всю квартиру. Ее покрывали обои с розочками, которыми жена в приступе ностальгии заклеила белые, как это принято в Америке, стены. В уборной, правда, встречалась мажущаяся краска, но лишь на потолке, до которого в нашем старом доме было добрых три метра. Мы провели следственный эксперимент и обнаружили, что, даже стоя на унитазе, невысокий Мамлеев не мог испачкать пиджака. Оставалась левитация, но Юра хитро цыкал зубом, потирал пухлые ладошки и отказывался как подтвердить, так и опровергнуть эту гипотезу.

– Удивительное – рядом, – заключил я и отправился на лыжах за пивом.

3

Прожив в Америке пять лет, я еще не понял, что здесь – это не там, но уже стал об этом догадываться. Проблему исчерпывала историческая аналогия. Колумб плыл в одну страну, а открыл другую. Как и он, я не хотел признавать ошибку. Вернее, не мог, ибо не знал, чего не знал. Это – наиболее опасный вид невежества, который мешает задавать вопросы.

С ответами мы все справлялись лучше, объясняя дружественным американцам все глубину их заблуждений. За это русских прозвали «You don't under-r-stand». Этими словами мы, следя, чтобы водку не разбавляли льдом, начинали любой разговор на вечеринках. Обычно дальше никто не слушал, и мы, убедившись в тщетности попыток просветить Америку, жаловались своим.

– Страшно представить, – начинал один, – но они не читали Драйзера.

– На авианосцах, – продолжал другой, – изнеженным морским пехотинцам подают мороженое.

– Негры армию захватили – вплоть до генералов, –

поддакивал третий.

– И это, – горевал четвертый, – когда в Мексике зреет коммунистическая революция.

– А президент, – возмущался пятый, вспоминая поцелуй Картера с Брежневым, – милуется с кремлевскими старцами.

– Все потому, – ставил диагноз шестой, – что в Америке слишком много свободы.

– Для нас с Фимой, – спорил седьмой, – в самый раз.

– А для остальных, – не соглашался шестой, – чересчур.

– И все из-за того, – завершал беседу начавший ее, – что они не читали Драйзера.

Справедливости ради надо признать, что Америка отвечала нам тем же, особенно – в Голливуде, где мало что изменилось со времен упомянутой Ильфом и Петровым картины «Княгиня Гришка». Из фильма в фильм по экрану бродили чекисты в ГДР-овской форме с фамилиями русских классиков. Они танцевали вприсядку и пили с рассвета, закусывая блинами с кабачковой икрой. Даже буквы в кино не умели срисовать: «К» и «Я» смотрели в другую сторону.

Не снеся обиды, я попросил вмешаться земляка – Илью Баскина. Талантливый, ехидный и остроумный, он прямо из Рижского ТЮЗа попал в Голливуд, где сумел изрядно прославиться. С ним невозможно было гулять по улице, потому что каждая вторая школьница просила автограф. Баскин играл незадачливых русских, которые льстили американским зрителям своей неопасной глупостью. Сам он любимой ролью считал монаха-травника в экранизации романа «Имя Розы». Ради нее Илья выбрил тонзуру, удивляя ею других евреев.

– Ну, почему, почему ты им не скажешь?! – взвыл я, когда мы подружились, – Ведь кроме тебя в Голливуде и русских нет.

– Потому и нет, что наши всех учат, – холодно ответил он и покатил по Сансет-бульвару в открытом «Ягуаре».

Убедившись, что американцы безнадежны, мы с Вайлем решили начать с себя. Новая книжка была попыткой понять, куда и зачем мы попали. Выводя сальдо, мы перечисляли и сравнивали то, что потеряли, с тем, что приобрели. Получалось примерно поровну, если не судить по украденному названию – «Потерянный рай». Им, конечно, была та Америка, в которую мы стремились, а не та, в которой оказались. Догадываясь, что эти страны невозможно совместить, мы хотели заменить советскую мечту на американскую. Но для этого надо было, наконец, открыть Америку, а мы пока не знали, ни где, ни как.

Услышав разочарование в заглавии книги, ею заинтересовалось русские в Израиле, где со злорадством

относятся к изменившим ему евреям. Издательством «Москва – Иерусалим» заправляла чета Воронелей. Саша – автор лучшей книги о русских евреях «Трепет забот иудейских», Нинель писала все остальное. Самой смешной была пьеса «На дебаркадере», где нематерные слова встречались только в заголовке.

Не добравшаяся до Америки и никого не заинтересовавшая в Израиле, эта книжка была, пожалуй, важна для одних авторов. Мы покинули мир, где, как в сказке Андерсена, каждая вещь (от тонкого стакана до граненого) могла поделиться своей историей. Мы попали в мир, говоривший непонятно, да и не с нами.

Впрочем, мне было только 30, и я не унывал, ощущая себя командировочным.

Вернисаж, *или* Призраки

Опьяненные успехом «Нового американца» и отравленные его крахом, мы с Вайлем уже не мыслили жизни без своего органа. Он казался нам бесспорно важнее какой-нибудь селезенки. Поэтому, соблазнившись сомнительным предложением, мы пустились в очередную авантюру и открыли еженедельник «Семь дней».

Самыми примечательными в нем были Бахчанян и зарплата. Издатели приносили нам деньги в полиэтиленовом мешке из супермаркета «Price Rite», что в переводе означает «правильная цена» с ошибкой. Мы тоже так считали, но исправить ее не могли, ибо получали жалование теми самыми однодолларовыми купюрами, которыми покупатели расплатились за наш журнал в газетном киоске.

Ни до, ни после «Семи дней» мне никогда не приходилось видеть столько грязных денег. Многие были вымазаны то ли кровью, то ли помадой. Вашингтону, как вождям из наших учебников, пририсовывали очки, трубку и гениталии. Иногда на банкноте читался записанный впопыхах телефон, и меня подмывало по нему позвонить, но я стеснялся акцента и боялся абонента.

Раз в неделю мы долго делили кучу денег на три и удивлялись, как мало выходит на нос, особенно – Бахчаняна, у которого он был больше моего, но совсем другой – ассирийской, как мы специально выяснили в музее – формы.

Журнал «Семь дней» оказался выдохшимся шампанским. Мы имитировали пропавший энтузиазм, стараясь потакать тому неизвестному читателю, от чьего доллара мы напрямую, а не метафорически зависели. Для него мы печатали из номера в номер остросюжетную и маловразумительную «Хватку шайтана», рассчитывая, что роман понравится этому неприятному субъекту. Поскольку я ни разу его не встречал, мне он казался привидением капитализма, бездомным духом наживы, который, словно тень отца Гамлета, лезет не в свое дело и портит настроение. Хорошо еще, что, откупившись от него «Шайтаном», мы отдавали остальные страницы Бахчаняну.

Вагрич служил тайной причиной и очевидным оправданием всей затеи. Журнал стал его вотчиной, которой он распоряжался как собственной галереей или, даже, музеем. Пользуясь нашим

безоговорочным восхищением, Бахчанян перевернул доску: своими текстами мы оформляли его картинки. Когда мы не знали, что к ним написать, Вагрич пожимал плечами, и журнал печатал его работу на развороте. Так выходил плакат размером с дверь холодильника. Например, вареный омар с популярным у тогдашних пацифистов лозунгом «Лучше быть красным, чем мертвым».

Неисчерпаемый Вагрич работал во всех жанрах. Иногда это были загадки для начинающих: «На Красной площади стоит, в нем кое-кто в гробу лежит». Иногда лозунги: «Бей баклуши – спасай Россию». Иногда – словесный зверинец, в котором мирно паслись иисуслик и броненосец «Потемкин».

Поскольку все это отпугивало консервативных, да и любых других рекламодателей, журналу пришлось обзавестись своей доской объявлений. Их Вагрич сочинял от чужого, но хорошо знакомого лица: «Дам сдачи. Мохаммед Али», «Изменю родине с матерью. Эдип». «Ищу приключений на свою жопу. Лимонов». «Куплю картошку в мундире. Генерал Григоренко». Я до сих пор не могу понять, почему Вагрич всем нравился, включая тех, над кем он издевался особенно обидно, как это было с Алешковским, которому Бахчанян приписал объявление «Подрочу на скорую руку», намекая на «Николая Николаевича».

Юз явился в Америку в ореоле славы этого знаменитого романа. Битов надеялся увидеть его в «Литературных памятниках», Бродский назвал Алешковского «Моцартом языка», мы – не могли пройти мимо и для знакомства зазвали Юза на рыбный базар. Фултон-маркет обслуживал оптовиков Нью-Йорка и закрывался с рассветом. Поэтому вместо парадного ужина пришлось устроить обильный завтрак, продолжавшийся до заката и переваливший за него. Главным блюдом стал омар ростом со школьника, главным развлечением – виртуозный мат, которым славился Алешковский.

Однако и у него было что-то святое, как выяснил Вагрич, сделавший для новой книги Юза обложку с всевидящим оком. Работа понравилась, но разомлевший от похвал Бахчанян признался, что глаз принадлежал Сталину. Этого Алешковский не вынес, хотя инцидент был случайным. Вагрич просто утилизировал отходы производства – у него повсюду валялись ошметки сталинских портретов.

Одержимый вождями, Бахчанян и сам в них играл и других втягивал, заставляя рисовать Сталина таким, каким старые его помнили, а молодые – представляли.

– Советские вожди, – говорил Вагрич коллегам, – самое оригинальное из всего, что нам удалось вывезти с родины.

Абстракционизмом запад не удивишь, то ли дело – портрет Сталина, а лучше – его мавзолей, который хорошо бы устроить в Централ-парке.

– Душа моя, – сказали Комар и Меламид хором, – кому в Америке интересен Сталин?

2

«2 Х 2», – так называлось интервью, которое мы с Вайлем взяли у Комара и Меламида, когда они перебрались в Америку из Израиля. Там они приняли на себя ответственность за землетрясение, разрушившее палестинскую деревню. В Нью-Йорке Комар и Меламид привлекли к себе внимание тем, что сумели превратить политический протест в лирическое излияние.

– В каждом человеке есть килограмм дерьма, – объясняли они свою интерпретацию соцарта, – и как бы нам это ни казалось противно, оно – часть нас. Наши картины честно делают его видимым и по-своему нарядным.

На добротных и тщательных холстах Комара и Меламида искрились аляповатыми красками патологические воспоминания из пионерского детства. На их картинах страна напоминала ту, что Волька показывал Старику Хоттабычу. Если Кремль был списан с фантиков, то «Сталин в окружении муз» мог бы украшать учебник с соцартовским названием «История СССР с древнейших времен». Соединив лирику с пафосом, художники создали монументальный портрет отечества, который живо напоминал панно «Дружба народов» из мясного павильона рижского колхозного рынка. Но поскольку американцы его не посещали, соцарт казался им в новинку. Более того, он пришелся ко двору: Холодная война вступила в решающую – идиотскую – стадию.

– Правда ли, – спрашивала меня соседка фрау Шпигель, сбежавшая от нацистов из Вены в Нью-Йорк и с тех пор следившая за международными новостями, – что ваши русские сбили пассажирский авиалайнер, устроили Чернобыль и объявили миру мир?

– Эти русские, – защищался я, – вряд ли считают меня своим.

Другие американцы находили отдушину в соцарте. Преувеличивая, как Швейк, лояльность к советской версии истории, соцарт орудовал не карикатурой, а гиперболой, причем, столь величественной, что однажды она заполнила четырехэтажный дом.

Это случилось на вернисаже Комара и Меламида, ради которого галерея превратила манхэттенский особняк в

провинциальную избу-читальню. Стены украшали кумачовые лозунги Маркса и Энгельса, подписанные Комаром и Меламидом. В сортире лежала газета на кириллице, персонал сновал в буденовках, водку пили из алюминиевых кружек и первый же пьяный загромоздил собой узкую лестницу, мешая свободному брожению искусствоведов. Хэппенинг удался, и вскоре Комар и Меламид распространили свой метод на Америку, изобразив президента Рейгана в виде кентавра со звездно-полосатым знаменем в копыте.

Когда выяснилось, что путь к успеху лежит в утрированном конформизме, а не в отказе от него, другие художники тоже стали писать вождей. Удрученные конкуренцией, Комар и Меламид переворачивали картины лицом к стенке, когда в студию приходили гости.

Постепенно черта между поэзией и правдой стиралась, и все труднее становилось отличить пародию от идиллии. Первым это заметил Эрнст Неизвестный, с которым мы встретились на очередном вернисаже. Гуляя среди девушек с веслом, он смотрел на них с нарастающим удивлением.

– Все это, – признался он, – напоминает мою дипломную работу «Фигура шахтера».

– Искусство возвращается восвояси? – предположил я, но Неизвестный пожал плечами молча, что было для него крайне нехарактерно.

В первую встречу он ошеломил меня напором философского красноречия: два лика Хрущева, черное солнце Достоевского, «красненькие» из Политбюро, битва богов и титанов. Лавина грандиозных концепций, клубки замысловатых метафор, зов пьянящих пророчеств лились без перерыва и продыха. Примерно так я представлял себе Ренессанс. Неизвестный – тоже, ибо не скрывал амбиций, главная из которых заключалась в том, чтобы избавить свое искусство от банального «человека в штанах». Впрочем, сломив собеседника своей непомерной личностью, Эрнст становился доступным и обаятельным. Несмотря на то, что завистники обвиняли Неизвестного в гигантомании, в юности у него был трогательный роман с цирковой лилипуткой.

– У лилипутов, – заметил Бахчанян, – свои маленькие слабости.

Студия Неизвестного располагалась в сердце Сохо, и он радушно принимал всех, кто заходил. Пользуясь этим, мы с Вайлем забрели к нему зимним вечером. Впустив нас в мастерскую, Эрнст попросил подождать, пока он выскочит за угол по неотложному делу. Захлопнув двери, Неизвестный механически выключил свет, и мы оказались запертыми наедине

с его скульптурами. Света от уличного фонаря хватало лишь на то, чтобы каменные монстры отбрасывали кошмарные тени. Неизвестный именовал свои работы, как пишут в песенниках, «раздумчиво»: «Ожидание», «Терпение», «Одиночество». Но не знавшие этого могучие скульптуры с обломками ног и рук сгрудились вокруг нас, как персонажи «Вия», и, находясь посреди Манхэттена, мы не могли рассчитывать на петуха, разогнавшего бы криком нечисть. К тому же, зимой светает поздно. Окоченев от ужаса, мы боялись пошевелиться. Как это часто бывает, нас выручила водка. Ползком и на ощупь мы пробрались на кухню и открыли холодильник. При свете его одинокой лампочки мы нашли бутылку «Камчатки», возле которой Эрнст и нашел нас изрядно осмелевшими.

Шли годы, но Неизвестный, крутой утес авангарда, не менялся. Он всегда мыслил и творил с размахом.

– Из студии, – однажды сказал он, не скрывая гордости, – украли скульптуру в две тонны.

Между тем неумолимый и безжалостный ход прогресса привел к тому, что напротив мастерской Неизвестного поселился Олег Кулик, сверхновая звезда русского искусства, освободившегося наконец от кремлевской цензуры. Незадолго до этого я познакомился с ним в Москве за трезвой – в виду Великого поста – трапезой. Изображая собаку, Кулик приехал в Нью-Йорк в клетке, надежно запертой после того, как он искусал шведского критика. Когда я навестил Кулика в Сохо, он посмотрел на меня умными глазами и дружелюбно полаял.

Неизвестному тоже было интересно узнать, насколько далеко ушло отечественное искусство с тех пор, как он его оставил, но, не решаясь уронить себя в глазах ротозеев, Эрнст сперва отправил туда выписанного с Урала флегматичного помощника. Пять минут спустя тот вернулся, но уже с пеной на губах.

– Эрнст Иосифович, – заорал он, – где топор?! Там американцы русского человека, как последнюю дворнягу, голым в клетке держат.

– Жизнь коротка, – вздохнул Неизвестный, – зато искусство вечно.

3

Соцарт был некротическим явлением: конвульсии живого трупа. Но в середине 80-х еще никто не верил в кончину вскормившего нас режима. Всем, кроме пророка Солженицына, он казался бесполезным и вечным, как пирамида из старых

покрышек.

Мне он таким даже нравился. Лишенный вменяемых претензий, коммунизм жил по инерции, незаметно погружаясь в илистую Лету. Состарившись, он скорее смешил, чем пугал, и уже никто не ждал его всемирной победы. Во всяком случае, за пределами Гарварда, где правили бал учителя нашего нелегального марксиста Зямы Каца. Поскольку советская власть казалась ископаемой, соцарт рассматривал ее в перевернутый бинокль и доходил до динозавров, вроде того, что появился на дополненном Комаром и Меламидом портрете трех победителей в Ялте.

Предчувствуя – мозжечком, а не мозгом – кончину страны, в которой выросли, мы тоже хотели с ней проститься по-честному. Для этой цели мы выбрали тот период, когда советская власть больше всего себе нравилась. Издалека 60-е казались нашим викторианством – оптимистическая эпоха, не боящаяся конца, сценическим псевдонимом которого был коммунизм. Даже Солженицын не стеснялся им пользоваться, призывая соотечественников «строить коммунизм не в камнях, а в людях».

Собственно, так мы и сделали, начав с себя. Поняв, что столь амбициозный проект потребует нескольких лет неоплачиваемого труда, мы принялись собирать и делить ресурсы. Пока один писал главу, выудив её тему из шапки, другой зарабатывал деньги в эмигрантской прессе и на радио «Свобода». Каждый месяц мы менялись местами, счастливые тем, что наш коммунизм работал – в отличие от того, которого напрасно ждали герои книги.

Она сочинялась в жанре «Поэзия и правда». Это была история не бывшего, а казавшегося. Наученные соцартом, мы воссоздавали гибридную реальность, которую отцеживали из советских источников и сверяли с воспоминаниями кумиров – от Бродского до Евтушенко, от Аксенова до Смыслова, от Войновича до Владимова, от Комара до Меламида. Мы не рассчитывали добраться до того, что было на самом деле, понимая, что на самом деле было никак. Вместо истины мы пользовались тем, что за нее тогда принимали, снимая слепки с исчезнувших заблуждений, которые придают неповторимый вкус и акцент прошлому. Постепенно главы нанизывались на мифологические оси и катились по наклонной плоскости к бурному финалу, которым нашему поколению служил разгром Пражской весны.

Пока мы все это сочиняли, нам изрядно мешал призрак коммунизма – небритый, полутрезвый субъект в застиранной майке некогда голубого цвета. Живо напоминая актера Леонова, он олицетворял дух бедного, но честного прошлого. Пожалуй, мы так и не смогли согнать этого типа со своих страниц.

«Свобода», *или* Риторика

– Только не пугайтесь, – говорил Довлатов, заманивая нас на «Свободу», – радио будет таким, каким мы его сделаем.

И тут же объяснил, что бояться надо начальника, Юру Гендлера.

– При первой встрече, – говорил Сергей, – он вам покажется сумасшедшим, но потом вы в этом сами убедитесь.

Как многие евреи, Гендлер был православным, как немногие – монархистом. Будучи диссидентом, он выучил английский в Бутырской тюрьме, отличавшейся хорошей библиотекой. Соседняя камера пустовала, потому что при царе там держали Ленина. Ко дню рождения вождя её красили и убирали цветами.

Из мордовских лагерей Юра вывез немало эксцентрических убеждений и считал необходимым поделиться ими с Америкой. Одно из них вызвало местную сенсацию. Давая интервью чикагской газете, Гендлер ратовал за нравственность, которой в свободном мире угрожает порнография. Перепутав чужие слова, Юра выразил свою мысль обиняками.

– «Русский диссидент, – гласила газетная шапка, – говорит, что секс хуже атомной бомбы».

Не остановившись на достигнутом, Гендлер прочел лекцию сотрудникам ЦРУ.

– Если Америка объединится с Россией, – объяснял он им, – белая раса сумеет справиться с желтой чумой.

С ним не спорили, но из ехидства повели в китайский ресторан. Банкет во главе с пекинской уткой привел его в тихую панику, ибо никак не сочетался с заявленным тезисом.

Первая встреча произвела на нас неизгладимое впечатление.

– Берите пример с меня, – начал Гендлер, разливая «Джонни Уокер», которым, как вскоре выяснилось, кончался каждый рабочий день, – я уже много лет выдавливаю из себя по каплям интеллигента.

Мы невежливо молчали, но Юра не нуждался в согласии. Он говорил даже с помидорами. В лагере охранник растер сапогом пучок укропа, который Гендлер вырастил, страдая от цинги. В память о неудавшемся урожае Юра возделывал необъятный огород у себя на Лонг-Айленде. Возвращаясь на последней электричке, он, не снимая галстука, пел овощам, поливая в темноте грядки.

Примерно так же – ласково и безоглядно – Юра любил Америку, сразу всю и всегда. Вываливая на нее неизрасходованный на родине запас патриотизма, Гендлер, как Гегель, считал, что эволюция Абсолюта счастливо завершилась – Белым домом, бейсболом и «Джонни Уокером». Юра считал скепсис недугом и каждого следующего президента предпочитал предыдущему.

– Школьником, – рассказывал Гендлер, – я плакал от счастья, когда в кинохронике показывали американские самолеты, бомбившие Северную Корею.

– Хорошего растили пионера, – заметил Довлатов.

– А то, – соглашался Юра, – я с 1943 года читал «Правду» и не верил ни одному слову.

К Гендлеру невозможно было привыкнуть, ибо никто не знал, чего от него ждать. Только Юра знал урожай зерновых в штате Канзас, счет в послевоенных матчах «Зенита» и нюансы биографии Генри Форда. Обладая строгими принципами, нам он навязывал лишь один. Отсидев свое, он возненавидел все лагеря, включая те, которые делят мир на два. На радио всем запрещалось пользоваться марксистскими терминами, из-за чего я знаю о капитализме не больше того, чему меня учила наша придурковатая политэкономия.

В остальном Гендлер проявлял неслыханную терпимость. Он выносил даже меня. По привычке примыкая к фронде, я осуждал в Америке то же, что в России, например – армию.

– Мир слишком дорог, – говорил я в микрофон, – чтобы доверять его военным.

– А Рейган доверяет, – мягко возразил Гендлер.

– Это его дело, – рычал я, закусив удила.

– Бесспорно, – еще мягче говорил Юра, – но позволь и президенту иметь свою точку зрения. Ведь ты родился в Рязани, а он – в Иллинойсе.

Несмотря ни на что, мы дружили. Гендлер был во всем искренним до слез, которые у него часто появлялись от восторга, когда выбирали очередного президента, или обиды, когда при нем хвалили французские фильмы и паштеты. Иногда Юра мне казался обаятельным инопланетянином, и я исподтишка учился у него быть другим. Дело в том, что только Гендлер отвергал святые для племени интеллигентов комплексы и приоритеты. Он считал этот стандартный набор пошлостью.

– Ваша вера, – говорил он за стаканом, – банальна и неверна: Волга впадает в Черное море.

– Лучше набрать правительство, – поддакивал главный интеллектуал «Свободы» Борис Парамонов, – наугад, из

телефонной книги, чем в университете.

Мотая на ус чужую ересь, я учился с ней жить, но у меня плохо получалось, и надо мной часто смеялись коллеги. Например, в пивной, когда у меня выпал из кармана зеленый томик Катулла с бесценным предисловием Гаспарова и моими развязными пометками на полях.

2

В тучные времена Холодной войны студия «Свободы» располагалась по адресу, ставшему названием популярной передачи «Бродвей 1775», и занимала целый этаж – второй. На первом был лучший книжный магазин в городе, через дорогу – винный, за углом – дешевый бар, в вестибюле – дорогой, а в дверях – охранники. Остальные сотрудники не слишком отличались от персонажей любой редакции. Добрые секретарши, капризные техники, дородная тетка-завхоз, следящая за тем, чтобы мы экономно расходовали бумагу для ксерокса. Выделялась уборщица-албанка с дипломом и диссидентским прошлым – она охотно участвовала в наших спорах.

В те времена «Свобода» подражала Варшавскому пакту и объединяла под одной крышей журналистов всех стран социалистического содружества, которое они горячо и искренне ненавидели. Разделенные языками и непонятными для посторонних геополитическими распрями, они редко говорили друг с другом и пили в одиночку.

Надо признаться, что на «Свободу» мы с Вайлем пошли не от хорошей жизни, но от хорошей жизни редко встают с дивана. Больше всего нас смущал державный фундамент радиостанции. Однако на нем никто не настаивал. Как прежде в «Новом американце», на «Свободе» важнее содержания считалась форма, только здесь ею был голос. Заменяя стиль и являясь им, звук требовал новых навыков и предполагал особую чувствительность к огрехам.

Между тем, на пробной записи выяснилось, что у каждого из нас голос был с изъяном: мой звучал незрело, как у пионера, Петя не выговаривал твердое «л», чего, впрочем, никто не замечал, пока в студии не разразился скандал. Рассказывая в программе Марины Ефимовой, как он провел праздники на горном озере, Вайль дошел до самого интересного:

– А на лесистом берегу, – живописал он досуг, – располагалась водочная станция.

– В Америке не пропадешь, – разделила его энтузиазм

Марина, – везде можно пропустить по рюмке.

– Нет, нет, вы не поняли, – исправился Вайль, – не *водочная*, а водочная станция.

– Я же так и говорю, – удивилась Ефимова, – водочная станция.

Следующие пять минут они препирались у микрофона, пока я не справился с хохотом и не объяснил, что речь идет о лодке, а не о водке.

Обычно ограничив аперитив двумя рюмками (от третьей едет голос) в студии, мы перебирались в просторный кабинет Гендлера, где происходил ежедневный «симпазион». Я не могу подобрать другого слова, хотя за это коллеги могли бы выставить меня в коридор. Наше застолье отличалось тем, что собирало даже непьющих. К ним почти всегда примыкал Довлатов, трактовавший запои как свое личное дело, дамы, цедившие не виски, а вино, и один шпион-перебежчик, никогда не открывавший рта. Все усаживались вокруг стола с бумажными стаканчиками, только Гендлер пользовался мемориальной стопкой из бересты с выжженной надписью «На память о Мордовии».

После первой, подождав, пока «всосется», Парамонов объявлял, что позволяет всем пить вино его беседы. Знаток человеческой природы, он предпочитал её изнанку, обо всем судил ниже пояса и прославился психоаналитическим очерком «Говно», напечатанным в модной московской газете и почавшим философскую перестройку. Кроме этого, Борис тайком писал лирические стихи с политическим подтекстом и знал все на свете. Довлатов дружил с Парамоновым еще в Питере, и, несмотря на то, что в молодости хотел его задушить, ценил Бориса за умственную щедрость.

Сам Сергей никогда не умничал и участвовал в разговоре монологами, как Райкин. При этом он умел имитировать импровизацию и симулировать запинки. От этого слушателям казалось, что они присутствуют при родах очередного шедевра, даже если мы знали, что он с бородой.

Гендлер был рассказчиком другой породы, он любил обстоятельные новеллы с пронзительными подробностями, заменявшими эффектный финал. Одна из таких годится для сценария.

– В Мордовии, – начинал Юра, – я подружился с парижанином русского происхождения. Наслушавшись родителей и начитавшись Достоевского, он решил посетить их родину, и был арестован сразу по приезде. Гуляя со мной вокруг лагерной бани, он уговаривал всегда проводить отпуск в Сардинии и просил

запомнить адрес недорогого пансиона у самого моря. Однажды, когда мы смотрели кино…

Тут Гендлер перебивал себя и объяснял, что рядовые зэки во время сеанса сидят на лавках, а заслуженные – на стульях, один из которых предоставили Синявскому за то, что он не сбрил бороду и любил блатные песни.

– Фильм, – продолжал Юра, – был из зарубежной жизни и, когда действие добралось до Парижа, мой товарищ потерял сознание, узнав на экране свой дом и заметив, что жена повесила новые занавески. Отсидев свое и дожидаясь у московских родственников самолета во Францию, он не ложился в кровать и спал на полу, чтобы не привыкать к столь неудачно обретенной родине.

3

Больше концерта с солистами меня увлекал спектакль разговорного жанра с красноречивой массовкой. Как у греков, самые счастливые часы протекали за хоровой беседой. Словно сеть с большой ячеёй, она охватывала все живое, вылавливая ценное и выпуская мелочь. Прочесывая окружающее, беседа сближала отдаленное, сгущаясь в концепции. Мысли рифмовались, реплики перемножались и мнения делились, но все это не портило песню, а усложняло ее. В сущности, это было то чистое, не разбавленное прагматическим умыслом творчество, которое Кант называл высокой игрой, а мы – удавшейся пьянкой.

Чтобы отличиться в ней, мне заново пришлось освоить язык, и опять родной. За уроками, которые стоили мне язвы, я понял, что писать проще, чем говорить. Между намерением и результатом остается временной зазор, в который можно сунуть голову, затормозить и себя проверить. Речь, однако, требует рубить сплеча. Открыв рот, ты наобум бросаешься в схватку с языком, не зная, чем она кончится.

Чаще всего – ничем. Обычный диалог состоит из обмена абортированными предложениями. Не справившись с грамматикой, обходясь жестами вместо союзов и заменяя синонимы матом, мы общаемся настолько приблизительно, насколько это позволяет дружба.

Мы с Вайлем об этом узнали, когда записали на магнитофон свою многочасовую беседу, надеясь обратить ее в статью. Прежде всего, она оказалась скучной, потом бессвязной, но главное – бессмысленной. Чтобы протоплазма трёпа приобрела статус беседы, нужны незаметные вериги опыта. Раньше его называли

риторикой, теперь – никак, и это отражается на всем, но лучше всего слышно по радио.

– Бумага, – скажу я, поделив жизнь между нею и микрофоном, – все стерпит, но голос выдает тебя врагу и другу.

Радио – шепот с неба, поэтому в микрофон можно врать, но нельзя фальшивить. Звук преувеличивает всякую эмоцию, и распоряжаться ею надо экономно и не самому. Каждый из нас приводил в студию своего авторского персонажа. У Парамонова он был профессором, вызывавшим уважение даже тогда, когда переходил на глоссолалию. Довлатов брал задушевностью, Гендлер вещал заливисто, Вайль изображал рубаху-парня, я хотел казаться умнее, чем есть.

– Гениса, – написал в записных книжках ничего не прощавший Довлатов, – и глушить не надо, все равно никто не поймет.

Зато у микрофона мне открылась истина столь простая, что о ней редко вспоминают все, кроме поэтов. Слова старше букв, и, чтобы вторым не было стыдно перед первыми, писать надо вслух.

Русская улица, или Американа

– Родина ему все дала, – прочитал я про себя на фейсбуке, – а он сбежал на Запад и без конца строчит, лишь бы не работать.

В целом это верно. Я никогда не считал письмо работой, даже в тот год, когда сочинил 1000 страниц и заработал карпальный туннельный синдром, но не перестал колотить по клавишам машинки рукой в нарядном лубке. Убеждение в том, что творчество – роскошь, еще в первом классе мне внушила полоумная советская фантастика, к которой следует причислить хрущевскую программу построения коммунизма в отдельно взятой стране.

Выяснив, что эта страна – Америка, я прожил в утопии 40 лет, если не считать первых трех месяцев, когда мне пришлось складывать джинсы. Полагая писательский труд чистой радостью, я втайне считал, что просить за эту привилегию деньги так же странно, как зарабатывать их в дворовом футболе.

С этим более или менее соглашались почти все авторы эмиграции, особенно лучшие, прославившиеся в Самиздате и знавшие, чем власть за него платит. Избитый в Каляевской тюрьме за дебют в западной прессе Довлатов создал в Америке теорию перевернутой пирамиды. Самое важное – рассказы – он готов был печатать даром, за среднее – статьи – пытался получать гонорар, а то, что кормило, выдавал под псевдонимом. Выстроив по этой мерке свое расписание жизни, мы с Вайлем отвели книгам лучшие дни, а заработку – какие останутся.

Хуже, что первых становилось все больше, а вторых не осталось вовсе после того, как наши печатные органы разорились. Когда пособие по безработице подошло к концу и нью-йоркские источники заработка иссякли, на горизонте внезапно возникла Калифорния. Из Лос-Анджелеса приехал Половец, редактировавший еженедельник «Панорама». Уже привыкнув ждать от русской прессы худшего, мы поставили неприемлемые условия, которые Саша принял, не моргнув. Он даже согласился печатать наш разворот под углом в 90 градусов, чтобы мы были газетой в газете и не смешивались с другими авторами.

Удивленные и обрадованные покладистостью «Панорамы», мы принялись каждую неделю заполнять две тихоокеанские полосы «Прогулками по Нью-Йорку». Поскольку писать можно только о том, что любишь, даже тогда, когда любишь ненавидеть,

нам предстояло вступить в интимную связь с городом, к которому мы относились со снисходительным презрением. От него нас спас парижанин Хвостенко.

В Нью-Йорке он оказался проездом, как, впрочем, и везде, не исключая Парижа, где мы с ним подружились в ожидании лукового супа. Его тайну Леша открыл нам на базаре «Чрево Парижа», точнее – в таверне «Свиная нога», у дверей которой жил симпатичный поросенок Оскар.

– Луковый суп, – объявил Хвостенко, – полагается есть на заре, чтобы протрезветь, поэтому нам придется сперва набраться.

Весь день мы дули красное под стейки из конины. Лишь перед рассветом, когда Хвост спел весь свой репертуар трижды, мы, наконец, уселись за выскобленный стол, разделив его с другими подозрительными типами.

– Чистый Вийон – одобрил Хвост.

В луковом супе все показалось заманчиво грубым: миски, черный крестьянский хлеб, бегло накромсанный лук и крепкое, шибающее в нос варево. За окном хрюкал Оскар, рядом переругивались сутенеры, у стойки выпивали позировавшие Шемякину грузчики-тушеноши. Я чувствовал себя Ремарком и мечтал написать свою «Триумфальную арку».

Не зная, чем ответить Хвосту в Нью-Йорке, мы повели его в непарадную часть Чайнатауна. Там и сегодня озверевшие от азарта старики режутся в маджонг, пока проигравшие подпевают пекинской опере и вымаливают у гадалок свой шанс на счастье. Расположившись с вином и сушеной каракатицей под пилонами Бруклинского моста, где, если верить Голливуду, живут вампиры, а если правде – бездомные, мы извинились перед Лешей за то, что наш город так явно уступает его Парижу.

– Чем это? – удивился Хвост.

– Древностью.

– Ничуть, – сказал он, обводя панораму руками, – руины, клошары, ржавая роскошь прошлого, как у Державина.

Оглядевшись заново, мы признали его правоту. Хвостенко навел наш взгляд на резкость, и город, налившись стариной, обернулся песней про вечное, прошлое и волшебное. Рыжие эстакады надземки нарезали Манхэттен, как Рим – акведуки. Ветхие инсулы жилых кварталов наивно маскировали бедность лепниной. Орлы, латынь и лавры украшали муниципальные дворцы форума. Украв и присвоив старосветские образцы, Нью-Йорк склеился в дикое чудо без умысла и порядка, подчиняясь наживе и случаю. Благодаря архитектурной безалаберности, одно здесь не мешало другому. Поскольку Нью-Йорк никогда не бомбили (до 11 сентября было еще далеко), новое росло на

допотопном, как опята на сгнивших пнях.

– Над небом голубым есть город золотой, – затянул Хвост, как всюду, где он оказывался, и мы из благодарности подхватили припев, чего с моим слухом не следовало делать ни при каких обстоятельствах.

Разжившись чужой точкой зрения и заменив ею нашу, мы решили сделать Нью-Йорк своим. Обремененные репортерскими обязанностями мы днями и ночами шлялись по городу, делая вид, что занимаемся делом – и занимались им, смешав, как я всегда мечтал, труд с досугом.

Искусство никогда не относиться к искусству серьезно завещал нам строгий кодекс шестидесятников всех стран и народов. Сэлинджер звал художников рисовать на оберточной бумаге, Бродский писал «стишки», мы, подражая старшим – «байки», опасаясь, что нас заподозрят в благих, а не веселых намерениях.

Однажды, прочесывая дальние окрестности Бродвея, где нищие молодежные театры делили улицы с ремонтными мастерскими и старыми, списанными с 42-й на дальний запад проститутками, мы укрылись от ветра с Гудзона в непарадном подъезде и, выпив, вышли не в ту дверь, в которую вошли. За порогом открылся бешено освещенный двор. Посреди него три косматые старухи напевали и приплясывали у ведра с синим пламенем. От ужаса мы, бряцая бутылками в пластмассовом мешке, бросились обратно, но нас остановили грянувшие из тьмы аплодисменты.

– Ради бога, – спросил я у схватившего нас охранника, – что это?

– «Макбет», – злобно прошипел он и выставил нас на ветер.

2

«Панорама», как и следовало из ее названия, расширяла географические представления об Америке. Нас стали приглашать читатели, и мы освоили жанр публичного выступления, в котором так блистал Довлатов. Если Бродский, игнорируя вопросы, честно читал стихи до тех пор, пока под галстуком не расплывалось пятно от пота, то Довлатов предпочитал интриговать аудиторию, зажигаясь от нее.

– Что у меня в кулаке? – спрашивал он.

– Что? – подыгрывала аудитория.

– Мое собрание сочинений на фотопленке, которое сочувствующая нонконформизму француженка вывезла из

Ленинграда не скажу – где.

Зрители млели, но только раз. Когда Сергей со своим кулаком вернулся в Торонто, выяснилось, что даже в крупных городах Нового Света наших хватает лишь на один зал. Кроме того, это – одни и те же люди, которых я, следуя тем же путем, узнал так близко, как если бы возил их с собой.

Первый ряд заполняет соль земли: интеллигентные старушки, которых я побаивался, сконфузившись в гостях у одной из них. Заметив книжный шкаф со сказками, я вежливо ляпнул:

– Волшебный вымысел, должно быть, украшает старость.

– Не знаю, – сухо ответила пожилая дама, – я и в юности увлекалась фольклором, изучая поэтику сказки под руководством Проппа.

Остальные ряды занимает средний класс эмиграции. Добродушные и смешливые, они терпят короткие стихи и такую же прозу, любят слушать про евреев, им нравится, когда ругают русских большевиков и американских демократов. Еще больше их радует пора безответных вопросов, которые задают, чтобы себя показать, а других посадить в лужу. Кульминация наступает с появлением городского сумасшедшего.

Когда Комар и Меламид стали работать втроем, они объяснили, что взяли в соавторы слона ради непредсказуемости штриха, которая больше всего ценится в абстракционизме. Вот такой слон приходит на каждую встречу с читателями.

– Вы знаете, как вязать снопы? – спросили меня однажды.

– Нет.

– Как же вы можете писать про деревню?

– Я не пишу про деревню.

– А могли б, если бы знали, как вязать снопы.

Когда открылась дверь на родину, я обнаружил, что по обратную сторону океана меня ждала знакомая аудитория. В первых рядах сидели те же старушки, знавшие наизусть Цветаеву. Позади – противники Кремля и, заодно, Америки, готовые терпеть сюжеты о словесности, чтобы узнать, с кем пил Довлатов и жил Бродский. Но окончательно я почувствовал себя дома, когда встал невзрачный мужчина с грустным лицом и помятой лысиной.

– Не подскажете, – спросил он, – как мне найти работу?

– А какая у вас профессия? – опешив, спросил я, как будто это что-нибудь меняло.

– Клоун, – объяснил он и погрустнел еще больше.

3

Все русские улицы Америки не отличаются друг от друга и счастливы одним и тем же. Удовлетворяя универсальные запросы соотечественников, они предлагают прейскурант услуг, составляющих нашу национальную идентичность и делающих ее уникальной. Это – супермаркет «Одесса» с жирной колбасой, бородинским хлебом и тёщиным хреном марки «Закусон». Аптека с валидолом, горчичниками, и зеленкой. Пышный ресторан «Эрмитаж» и забегаловка того же названия и с теми же пельменями, которые лепят пенсионерки-учительницы за разговорами о прекрасном. Духовную жизнь обеспечивает книжный магазин с Пикулем и гжелью, шахматный кружок, студия художественной гимнастики, школа фигурного катания и, наконец, баня.

С лучшей из них началось мое знакомство с городом ангелов. Хозяин, однако, скорее походил на черта. Врач-кардиолог Аркадий был по призванию мастером и философом бани. Из-за нее он и уехал.

– В России, – объяснил он, – вечно подсказывают, что мне делать в парной.

Поселившись в Лос-Анджелесе, Аркадий купил дом, пристроил баню, остался ею недоволен. Продал дом, купил другой, соорудил новую баню и редко выходил из нее. Шли годы, район стал опасным, жена жаловалась, дети пугались, но о переезде речь идти не могла, ибо на третью баню сил не осталось.

Закончив банную сагу, Аркадий втолкнул меня в парную, где от жара горели волосы и размягчались кости. Дождавшись, пока мне стало совсем невмоготу, он внес можжевеловый веник, отличавшийся от тернового венца тем, что иголки впивались в мясо и оставались в нем. Но мне уже было все равно и я не сопротивлялся, когда меня вытащили наружу и швырнули в бассейн с водой, не уступающей температурой студеному Балтийскому морю. Вынырнув, скорее по инерции, чем по собственному желанию, я был возвращен к жизни стаканом ледяного «Абсолюта».

– Хорошо? – спросил Аркадий.

– Даже не знаю, что сказать, – соврал я.

– Тогда повторим.

Увернувшись, я задал вопрос, мучивший меня с начала процедуры.

– Скажите честно, как наследник Гиппократа, разве от этого нельзя умереть?

– А ты собираешься жить вечно? – заносчиво ответил Аркадий. – Баня как жизнь: мучения – условие наслаждения, наступающего тогда, когда судьба промахнется. У нас в

Голливуде это называют хэппи-энд, и жить без него все равно, что сидеть в парной без выхода.

– По-моему, – нащупав сюжет, сказал я, – ваша баня годится для кино.

– В Лос-Анджелесе для этого всё годится, и нет никого, кто не мечтает его снять.

И правда, Голливуд так заражал эту местность, что идеи для фильма были у всех, кого я встречал: стюардесс, официантов, полицейских. Больше других меня заинтриговал соотечественник Эдуард Тополь начавший свой сценарий in media res: «Голая Сарра лежала на диване».

Отмыв и поправив, Половец принялся водить нас по гостям в качестве экзотической достопримечательности. Местных поражало, что кто-то живет в Нью-Йорке добровольно – с зимой и бездомными, с либералами и без оружия, среди негров и демократов.

Старожилы Лос-Анджелеса считали высшим достижением культуры бассейн и гордились своим городом, но я смог найти его только на карте. Растворяясь, словно медуза на песке, Лос-Анджелес кончался, не успев начаться, а центра в нем не было вовсе. Перебираясь от одного бассейна к другому, мы надоедали хозяевам, умоляя показать столицу духа, наводящую грезы на весь мир.

В конце концов, над нами сжалился старый приятель Додик Гамбург. В Риге он был режиссером поэтического театра и ставил «Братскую ГЭС». В Голливуде Додик подружился со Сталлоне и помог ему. В одной из серий боксерской эпопеи соперником Рокки выступал русский гигант, олицетворявший беспринципную мощь СССР на ринге демократии. Роль белокурой бестии коммунизма исполнял брутальный швед-математик, увлекавшийся боксом в университете. Чтобы придать картине достоверность, которой демонстративно пренебрегали остальные голливудские фильмы, Додик натаскивал шведа по русскому языку. Я, правда, не понял – зачем, ибо на ринге особенно не поговоришь, разве что между раундами, но и тогда он боксер вряд ли декламировал Евтушенко.

Сам я фильма не видел, Гамбург и не советовал. Вместо кино он показал нам Лос-Анджелес. Мы начали с ресторана, где бывали голливудские звезды и закончили в баре, где они напивались. В два часа ночи официант, подчиняясь причудам калифорнийских законов, прекратил веселье, вырвав у меня из рук бокал с «Блади Мэри», в котором что-то еще плескалось.

Оставшись без дел, мы отправились осматривать город. Одни шестиполосные дороги сменяли другие, а мы все мчались в

темноте, пока она не сгустилась еще больше и мы не оказались в гараже. Поднявшись по круто уходящей в небо эстакаде, мы выбрались на крышу бетонного стойла.

– Вот вам весь Лос-Анджелес, – сказал Додик, – вдалеке – огни, вблизи – машины, посредине – паркинг.

Это было почище бани, но я не поверил, решив, что Америка по-прежнему нуждается в том, чтобы мне ее открыли. Не поддаваясь насилию туризма, она оказалась не целью, а проектом, который мы назвали «Американой». Похоже, что конца ему не видно.

Родина, *или* Пушкин

Лишь оглядываясь, я понял, что нельзя попрощаться разом и навсегда. Расставание, как и сближение, процесс, растянутый во времени, а не только в пространстве. Особенно, когда речь идет о такой родине, которая неизвестно как называется и где находится. Я точно знал, что она – не СССР, Латвии еще не было, России – уже, хотя в Америке мне довелось встречаться с теми, кто ее застал и вспоминал добрым словом. Один из них – престарелый и элегантный князь, который не чинясь представился Мишей.

– При царе – сказал он, – в нашей бедной России не все было ладно, но хотя бы еврейчики знали свое место и не лезли в Политбюро.

На «Свободе» про царя говорил только заядлый монархист Юра Гендлер.

– Дед служил токарем на петербургском заводе, – рассказывал Юра, – и бабушка его ругала, когда он приносил жалование серебром и золотом, потому что тяжелые монеты рвали карманы.

Я не очень верил, ибо золотые деньги видел только в музее, но серебряные попадались в Латвии, особенно в провинции, где пятилатовики с изображением балтийской Фортуны Лаймы носили на цепочке как оберег от советской власти. Такую монету маме подарили на атомном реакторе латышские коллеги, которые помнили, что капитализм тоже не сахар.

Наш золотой запас состоял исключительно из книг и пришел в Америку морем в дощатом контейнере. Эти тщательно отобранные 1000 томов могли свести с ума вменяемого человека и обрадовать моего завуча. Она выросла из пионервожатой до учителя словесности, попутно внушив мне истерическое отвращение к школьной программе. Возможно поэтому я думал, что не смогу прожить на чужбине без Белинского, Писарева, Герцена и «Литературной энциклопедии», добравшейся до Аверинцева лишь к последнему – девятому – тому.

Конечно, не только мы, все эмигранты везли с собой библиотеки. Одни – для детей, другие – на черный день. Тогда многие верили, что книги – те же деньги, раз они печатаются на бумаге. Но в Америке никто не знал, что с ними делать, кроме одного моего знакомого. Он рассовал привезенную библиотеку

между наружными и внутренними стенами дома. Книги служили прекрасной теплоизоляцией и не занимали чужого места.

У меня они стояли на своем и выживали нас из квартиры. Не в силах привыкнуть к изобилию, я до сих пор покупаю по книжке в день, хотя уже давно разуверился в том, что они прибавят ума и спасут от старости. В молодости, однако, я свято верил в первое и ничего не знал о второй. Книги, как радуга в Библии, казались знаком завета между мной и прочитавшим их народом. В конце концов, я решил считать их родиной и предложил Вайлю написать учебник по любви к ней.

Сперва мы хотели назвать его «Хрестоматией», но Довлатов отговорил, убедив в том, что читатели примут книгу за сборник чужих текстов. Украденное у школы название «Родная речь» было немногим лучше, но мы и не собирались скрывать, что полдела за нас сделала традиция. Оглавление, над которым мы, сочиняя «60-е», целый год бились, в этом проекте за нас написал канон. Не подвергая сомнению школьную программу, мы приняли ее априори – как единственную работающую конституцию в истории отечества.

– Не важно, – решили мы, – что в нее попал Радищев и Чернышевский, а не Лесков и Бунин. Важно, что именно с таким списком выросли мы, отцы, деды и отчасти, прадеды.

Классика соединяла и приобщала, делая русскими всех, кто знает Пушкина или хотя бы им клянется. Универсальная, как таблица умножения, но национальная, как хоровод и водка, наша речь, утрамбованная в классную шпаргалку, была действительно родной.

– Это еще не значит, – не преминули взбунтоваться мы, – что вся она нам нравится.

Собственно, в этом и заключалась тихая дерзость замысла. Мы не собирались, как с ужасом сочли многие, писать антиучебник. Это было бы так же просто, как переправлять советское на антисоветское в эмигрантской прессе. Мы хотели правды, но готовы были ее заменить искренностью: прочесть то, что положено всем соотечественникам так, будто в первый раз, и честно рассказать о том, что получилось. Задача оказалась труднее, чем думалось. Чужая эрудиция, как пыль, садится на твои страницы, и чтобы стереть ее, нужны осмысленные усилия и воля к невежеству.

Я поступал так. Прежде, чем садиться за главу о том авторе, которого мне назначил жребий, я педантично обчитывал свой предмет до тех пор, пока критические суждения и биографические подробности не начинали повторяться. Затем, загнав узнанное в подкорку, я брался за оригинальную книгу и

трепеща от охотничьего азарта следил за тем, как разворачивается текст, притворяясь его автором.

Это панибратское чтение сродни заклинанию духов, и, войдя в транс, я догадывался, что автор напишет в следующем абзаце даже тогда, когда этого не помнил. Материализовавшаяся писательская тень оживала, как каменный гость, и утаскивала меня по ту сторону переплета. Слова здесь существовали в жидкой форме. Поэтому они могли свободно выбирать, в какую фигуру им сложиться, прежде чем застыть на бумаге. Чтобы удержаться на плаву в словесной протоплазме, надо забыть все, что о ней читал, освобождая место для любви или равнодушия. Мне до сих пор кажется, что писать о чужом можно тогда, когда чувствуешь его своим, как капитан Лебядкин: «басня Крылова моего сочинения».

Пытаясь плавать с классиками, я конечно, подражал Синявскому, с ними гулявшего. Поэтому мы больше всего гордились теми страницами, которыми он предварил нашу «Родную речь».

Много лет спустя, когда я давно уже писал в одиночку, мне понравилось поступать с живыми, как с мертвыми. Я не садился за стол, пока не чувствовал интимного родства с автором. Иногда, как в случае с Веничкой, этому помогал бесспорный восторг, иногда, как с книгами Сорокина – ужас. Но чаще меня бескорыстно радовали и тугие сюжетные пружины Пелевина, и кружевные сказки Толстой, и одушевляющяя магия Саши Соколова, и бесконечные закоулки Искандера, и лингвистический фетишизм Бродского, не говоря уже о псевдопростой прозе Довлатова, служившей точилом и наковальней.

Из любимых писателей мне хотелось выстроить собственную эстетику. Идя от частного к общему – от арифметики к алгебре – я мечтал о литературе, избавившейся от всего затупившегося и заезженного.

Со временем текстов набралось на книгу, но я не решался ее печатать, пока не подружился с критиком Марком Липовецким.

– Статьи пишутся на случай, – пожаловался я, – и вместе с ним устаревают.

– Чтобы стать если не литературой, то уж точно её историей, – сказал Марк.

Вооруженный этим тезисом, я выпустил книгу с названием, определявшим мое отношение к унылому герою рептильной прозы: «Иван Петрович умер».

– И не один раз, – заметили рецензенты.

Классика – конвертируемая валюта русских, но в Америке она имеет хождение лишь в пределах университетских кампусов. Все они неотразимы и напоминают что-то другое: Гарвард – Кембридж, Йель – Оксфорд, Эмори – Акрополь. И в каждом – музей, собравший, как Ноев ковчег, каждой твари по паре: мумии, драхмы, Кандинский.

Первым, кого я встретил, попав в университетскую Америку, был неизбежный Хвостенко, навещавший пышный куст вузов, разросшийся вокруг жилья Дикинсон.

– Летом вы ее не застанете, – извинились местные, – зато зимой можно увидеть следы Эмили на снегу.

У преподававшего там же Бродского тоже были каникулы, и всей русской культурой заправлял Хвост. В городской галерее выставлялась его дзенская живопись, в городском театре шла пьеса «Запасной выход», в студенческом – инсценировка поэмы «Москва-Петушки». Леша поставил ее с той степенью достоверности, которую позволял туземный набор бутылок, включавших «Смирновскую». Вместо нее после спектакля внесли корытце с марихуаной, отчего я почувствовал себя чужим и на этом празднике жизни. Нас, однако, студенты понимали хуже, чем мы – их.

– Этот язык, – с накопившейся горечью сказал мне профессор, выводя мелом на доске слово «консирватория», – нельзя толком выучить, что и доказывают те, кому он родной, не говоря уже о посторонних.

И действительно – я знал только одного американца, безукоризненно владевшего русским.

– Я справился с ним от отчаяния, – оправдывался Джон Глед, – ибо вырос в провинциальной дыре. Мы развлекались раз в году, когда в автосалон привозили машины новых марок. По сравнению с этим даже ваш родительный падеж казался увлекательным.

К старости Джон, разочаровавшись в русских не меньше, чем в остальном человечестве, выпустил два учебных пособия по евгенике.

– Под собственным именем или доктора Менгеле? – спросил я Гледа, но он не обиделся.

Обычно слависты, чтобы сохранить лицо, говорят с нашими по-английски, предлагая практиковаться в русском беззащитным студентам, для которых мы – безличные носители языка, пиджака и галстука.

Поначалу недоступность родной речи внушает чувство ничем не заслуженного превосходства.

– Повторяйте за нами, – веселимся мы, – «Лягушки,

выкарабкивающиеся на берег».

Зато потом приходит отчаяние от одиночества, которое в Америке не с кем разделить, кроме русских. Все, что мы в себе ценили и воспитывали, не пролезает сквозь игольное ушко лингвистической немочи. Но и наоборот! На чужом языке ты можешь сказать не что хочешь (это и на своем непросто), а то, что проходит между Сциллой английских идиом и Харибдой простой, но ненормальной грамматики. Пытаясь раздвинуть скалы, мы норовим высказаться на их языке по-своему – с инверсиями вместо вопросов и подмигиванием вместо глаголов, но такое понимают одни соотечественники.

Смешная самиздатская пьеса Николая Вильямса «Алкоголики с высшим образованием» начинается с того, что герой, с трудом продрав глаза, будит товарища по пьянке лаконичным вопросом: «Ты, деньги есть?» В доморощенном английском переводе это звучит так: «You, money is?»

Конечно, со временем привыкаешь.

– С волками жить, – вздыхала соседка Довлатова, – по-волчьи выть.

Хуже всего, что на другой язык нельзя перевести слова, не затронув произносящую их личность. Одним ее не жалко, другим – за нее больно, мне – страшно, особенно, когда пытаешься по-английски шутить, сочинять или ругаться. Моего брата чуть не убил пуэрториканский дворник, потому что в пылу ссоры оба пользовались американской бранью, с бóльшим энтузиазмом, чем хотели и собирались.

Лучшее в американских студентах то, что в отличие от двоечников из ссыльного поселка Вангажи, где я имел глупость преподавать Пушкина, они светятся радушием, испытывая умеренную жажду знания. В русской классике им ближе всего «Дама с собачкой». Девочкам рассказ нравится, потому что описывает чистую любовь адюльтера, мальчикам – потому что короткий. Но и те и другие сражаются со зверски непонятным языком. Об этом мне сказал Дэвид Ремник, который до того, как стать редактором «Ньюйоркера» писал о перестройке и изучал в Москве русский язык.

– По-вашему, – грустно сообщил он, – я говорил ужасно, как животное.

Сразу поняв безнадежность ситуации, Бродский с первого дня вел занятия по-английски, предпочитая, чтобы студенты мучились с его английским, а не он – с их русским.

Штатный профессор Дартмутского колледжа и второй поэт русской Америки Лев Владимирович Лосев себе такого позволить не мог, о чем он молчал в прозе и писал в стихах:

Однако что зевать по сторонам.
Передо мною сочинений горка.
«Тургенев любит написать роман
Отцы с Ребенками». Отлично, Джо, пятерка!

3

С Лосевым было лестно дружить, что я и делал, пока он не умер. При этом мы разительно отличались. Во-первых, он голосовал за республиканцев, и в разгар скандала с Моникой Левински, чуть не оставил меня без ужина, когда я взялся защищать Клинтона из мужской и партийной солидарности.

Во-вторых, если не считать баранины, мы не сходились во вкусах. Лосеву нравились Солженицын и Петрушевская, мне – Абрам Терц и Сорокин. К счастью, мы находили общий язык за той же бараниной, безусловно восхищаясь Бродским.

В-третьих, Леша во всем походил на профессора, а меня жена звала Шариком. Однажды, делая вид, что приехали на ученый симпозиум, мы вместе отдыхали на Гавайском острове Мауи, славящимся черным пляжем вулканического происхождения. Сам вулкан начинался у моря, возвышался на две тысячи метров и не давал мне покоя. Не стерпев вызова, я позволил отвезти себя глухой ночью к покрытому легким снежком кратеру, чтобы насладиться рассветом. На вершину мы поднялись на автобусе, спускались – на велосипеде. На крутом серпантине он, несмотря на мое сопротивление, развивал 60 миль в час, что вдвое превышало степенный островной лимит, но с этим ни я, ни тормоза ничего не могли поделать. Когда шоссе выплюнуло меня на пляж, где загорал Лосев, я с трудом перевел дух и спросил Лешу, играет ли он в гольф. Лосев, не вставая с песка, застонал от ужаса.

Сибарит, филолог, гурман и поэт, Лосев оживал за обедом, который мы с ним делили на трех континентах. Самый вкусный – за столом у них с Ниной. Заросший книгами дом, сад с ароматными травами, буфет с редкими бутылками, камин – зимой, веранда – летом, за Норковым ручьем зеленеют вермонтские горы. Лосев строил свою жизнь как английский джентльмен и русский западник.

– Чехов в Оксфорде, – фантазировал я.

Но стихи у него были настолько другие, что когда цикл «Памяти водки» перевели на английский, Лосева, опасавшегося за педагогическую репутацию, не обрадовала слава «барда

Норкового ручья».

Тут надо сказать, что лосевские стихи явились поздно и вдруг. Первую подборку предваряло вступление Бродского. Но это еще ничего не значило.

– Меня настолько не интересуют чужие стихи, – признавался поэт, – что я лучше скажу о них что-нибудь хорошее.

Вчитавшись, мы влюбились. Стихи Лосева были интересными, как авантюрный роман, смешными, как анекдот, и ловкими, как цирковой трюк. Леша писал их так, будто, пропустив два века, продлил 18-е столетие до наших дней. Полная интеллектуальной эквилибристики и затейливого остроумия, его поэзия служила не романтическому самовыражению, а самой себе. Искусная вещь из языка, она отказывалась походить на ту, что писали современники. Меньше всего – на Бродского, ибо Лосев тщательно следил, чтобы их дружба не просочилась в поэзию.

Из уважения к музам Леша всегда читал стихи стоя, мы – в машине, когда отправлялись к нему в гости. Тонкого сборника хватало на 300 миль дороги, так как дойдя до последней страницы декламация возвращалась к первой.

В литературоведении Леша мог быть педантом, в критике – византийцем, в гостях – незаменимым, дома – тороватым хозяином, но больше всего мне он нравился спутником. Мотаясь по конференциям и странам, мы всегда сбивались в один угол, украсив его смешным и вкусным. За столом мы редко говорили о серьезном, если не считать стихов и родины. Однажды я задал Леше вопрос, с которым часто пристаю к друзьям и к себе:

– Кем бы вы хотели родиться?

– Русским, – не задумываясь ответил Леша и прочел только что написанное:

> Чтоб взамен этой ржави, полей в клопоморе
> вновь бы Волга катилась в Каспийское море,
> вновь бы лошади ели овес,
> чтоб над родиной облако славы лучилось,
> чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось.
> А язык не отсохнет авось.

Лосев гениально вписался в университетскую Америку так, чтобы она не мешала ему быть собой. На работу он ходил пешком, кампус был его кабинетом, студентам он рассказывал то, что было самому интересно. Например – о чем говорят литературные звери. Получалось, что русские – в «Каштанке» – о маленьком человеке, американские, такие, как Белый Клык, о

Ницше.

Из года в год навещая эту красиво выстроенную жизнь, я не мог себе представить, что она может кончиться. Лосев – мог.

– Как-то, – рассказывал он, утрируя питерское «ч», – я в ненастье зашел в булоччную, где пахло теплым хлебом, играла музыка Моцарта, и за прилавком стояла неотличимая от ангела кудрявая блондинка.

– Рай? – уточнил я, хотя и так понял.

– Хорошо бы, – сказал Лосев без улыбки.

Родина, *или* Борщ

Живя в России, я бы не поверил, что Достоевского разлюбить проще, чем борщ, но, перебравшись за границу, убедился в том, что первый приедается, а второй – нет. И это притом, что они, еда и Достоевский, связаны друг с другом, но от противного. В книге «Не хлебом единым» Бахчанян собрал кулинарные фрагменты из сочинений великих писателей. У Достоевского Вагрич выудил одно маловнятное «бламанже». Не зря в романе «Преступление и наказание» все отрицательные герои – толстые, положительные – тонкие, включая худосочного Лебезятникова, одумавшегося к концу книги.

В Америке Достоевский представляет всех русских и отвечает за них, но мне в него верилось с трудом. И когда я специально приехал в Вашингтон на инсценировку «Преступления и наказания», то заскучал, узнав из постановки Любимова, что нельзя убивать старушек. Никто и не собирался.

– Этический гиперболизм, – сказал мне Парамонов, – свойствен и русским сказкам. Если пришел гость, то надо сразу резать козла да барана, ничего не оставляя на черный день.

– Поэтому, – согласился я, услышав, что речь идет о съестном, – зов отчизны лучше слышен за столом, где нам так трудно обойтись без черного хлеба, соленых грибов и кваса для окрошки. Родина живет в кислой среде, и катализатором ностальгической реакции является именно и только водка, а не текила, виски или балалайка.

Убедившись в этом, соотечественники за рубежом первым делом заводят гастрономы. В мое время все их снабжал оптовик Разин.

– Из тех самых, – скромно сказал он, знакомясь.

Раньше Разин жил в Харбине, где преподавал электротехнику на китайском, пока не бежал от Мао. В Америке он создал бакалейную империю, опираясь на гастрономическую апологию:

– Недоразвитая социалистическая экономика, – втолковывал он мне, – меньше портит продукты. Поэтому русская клюква кислее массачусетской, польские огурчики ядренее немецких, и «Ессентуки», особенно 17-й номер, надежнее лечит нас с утра, чем беззлобная вода Perrier.

Но прежде, чем согласиться и вернуться к родной кухне, мне надо было исчерпать экзотику нью-йоркских ресторанов,

особенно – азиатских.

– В китайском, – наивно рассуждал я, – ничего не понятно, а в японском и понимать нечего.

Избавиться от этой глупости мне помог Иосиф Бродский. В свое оправдание могу сказать, что в тот жаркий день он скучал в углу. Напуганные гости толпились, флиртовали, выпивали и закусывали поодаль, прячась от ледяного взгляда сражающегося с зевотой классика.

– Простите, Иосиф, – бросился я в прорубь, – что бы вы посоветовали…

– Из книг? – холодно перебил он.

– Нет, – струсил я, – из японской кухни.

– На бэ, – слегка оживился поэт, и я отошел окрыленный.

Но истоптав Манхэттен и изучив полсотни меню, я не нашел среди суши, темпур и раменов ни одного блюда, начинающегося на бэ. Тогда, решив рискнуть с трудом заработанным, я просто заказал то, что велел Бродский.

– Хай! – согласился метрдотель и зажег у меня под носом газовую плиту. Из кухни засеменила официантка с подносом. На нем громоздилась нарядная снедь: кудрявая капуста-напа, длинный лук, розовые лепешки из рыбной муки, белокожие грибы-эноки, креветки и другие менее знакомые морские гады. Все это в нужном порядке официантка топила в супе, булькающем в намеренно простодушном глиняном горшке. Именно он, как и все, что в нем варилось, называется по-японски «набэ».

2

Если судить по той же книге Бахчаняна, меню самого Бродского носило меланхолический оттенок и мстительный характер: яблоко в залог, ломоть отрезанный, сыр дырявый, глушенная рыба и блюдо с одинокой яичницей.

– Но в жизни, – свидетельствовал его друг, биограф и сотрапезник Леша Лосев, – Иосиф «жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок», всему предпочитая домашние котлеты Юза Алешковского, холодец в «Самоваре» Романа Каплана и китайские рестораны, в одном из которых он съел столько креветок, что в зале раздались аплодисменты.

Узнав об этом, мы с Вайлем решили заманить Бродского на античный обед, списав его у Марциала. Выбрав из его эпиграмм доступное, мы остановились на цыплятах с капустой и пироге с айвой. Последнюю, не сумев купить, мы похитили в нашем средневековом музее Клойстерс. Его монастырский дворик и

сейчас украшает декоративная, но плодоносная айва. Ограбив дерево, мы унесли добычу под полой плаща, чтобы еще раз процитировать Марциала:

Скажешь, отведав айвы,
напоенной Кекроповым медом:
«Эти медовые мне очень по вкусу плоды».

Обед сопровождала бесценная «вода Нерона», которую мог себе позволить лишь император, и то – самодур: ее доставляли в жаркий Рим с горных вершин в обшитых верблюжьей шерстью сосудах. Мы обошлись льдом из холодильника.

Но главным лакомством трапезы предполагалась латынь. Я знал ее не лучше Онегина, хотя честно зубрил в университете, борясь с непобедимым, как Десятый легион, третьим склонением. Хорошо еще, что у Бродского были те же пробелы. Решив переводить элегиков, он для сверки взял у меня Проперция на русском и до сих пор не вернул.

Бродскому меню чрезвычайно понравилось, но в гости он не пришел. В тот вечер вместо обеденного стола его ждал операционный. Я знаю усатого медбрата, ассистировавшего хирургу.

– Мне довелось видеть, – говорил он всем, – сердце поэта.

В больнице, которая в Америке и без того – проходной двор, к Бродскому вела народная тропа. На стенах коридора висели бумажки со стрелкой и надписью «Brodsky». Даже в лазаретной распашонке из бумазеи в цветочек он не терял величия и напоминал Воланда перед балом. Возле койки сидела ослепительная, как Маргарита, девица, с которой Иосиф играл в шахматы.

Обрадовавшись принесенной елочке («в Рождество все волхвы»), Бродский поморщился, когда мы принялись хвалить только что прочитанного Борхеса.

– Великий мастурбатор, – сказал Бродский, и только годы спустя я догадался, как он умудрился объединить Борхеса с Дали: когда все можно, ничего не интересно.

3

Писать о еде мы принялись отчасти из ностальгии, отчасти – с похмелья. Чтобы нас не приняли всерьез, мы выпросили заголовок книги у довлатовской сестры Ксаны. Тем не менее, «Русская кухня в изгнании» была призвана служить оправданию

родины перед Западом. Уловив вызов, Бахчанян изобразил на обложке Алёнушку, примостившуюся на бутерброде из «Макдоналдс». У нее (я потом специально выяснил в Третьяковке) и без того глаза безумные, словно у вакханки – того и гляди растерзает братца Иванушку, привидевшегося ей козленочком. Но сидя на гамбургере, Аленушка вызывает жалость, как всякий соотечественник, которого Америка вынудила променять котлету, пышную от взбитого в пену мяса с мелко натертым луком в нежной мучной, а не грубой сухарной панировке, на туповатый бургер, хвастающийся, расовой чистотой: 100 % beef.

В книге мы с азартом защищали отечественные рецепты, выгораживая зону безопасного патриотизма вокруг форшмака из вымоченной в молоке селедки с яйцом и яблоком, рыбной солянки с каперсами, а не только маслинами, и запеченной в горшочке говядине с приправленной имбирем жидкой сметаной.

Родная кухня вместе с родной словесностью оседают на дно тела и души. Борщ и Крылов требуют своего и не унимаются, пока мы не отдадим им должного в меню и речи.

Конечно, с привитым в юности вкусом можно бороться омарами и диетой, но окончательно отделаться от него нельзя ни по эту, ни по ту сторону, в чем убеждает могила Бродского на Сан-Микеле. Самая оживленная на острове мертвых, она по обычаю скифов и варягов снаряжает поэта необходимым – шариковыми ручками, сигаретами, чужими стихами и его любимыми конфетами «Коровка».

«Русскую кухню» мы затеяли на манер советского отрывного календаря, помещавшего на обратной стороне листка уморительные рецепты, вроде «365 блюд из черствого хлеба». Но не желая, как он, жульничать, мы писали эту книжку сперва – на кухонном, потом – на обеденном и, наконец, – на письменном столе. Каждой главе предшествовал затейливый ужин с литераторами. Мы готовили домашний буйабес для взыскательного Леши Лосева, в благодарность написавшего предисловие к нашей книге. Мы делили барана с Алешковским, угощали Аксенова осетром из Гудзона, сочинили 100 витиеватых бутербродов для Синявского и накормили богатыми щами западника Вознесенского.

Чаще всего мы трапезничали с Довлатовым. Презирая кулинарные заботы на словах (невежда, кричал он на меня, любить можно Фолкнера, а не рыбу), на деле Сергей и сам был изобретателен в застолье. Так он придумал лепить пельмени, одевая фарш в тестяную рубашку дальневосточных дамплингов. Этот единственный удачный плод евразийской ереси превращал пир в субботник, которым мы наслаждались не меньше, чем

«Новым американцем». Приобретенные в нем уроки газетной верстки сказывались за готовкой. На кухне мы с Вайлем трудились слаженно, будто гребцы на байдарке.

Писать о еде оказалось еще интереснее, чем её есть и готовить. Уже в одиночестве я продолжил экспериментировать с гастрономической беллетристикой. Из слияния кулинарной прозы с путевой получился особый жанр с заимствованным у сказки названием – «Колобок». Легкий на ногу (если бы она у него была), он любит путешествовать и служит русским ответом быстрому питанию заморского фастфуда.

Сочиняя «колобки», скатившиеся в одноименный сборник, я каждый писал будто рецензию. Вычленял главных героев, изучал их предысторию, описывал центральную коллизию, перечислял художественные приемы, средства и цели, оценивал общий фон и вникал в настроение. На выходе я стремился получить иероглиф чужой кухни.

– Каждый, – обещал я читателю, – кто научится его читать, сможет побыть иностранцем.

Хотя бы – за обедом, потому что в любой стране завтракать лучше яичницей. По утрам даже опытный странник слаб, труслив и, как это случилось со мной на рассвете в токийском отеле, может не понять, откуда черные глазки у лапши, оказавшейся при ближайшем рассмотрении сушеными мальками.

Соблазн гастрономической эссеистики в том, что обычная проза предпочитает приключения духа, тогда как кулинарная позволяет высказаться молчаливому телу. Способная вызвать чисто физиологическую реакцию, вкусная литература содержит в себе неоспоримый, словно похоть, критерий успеха. Если, начитавшись Гоголя, вы не бросаетесь к холодильнику, пора обращаться к врачу.

Эрос кухни, однако, раним и капризен. Его может спугнуть и панибратский стёб, и комсомольская шутливость, и придурковатый педантизм – обычный набор пороков, которые маскируют авторское бессилие в кулинарной сфере, как, впрочем, и в половой.

Несмотря на общность цели – пробудить возбуждение, писать о сексе еще труднее из-за краткости сюжета. Я понял это, сочиняя в горячие 90-е годы колонки для русского «Плейбоя». Быстро исчерпав тему, я перешел к старинной японской прозе, правда, женской. (Меня выручили характерные для того времени обстоятельства: журнал расторг контракт, когда редактора выгнали, а издателя убили.)

Зато кулинарная тема неисчерпаема, как жизнь, природа и остальное мироздание. Свято веря, что лучше всего мы можем

постичь его съедобную часть, я все еще пишу о еде с бóльшим трепетом, чем о любви и политике. Вторая всегда проходит, третья – никогда, и только первая не теряет румянца и оптимизма.

4.

«Русская кухня в изгнании» не отравила никого, кроме авторов. Заслонив все написанное, она выдавала себя за шедевр, не уставая издаваться и переводиться.

– Это как Шерлок Холмс, – утешал Довлатов.

– И так же глупо, – бушевал я, – как хвалить сыщика за игру на скрипке.

Не придумав выхода, мы смирились, поняв, что глупо спорить с успехом. Причину его следует искать не в писателях, а в читателях, которым беззастенчиво льстит эта книжка.

– Раз на чужбине, – говорит она, – нельзя обойтись без родины, значит она – магнит. Кулинарная ностальгия сковывает беглеца с отечеством, не давая из него сбежать совсем и навсегда.

Я и не пытаюсь.

– Что вы больше всего любите? – спросил меня интервьюер.

– Свежий батон и жареную картошку, – честно ответил я, подписывая распухшее за счет картинок юбилейное издание «Кухни».

Именно оно свело нас с Вайлем в последний раз на московском фестивале, где мы варили публичную уху из пяти рыб. После выступления к нам за автографом протолкалась столь очаровательная поклонница, что мы не поверили своему счастью и правильно сделали.

– Мама послала? – напрямую спросил Петя.

– Бабушка, – поправила его девица, и мы догадались, что пришла старость.

Но тогда, в середине 80-х до нее было далеко, и «Русская кухня» казалась промежуточным финишем. Затянувшееся прощание состоялось и, рассчитавшись с родиной по всем долгам – от борща до Пушкина, мы приготовились к другой – американской – жизни, что бы это ни значило и чего бы это ни стоило.

Вот тут-то, как всегда некстати, в планы вмешалась советская власть: она пошатнулась. В России началась перестройка и, что куда важнее, гласность, грозившая отменить смысл нашего пребывания за границей.

Третий берег

Брайтон-Бич, *или* Гости

В начале было слово и слово было «гласность». Каждый понимал его по-своему, но все произносили с надеждой. Прелый социализм отличался от зрелого тем, что дела окончательно заменились словами.

– Мантра важнее сутры, – рассуждали философы партаппарата, – мир не поддается толкованию, но его можно заклясть, озвучивая магическую, как «ом мани падме хум», ритуальную формулу, перед которой не устоит реальность: «Экономика должна быть экономной».

Привыкнув мерить прогресс тем, что позволяли публиковать власти, каждый устанавливал планку гласности по свой вере. Бродский объявил, что публикация полного Платонова навсегда изменит русскую жизнь. Солженицын считал, что такое произойдет, когда напечатают полного Солженицына.

Пока этого не произошло, советская пресса все равно упивалась свободой. Ведя фронтальную борьбу с цензурой, редакторы защищали фланги от рвущих подметки конкурентов. На поле боя стало тесно, и редакторы стремились ко всякому вольному слову, очертя голову и теряя ее. Возможно, поэтому я удостоился чести напечататься с Синявским в одном выпуске газеты. Называлась она «Советский цирк». Кумир эзотерической интеллигенции Сергей Аверинцев выступил с новым переводом Евангелия в журнале «Литературная учеба». Из-за наплыва авторов, помимо Марка, публикация шла с продолжением, и читатели с нетерпением ждали, чем все кончится. Но Большой Бертой гласности стал роман «Дети Арбата».

– Чтобы полностью удовлетворить спрос, – пугали читателей реакционные эксперты, – надо свести на целлюлозу все леса, не исключая Беловежской пущи.

За маршем гласности следили с одинаковым азартом по обе стороны ржавеющего Железного занавеса. И чем быстрее он разрушался, тем важнее становился вопрос: зачем нам Запад, если им становится Восток?

Оценивая свободу запрещенными книгами, мы млели от сладкого ужаса, предвидя момент, когда их не останется вовсе и опустевшее коромысло весов взмоет к небу, открыв границу и для нас. Готовясь к этому часу, советская власть пригласила эмигрантов к себе – еще не в Москву, но уже в Вашингтон. От

других представителей общественности мы отличались тем, что Вайль явился в советское посольство без галстука, а я сидел в приемной, разинув рот. Роскошный особняк, некогда принадлежавший строителю мягких вагонов Пульману, украшала единственная картина, и я вникал в ее сюжет, пытаясь понять, что она здесь делает. В степи замерзал ямщик. Заснеженные просторы не радовали глаз и ограничивались богатой рамой. На фоне бесконечной природы ямщик казался гномом, лошадь – пони, ситуация – безнадежной.

– Кто автор? – не выдержав, спросил я шепотом секретаршу.

– Забыли, видать, родину, – звонко ответила она, – Айвазовский.

– Но он же море рисовал?

– Только летом, – вывернулась она и проводила в кабинет.

– Миру – мир, – произнес посол, открыв аудиенцию.

– Шалом, – ответил за всех издатель бруклинской газеты, отличавшейся тем, что она поздравила с Нобелевской премией другого Бродского, жившего на Брайтон-Бич авеню и подписывавшегося Шурик.

– Родина, – поморщившись продолжил посол, – готова закрыть глаза на прежние ошибки, признать в эмигрантах соотечественников за рубежом и устроить вам Русский дом любви, за ваши, разумеется, деньги.

Соотечественники приосанились, а я задал давно заготовленный вопрос:

– Когда гласность доберется до Солженицына?

– Солженицын, – развел руками посол, – целая держава, и мы будем строить с ним отношения, как одно государство с другим.

Я не понял, что это значит, но мне объяснил Бахчанян.

– Александр Исаевич, – предположил Вагрич, – вернется домой тогда, когда в отечестве его напечатают повсюду, в том числе и на деньгах.

2

Наши еще не добрались до родины, но она зачастила к нам. Первыми в Америку прорвались родичи. Поскольку мы прощались навсегда, их встречали как любимых зомби. Они тоже отличались зверским аппетитом и сметали все, предпочитая электронику, особенно – видеомагнитофоны, позволявшие, наконец, посмотреть запрещенное властями кино – Антониони, Феллини, «Глубокую глотку». (Книги брали неохотно, даже писатели: Битов – только свои, Рейн оставил и подаренные).

На второй раз радость встречи с близкими утихла, на третий – иссякла, на четвертый гостей стали звать пылесосами, уменьшительно – совки, хотя никто еще не вкладывал в этот долгоиграющий термин ничего обидного, кроме безразмерной любви к американскому ширпотребу. Моей теще, однако, он не приглянулся.

– В Америке слишком много товаров, – сказала Елизавета Спиридоновна, поджав губы.

Надувшись, она сидела дома, приводя в порядок наше безалаберное хозяйство. Теща варила борщ, убирала квартиру и столько стирала, что я спрятал мыло. По вечерам она смотрела по телевизору фигурное катание, жалея, что его редко показывают. Когда теща все-таки выбралась на улицу, экспедиция чуть не окончилась обмороком. Зная, что она совсем не понимает английского, я боялся отпускать ее одну, но она меня успокоила.

– Один не говорит, другой не говорит, но уж третий точно поймет по-человечески.

Час спустя теща вернулась.

– Вы не поверите, – заикаясь от пережитого, с трудом выговаривала она, – захожу в лифт, а там негр.

– Ну, – заторопили мы ее, подозревая худшее.

– Я же говорю: захожу в лифт, а в нем негр. Черный, как сапог.

– А дальше?

– Вам мало? Хорошо еще, он на пятом вышел.

Если родственники стали неизбежным добром, то неизбежным злом были писатели. Они шли стеной и кучковались вокруг «Свободы», где тогда, вопреки американским правилам, платили гонорар за интервью. Понятно, что на антисоветское радио приходили либералы, кроме одного еврея-почвенника, который считал необходимым построить цементный завод на азовском пляже.

– Мы вам – не Берег Слоновой Кости, – горячился он, – и не позволим превратить Россию в курорт.

Остальные вели себя в студии вальяжно.

– Миру – мир, – говорили они в микрофон, а дальше я не слушал, ибо читал те же газеты и знал, что мои собеседники не превысят разрешенного уровня гласности, уже добравшейся до Бухарина.

Сказав положенное и получив причитавшееся, гости охотно выпивали в кабинете Гендлера, всякой закуске предпочитая мучнистые бананы, отдаленно напоминающие вареную картошку. К нам они относились хорошо и снисходительно.

– Вижу тянет тебя, шельму, домой, – говорили они после

четвертой.

Хуже, что все писатели просили меня показать Нью-Йорк, и я знал, что это значит. Достопримечательности согласились осмотреть самые первые – делегация литературных дам с шестимесячной завивкой и скромным орденом «За дружбу народов» в лацкане двубортного пиджака. На музей «Метрополитен» они обиделись, не обнаружив в нем передвижников.

Следующие гости, понаторев в заграничной жизни, уже не давали себя надуть. Небоскребы они видели с самолета, статую Свободы продавали на каждом шагу, музеи есть хоть и в Кинешме, а в секс-шоп сподручней заглянуть без провожатого.

– Нью-Йорк, – твердо знали они, – начинается с Брайтон-Бич, и не побывать там так же глупо, как вернуться домой без видеомагнитофона.

Зная маршрут наизусть, я вел экскурсию по Брайтону, останавливаясь у всех магазинов. Максимальный энтузиазм вызывали доморощенные вывески с орфографическими ошибками, в стихах и с вызовом.

– Нашими пережками, – гласила одна, – Горбачев кормит голодную перестройку.

Не позволяя разменять аппетит, я вел их в ресторан-старожил «Одесса». Вечером там гремел оркестр «Молдаванка», замолкавший лишь для того, чтобы уступить эстраду московской негритянке Елене Ханге, которая временно перебралась в Америку и пела на Брайтоне нескромные куплеты с группой «Канотье». Но днем в «Одессе» было достаточно тихо, чтобы делиться впечатлениями под солянку, пельмени и водку «Смирнофф», соблазняющую американским окончанием.

Всех без исключения Брайтон-Бич повергал в сладкий ужас.

– Местечковый рай, – говорили прозаики.

– Освенцим духа, – соглашались поэты.

– Капитализм с нечеловеческим лицом, – вторили публицисты.

Зато драматурги мотали на ус молча, собирая материал для «Одессы без границ», искрометного шоу с песнями и плясками.

– Брайтон, – объясняли мне гости, – справедливая расплата за ветчинно-рубленый ассортимент гастронома «Интернационал». Кому нужна свобода, если она ведет на Брайтон-Бич?

– Мне, – злился я и оставался в дураках, вынуждая себя защищать то, что и сам терпеть не мог.

Со временем, правда, все устаканилось, и мы научились не ругаться. Во всяком случае, с тех пор, как перебрались к Римме в ресторане «Кавказ», который мой приятель переименовал в

«Кафказ». Абсурдным здесь было не меню, а посетители. Говоря на одном языке одно и то же, мы не понимали друг друга, и я не знал, почему, хотя мне это объясняли на пальцах.

– Эмигранты, – говорили мне гости, – выбрали легкий путь, уклонившись от борьбы с реакционным крылом партаппарата, не признающего заслуг Бухарина и не желающего сделать экономику экономной. Проще говоря, сбежав с родины, вы лишились права на ее читателей.

– Хорошо бы их спросить, – робко защищался я, но приезжие знали лучше.

3

Из гостей мне трудней всего было понять того, кто мне нравился больше других. В его книгах меня завораживала метафизика советской власти, которую старшие искали у Трифонова. У Маканина она, как и положено, начиналась со смерти, которая прекращала споры с властью и открывала диалог с живыми.

Познакомившись поближе, я узнал, что у Маканина все получалось и помимо литературы: кино, шахматы, рыбалка, садоводство. Водку он пил маленькими рюмками и напоминал дореволюционного интеллигента, имевшего кроме убеждений профессию. Не путая, как это случалось со мной, находчивость и остроумие с тщательностью мысли, он умел быть серьезным, но не всегда, о чем можно судить по еврейскому вопросу. Его поставила ребром поэт и патриот Татьяна Глушко.

– Гласность, – писала она, – должна быть сплошной, а не избирательной. Поэтому пусть Союз писателей откроет свои архивы, чтобы все знали фамилию и национальность не только отцов наших авторов-либералов, но и их матерей.

Начать Глушко хотела с Маканина, внушавшего ей сильные подозрения. Владимир Семенович долго колебался и отнекивался, но, наконец, сдался под напором и разрешил администрации Союза напечатать свою анкету. В графе «Фамилия матери» стояло Глушко.

Математик по образованию и поведению, Владимир Семенович обладал аналитическим талантом, который выделял его из писательской массы в тревожных и незнакомых обстоятельствах.

– Власть, расчувствовавшаяся от гласности, – рассказывал он, – отправила писателей на заграничном теплоходе по Средиземному морю, но путешествие портила мучившая нас

тайна.

– Какая? – встрял я, – Про этрусков? Или Атлантида?

– Ну, это вопросы для пионеров, – ухмыльнулся Маканин, – мы же пытались понять, почему порции большие, еды – вдоволь, и никто её не ворует. Почвенники объясняли это показухой Запада. К кухонному персоналу камбуза, утверждали они, приставлен особо строгий контроль, чтобы пустить нам пыль в глаза. Западники, как им свойственно, фантазировали о Западе. Он так богат, говорили они, что сколько ни воруй, все равно остается больше, чем мы привыкли.

– И кто победил в этом вечном русском споре?

– Я, – скромно сказал Маканин, – дала знать научно-техническая подготовка. Писатель ведь шпак, если и инженер, то человеческих душ, а тут нужно трезвое мышление. Еду не воруют, потому что за бортом – вода, а в каюте испортится.

– Но ведь здесь, – удивился я, – и на суше еду не крадут.

– Я знал, – мирно отмахнулся Маканин, – что эмигранты теряют способность к критической оценке действительности.

Несмотря на разногласия, мы с ним дружили, не прекращая спорить. Маканин не говорил «миру – мир». Напротив, мир ему представлялся ареной вечной борьбы, в которой каждая страна, а не одна Америка, стремится занять как можно больше места.

– Народы, – говорил он, – как микробы, распространяются по всему свету, пока их не остановят другие.

– Значит ли это, что Америка в глубине своей вероломной души мечтает захватить Канаду?

– Бесспорно, но это не злая воля, а необоримый геополитический инстинкт.

– А Мексику?

Маканин замялся и перевел разговор на литературу. Нам обоим нравился его рассказ «Кавказский пленный». В нем матерый русский солдат берет в плен юного чеченца, чья красота не оставляет его равнодушным.

– Дальше, – рассказывал Маканин, – я хотел объяснить противоестественное влечение моего героя тем, что на самом деле кавказский пленный был переодетой девушкой, спрятавшей кудри под мохнатой шапкой. Оттягивая развязку до последнего, я закончил рассказ тем, что солдат вынужден убить свою жертву, не переставая ее любить.

– А кудри?

– Они не пригодились, потому что иначе вместо летальной любви вышла бы оперетта.

Рассказ покорил Америку и вышел в трех переводах. Маканина пригласили выступить в нескольких клубах Нью-Йорка

и Сан-Франциско. Наслаждаясь бесспорным успехом, он удивлялся тому, что среди любителей русской словесности столько небрежно одетых молодых людей в черных кожанках на голое тело.

Москва, *или* В гостях

«Растаможка и Обезличка», – прочел я в Шереметьево и не понял, хотя к этой поездке готовился, как ни к какой другой.

– Радио «Свобода» вас не оставит, – со знанием дела обещал Юра Гендлер, – сначала будете сидеть под аккомпанемент правозащитников, а как шумиха стихнет, так в лагерь переведут, но зато – на родине.

– В Коми? – удивился служивший там Довлатов, – они же из Риги.

– Один черт, – подытожил Парамонов, – хрен редьки не слаще.

Не то, чтобы мы не боялись, еще как. Но соблазн оказался непреодолимым.

– Коммунизм, – писали оставшиеся в СССР друзья, – дышит на ладан, и вы не успеете забить свой гвоздь в его гроб, когда начнется свобода.

Она, собственно, уже началась, хоть и не везде. Нас уже печатали в ленинградской «Звезде» и рижской «Атмоде». Но это было лишь начало ослепительного марша к славе, который нам прочила Юнна Мориц. Старинная приятельница Довлатова, автор чудных детских стихов и прораб перестройки, она завезла в Америку благую весть о вольной печати.

– Свобода, – объявила она, – приходит на двух ногах.

– Демократия и рынок?

– Почти: ум и капитал, и объединяет их первое частное издательство «Писатель и кооператор», сокращенно «ПИК», на который мы взберемся с вашими книгами.

– Я предпочитаю государственные издательства, – обаятельно увернулся Довлатов, – хочу получить сдачу там, где обсчитали.

Но мы, мы были в восторге. Свершилось то, о чем не смели мечтать: у нас появился шанс выложить все, что зачали и выносили за 13 лет эмиграции.

– Родная речь одумалась, – шептал тщеславный внутренний голос, – и зовет всех обратно. Два русла русской словесности сливаются в один могучий поток, и мы будем в обоих – как Бунин, как Седых, как Набоков. Вместе с нами вернутся наши книги – одна, другая, третья, четвертая, даже пятая, еще не написанная.

– Хватит с вас рецептов, – брезгливо окоротила нас Юнна

Мориц, но мы соглашались на все, ибо, наконец, узнали, зачем уезжали: чтобы вернуться.

И вот я здесь. Пугливо обойдя «Растаможку», мы с трудом погрузили в такси чемоданы с подарками. Заранее предупрежденные, мы везли в Россию примерно то, что вывозили из нее: растворимый кофе, твердый сыр, твердую колбасу, колючий ананас для детей. Не скрою, что среди подарков было мыло.

– Не хватает одеял и бисера, – обиделся товарищ, но дары принял.

От первой встречи я ждал шока, подобного тому, что пережил, попав на Запад, и зря. Возвращение оказалось будничным. Сначала меня удивляло, что кругом все говорят по-русски, как на Брайтоне. Но через пять минут я привык, через десять – усомнился в том, что бывает иначе, через пятнадцать забыл про Америку и почувствовал себя своим, только странным – как Рип ван Винкль.

– С чего начнем? – спросила красивая и незаменимая проводница Оля Тимофеева, с которой нам повезло подружиться еще в Нью-Йорке.

– Прошвырнемся по магазинам?

– Разве что книжным, – пыталась остановить нас опытная Оля, – в другие заходить не за чем.

Я настоял, не поверив, и мы отправились в просторный универсам на Новом Арбате. Он производил такое же сногсшибательное впечатление, как венский супермаркет, но, разумеется, наоборот. На полках и прилавках, в холодильных шкафах и стеклянных стеллажах не было решительно ничего, совсем и давно. Точнее, обойдя оба светлых этажа, мы обнаружили ровно один товар:

– Marrutki, – прочитал я латышскую этикетку на стеклянной баночке с тертым хреном.

Сгрудившиеся у кассы продавщицы, как часовые у пустого склада, стесненно улыбались, не зная, зачем стоят.

– Аскеза, – выдавил я, – пир духа.

– Типун тебе на язык, – ответила Оля, умудрившаяся спечь из одолженной муки торт в 12 слоев, как в «Праге».

Люди попроще жили собирательством и охотой. Сушили грибы, закатывали в банки щавель и бродили с авоськой по магазинам, подстерегая редкую добычу, все равно – какую. Новомировский критик Сергей Костырко кормился морковкой, Окуджава – гречкой, соредактор «Звезды» Яша Гордин умел готовить ячневую крупу, и лишь Валера Попов жил на широкую ногу. В квартире на Невском он держал ларь картошки, которой

мы закусывали настойку на тархуне.

Зато у Попова собралось такое общество, что я вертелся, как д'Артаньян у господина де Тревиля. За зеленой водкой, в дыму вонючей «Примы», при свете последней неперегоревшей лампочки шутили и переругивались мушкетеры богемной словесности – Уфлянд, Арьев, Вольф. Зная их по именам и от Довлатова, я радостно хмелел, выпивая с каждым. Ведь в Риге не было литературной среды, за исключением автора производственного романа о передовом ткацком станке, прозванном «Прекрасная Марианна». Не удивительно, что я набрался.

Следующим утром мы явились на фотосессию к мастеру элитного портрета Валерию Плотникову, чью подборку перестроечных знаменитостей печатали и нью-йоркские журналы. Нам не сразу удалось найти мастерскую. Монархист и стародум, Плотников объяснял дорогу, пользуясь прежними названиями улиц.

– Главное в фотоделе, – предупредил он нас, – цвет лица. Советую провести предыдущий день в лесу, в крайнем случае – на реке, тяжелого не есть, лечь пораньше, газет не читать.

Когда Плотников, открыв дверь, взглянул на позеленевшие от тархунной настойки физиономии, он взвыл, не поздоровавшись:

– Я же просил! Хоть бы закусывали.

– Так нечем.

– В России полно клюквы.

Не в силах исправить убитую ночь, он поставил нас к стенке. Грубо оштукатуренная, она искусно создавала рельефную фактуру задника. Усадив Вайля в ампирное кресло и поставив меня за ним, Плотников создал устойчивую, как пирамида, композицию: корпулентный Вайль походил на Крылова, я – на Дуремара.

Небрежно щелкнув, мастер быстро попрощался – в ванной уже красились девицы в мини-юбках и оренбургских платках для аэрофлотского плаката. А через полгода нью-йоркский почтальон принес слипшийся пакет, обклеенный марками с рязанским кремлем. Внутри были 10 коробок клюквы в сахаре.

2

В 1990 году русским читателям меньше всего нужна была кулинарная книга. И все же писатели, объединившись с кооператорами, отпечатали «Русскую кухню в изгнании» в хозрасчетной типографии Молдавии.

В Москву «Кухня» пробиралась, как в гражданскую войну – рывками и с жертвами. В Приднестровье женщины ложились на рельсы, чтобы не пропустить состав, вывозивший по слухам зерно для москвичей. На самом деле даже тараканы не могли бы найти съестного в вагоне, потому что странички с трудом скреплял синтетический клей, а не мучной клейстер, который умела варить моя бабушка. Обложка была той же, бахчаняновской. Но по пути к родине Аленушка выцвела и осунулась, краски смешались в пожухлую радугу, бумага была серой, шрифт – тоже. Зато таких книжек вышло 20 тысяч, и мы не могли бы усадить всех покупателей за одним столом, как это удавалось сделать в эмиграции.

В «ПИКе» нас встретили радушно. Писатели и кооператоры, которых мы не могли отличить друга от друга, строили планы духовной и взаимовыгодной дружбы. В залог ее нам выдали половину гонорара, до верху заполнившего припасенную по старой памяти авоську. Деньги были напечатаны на той же бумаге, что и наша книжка. Вместо Алёнушки их украшал двоившийся от скверной печати Ленин.

Гуляя по Москве с авоськой рублей, мы обнаружили, что они никого не интересуют. Часть гонорара нам удалось обменять на заболоченный яблочный сок, часть – на уже знакомую тархунную. Остаток мы отнесли в Центральный дом литераторов. Неприступная крепость словесности, ЦДЛ в эти голодные времена стал ее чревом: в подвале разводили шампиньоны. Наших денег хватило на банкет в парадном зале с дубовыми стенами. В нише стояла мраморная статуя. Я думал Ленин, оказалось – муза.

Несмотря на роскошь, вечер начался со скандала. Виталия Товиевича Третьякова, возглавлявшего тогда лучшую – «Независимую» – газету, не впустила гардеробщица, потребовавшая, чтобы он положил мокрые галоши в полиэтиленовый мешок. У него мешка не было, а у меня был, и я спас положение.

Не считая музы, за столом собралась сотня гостей с детьми, домочадцами и труппой, снимавшей документальный фильм с простодушным названием «Генис и Вайль в Москве». Съемки велись в музее Гоголя, где мне разрешили поворошить кочергой в камине, где, возможно сгорел второй том поэмы «Мертвые души».

По вечерам я казался себе одним из ее персонажей, но по утрам, истощенный расписанием в три пьянки за день, я напоминал Воробьянинова. Зато Вайля, как Остапа, несло. Он выстраивал кавалькаду из таксистов, подкупал официантов, дружил со швейцарами и очаровывал редакторов. Приходя к одному, Петя тут же звонил следующему, так что журнальная

жизнь разворачивалась веером, который к третьей неделе стал казаться мне бесконечным.

Нас всюду встречали по чину, которого мы еще не успели заслужить, но обещали постараться, особенно в том толстом журнале, где печаталась не только правда, но и изящная словесность. На встрече с его сотрудниками в величественном кабинете с пятиметровым потолком нас угостили кофе с коньяком, других – с сахаром, третьим не предложили стульев. Вооруженные припасенной специально для этого случая рукописью, мы предложили снять с нее ксерокопию, но осеклись, вспомнив, что в наше время за это сажали. Поняв природу нашего смущения, редакция расхохоталась.

– Одно слово – американцы, думают, что в Москве медведи ходят, а в Кремле Сталин сидит. Сейчас наберем Петра Сидоровича, он подпишет разрешение, возьмем в копировальном отделе ключи от ксероксной, и уже завтра-послезавтра все будет готово.

Мы извинились за то, что недооценили темпы перестройки. Она зашла уже так далеко, что нас всюду просили писать, обещая расплатиться славой. СССР еще не знал, что доживает последние дни, и гласность наслаждалась новой свободой и старыми тиражами. Становясь смелее от номера к номеру, журналы расходились миллионами. На книги не хватало бумаги. Некоторые, чтобы больше влезло, печатались как телеграммы – без знаков препинания.

Дефицит, впрочем, был неразборчивым. На «Мосфильме» не снимали фильмов. Там не было и лампочек, поэтому женский персонал, остерегаясь истощавших в перестройку крыс, выходил в коридор в сопровождении отставников-афганцев.

3

Для меня все это было не важно. Я впервые попал в измеряющуюся миллионами литературную жизнь, после которой наша, эмигрантская, казалась кукольной. Каждый день мы встречались с читателями, и их было столько, что я робко оглядывался, боясь, что нас принимают за других.

С писателями все обстояло еще сложнее. Мне не верилось, что я пью водку с небожителями. Окуджава был нашим Пушкиным, Искандер – Шахерезадой, и только Сорокин – не известно кем.

Хотя я прочел каждую его строку и написал обо всех, мне не удавалось представить себе автора, у которого, как у Фантомаса,

нет своего лица.

На самом деле оно было, да еще какое. Даже без шпаги Сорокин походил на Атоса: красив, задумчив, молчалив. Мы встретились в отеле «Пекин», в номере с балдахином, графином и неизбежной «Аленушкой». К тому же, в гостинице на каждом этаже сидела не спавшая всю ночь коридорная. Наша стерегла открывашку для «Нарзана».

Сорокин цедил слова. Отчаянно заикаясь, он говорил важное и коротко.

– В раннем детстве, – рассказывал Владимир, – в нашем дворе была открытая выгребная яма, омерзительная, но и отойти трудно. Так и живу.

– А не пугает?

– Когда пишешь, не страшно. А если посадят, то в зоне узнаю новые слова.

Собственно, все мы не умели прожить дня, не поделившись очередной гадостью власти. Но Сорокин не видел выхода. Хотя его мир тоже делился на два, ни в своем, ни в заграничном не находилось постоянного места, и с этим вынуждены были считаться его читатели.

– Мы, люди – пациенты онкологического отделения. В одной палате – цветы, медсестры улыбаются, в другой – окна с решетками и санитары с наколками, но конец один, и это единственное, что мы знаем наверняка.

– Метафизика рождения и смерти, – поддакнул я, чтобы что-то сказать.

– Про первое, – возразил Сорокин, – нас никто не спрашивал, – а от второй мы всю жизнь пляшем.

Для пессимиста и скептика он писал слишком темпераментно, и я не все его книги давал жене, чтобы не пугать кошмарами, от которых не мог оторваться, как автор – от той самой ямы.

– Как Сорокин не боится? – удивился Синявский, зная по опыту, что написанное имеет обыкновение сбываться.

– Чепуха, – отмел вопрос Сорокин, – буквам не больно.

Перед отъездом мы решили устроить отвальную, и пришли в «ПИК» за второй половиной гонорара. На этот раз мы взяли специально купленную для денег клеенчатую сумку с олимпийским мишкой. Но издательство – и люди, и офис с табличкой на двери – исчезло вместе со всем нам причитающимся. Ни писателей, ни кооператоров, ни Юнны Мориц, которая свела нас с ними, я больше не встречал. Что, надо сказать, не отразилось на судьбе «Русской кухни в изгнании». Эту заразную книгу не устают издавать, иногда не спрашивая авторов.

С трудом вернувшись в Нью-Йорк, я понял, что Россия, как айсберг – в «Титаник», врезалась в жизнь, перевернув ее на попа.

СПб,
или
После бала

Вернувшись из отечества, мы почувствовали, что соавторство стало нас тяготить, как нагота – Маргариту после бала у Воланда.

На то были мириады причин, но главная скрывалась от нас обоих. Теперь я думаю, что за 13 лет (столько же писали вместе Ильф с Петровым) наша парная личность просто сносилась от безжалостной эксплуатации. Маска была уместна на карнавале, но следующим утром она выглядела глуповато.

– Праздник чувства окончен, – любил с надрывом цитировать Надсона мой отец, убирая со стола пустые бутылки, – погасли огни, сняты маски, и смыты румяна; и томительно тянутся скучные дни пошлой прозы, тоски и обмана.

Литература была нашим капустником и субботником, и мы категорически отказывались принимать ее и себя всерьез. Нас звали «ребята» и никогда по отчеству, ибо у Вайля не было костюма, а у меня и пиджака. Но когда у Пети поседела борода, а мой сын пошел в школу, богемный статус стал натужным и нарочитым. В детстве я видел, как взрослые танцевали твист: они плясали слишком старательно.

Не обошлось и без советской власти. Сходя на нет, она умирала, как мы жили: хихикая и ёрничая, особенно – в отвоеванных у партии газетах. Лучшая из них – «Независимая» – выходила под тацитовым лозунгом «Sine ira et studio» и печатала не только актуальное, но и сокровенное. Например, занявший целую полосу виртуозный психоаналитический этюд, в котором автор, Борис Парамонов, выступал в своем излюбленном жанре «парад эрудиции». Опус назывался «Говно» и не оставил никого равнодушным.

Как и для перестроечной прессы, соавторство для нас было стёбом: продолжением свободной пьянки на территории солидного противника. У этого досуга, однако, оказались серьезные последствия, и я говорю не о книгах. Соавторство подразумевало (1) общность реакций и впечатлений, (2) симметрию поведения, (3) неизбирательное сродство и (4) взаимозаменяемость.

Первое означало, что нельзя писать одно, а думать другое и по-разному. Второе требовало от меня целовать дамам ручки, если так поступал подлиза Вайль. Третье объяснялось тем, что нам нравилось то же самое: еда, античность, смешное. В-

четвертых, практика выковала общий стиль, которым мы пользовались по очереди, с трудом отличая себя от друга.

От всего этого Довлатов приходил в ужас, считая преступлением делить, а не умножать личность. Сам он не любил псевдонимы и лишь в исключительных случаях подписывался инициалами С. Д.

– Все, что не есть Я, – то кричит, то шепчет его проза, – мне не принадлежит и читателей не касается.

Тем с большим неодобрением Довлатов следил за тем, как, веселясь и ухая, мы добровольно отдаем половину себя другому.

– Это все равно, – ворчал он, – что делить невесту.

Кроме того, мы уже написали то, что собирались, и немало из того, что хотели. Теперь нам предлагали тиражировать жанр и сочинять все, чего от нас ждали: вторую «Родную речь», не говоря уже о «Русской кухне».

Более того, мы добились своего. Однажды нас узнали на улице в Париже. Патриоты напечатали фельетон «Барыги с Брайтон-Бич». В русском Нью-Йорке нас дразнили, пародировали и путали.

– Умно, – хвалил Дмитрий Александрович Пригов, – двоих запомнить легче, чем одного.

– Какой у вас маркетинг? – интересовался изощренный филолог Жолковский, от которого я впервые услышал это слово.

Говоря короче, мы слили две фамилии в одну, и нам она надоела. Но разлепиться оказалось труднее, чем сойтись. Вначале-то мы ничем не рисковали, теперь нам мешала конкуренция: общее наследство в шесть книг, одна из которых вышла тиражом в 100 тысяч и была рекомендована средним школам, видимо, для изготовления шпаргалок.

– Раньше был один писатель, – нашелся Петр, – теперь их стало трое: Вайль-и-Генис, Вайль, Генис. Первый бросал вызов остальным, и прежде всего мы постарались разойтись подальше. Вайль решил полюбить джаз, я – одиночество.

Мне было проще. Всю жизнь я обходился без записной книжки, редко звонил и не писал письма, а только подписывал их. В нашем камерном государстве обходительный Вайль был министром внешних сношений. Я все еще прятал застенчивость разночинца за хамоватыми манерами и вступал в общение после Петиной увертюры – на все готовое.

Но теперь демократия кончилась, я стал абсолютным монархом себя, и это значило, что молодость прошла. Она и так тянулась дольше, чем положено.

И тут позвонил телефон.

– Сэр Майкл, – представились на другом конце.

– Сэр так сэр, – глупо ответил я, подозревая, что мне что-то продают.

Но Майкл и правда был сэром, как положено называть лордов в той стране, что позвала меня в жюри премии Букер. Мне в нем очень понравилось. Слева сидел академик Иванов, который всё знал, справа – Булат Окуджава, которого все знали, напротив – сразу два лорда и между ними их шофер с черными ногтями. Он стрелял сигареты то у правого, то у левого лорда, что привело меня в демократический экстаз.

– Английский плебс, – говорил я себе, – не вешал свою аристократию, а сравнялся с ней достоинством.

Беседа, естественно, шла о литературе. Англичане хотели про Афган, Окуджава настаивал, чтобы премию получил фронтовик, Иванов болел за полиглота, я – за Сорокина, про которого не хотели и слушать. Зато мне удалось пропихнуть Пелевина, получившего за сборник рассказов «Синий фонарь» малого Букера – на вырост. Спонсором премии был тот самый шофер, Фрэнсис. Он оказался сыном Грэма Грина и водил не только машину, но и собственный самолет, на котором прилетал в Москву, где его ждала любимая женщина трудной судьбы, жившая на Второй улице Восьмого марта.

С Пелевиным я познакомился позже, в московском ресторане, прикрывавшем кулинарное убожество стёбным, как все тогда, меню. На обед Виктор заказал три порции «Государственной премии» и рассказал о своем методе работы.

– Водка и велосипед, – объяснил он, – выпиваю маленькую, качу в лес, падаю в траву и наблюдаю жизнь насекомых.

На прощание мы сфотографировались. Перед камерой Пелевин прихорошился: надел зеркальные очки и замотал лицо шарфом.

– Человек-невидимка? – спросил я.

– Если бы, – вздохнул Виктор, искавший популярности от обратного.

Букеровская премия привела меня в осенний Питер и бросила там одного на целую неделю, которую я поделил между гостеприимным Арьевым и неотразимым городом. Второй начинался прямо за окном первого: видом на канал Грибоедова у Спаса-на-Крови.

– Сейчас еще ничего, – бодрился Андрей, – но в белые ночи жизни нет. Каждые полчаса нас будит рыдающий голос экскурсовода: «И тут злодейская рука террориста оборвала жизнь любимого государя».

В остальном Арьев был самым терпимым из всех знакомых мне писателей. И самым молчаливым тоже. В застолье Андрей редко солировал и не мешал это делать другим. Но именно над его шуткой на следующий день досмеивались гости. Как-то мы обсуждали горячие научные проблемы в смешанной русско-американской компании.

– Вот вам в Америке ничего не говорят, – упрекал нас московский журналист, – а в «Комсомольской правде» уже объявили о рождении клонированного человека.

– Иначе и быть не может: «Россия – родина клоно́в», – заключил Арьев, переиначив анекдот о слонах времен борьбы с космополитизмом.

– А то, – согласился журналист, слишком молодой, чтобы помнить нюансы предыдущей эпидемии патриотизма.

В другой раз мы с Арьевым были на симпозиуме в Лас-Вегасе. Как известно, в этом городе есть архитектура на любой вкус – от египетских пирамид до венецианских палаццо. Из уважения к заморским гостям местный университет, богато живущий на прибыль с рулетки, поселил нас в отеле, замаскированном под высотный терем. На утро после банкета помятые гости испуганно лупились на пряничные наличники и пестрые купола.

– «Москва – Петушки», – окрестил мизансцену Арьев.

А недавно, и не от него, я узнал, что в Пасху Андрей навещает питерскую тюрьму, чтобы передать заключенным, как это водилось еще до революции, пироги и книжки.

3

В Петербурге меня настиг момент истины, но я не понял – какой.

Впрочем, той по-прежнему голодной осенью 1993 года этого никто не знал наверняка. Советская Россия вмещалась в антисоветскую, как круг в квадрат, отчего по углам оставалось лишнее место.

– Нужны колхозы? – спрашивали у американского эксперта и нобелевского лауреата.

– Не знаю, – отвечал тот, – главное – раздать собственность.

– Кому?

– Не знаю, – опять говорил эксперт, – разыграйте в лотерею, любой хозяин будет лучше государства.

Общественность ему не верила и настаивала на строительстве новой экономики по шведскому образцу.

– Не выйдет, – твердил эксперт, – в России слишком мало

шведов.

Устав спорить о том, что делать, народ перешел к вопросу, кто виноват.

– «Эльцин мразь – с России слазь», – прочел я на плакате у боевитой старушки. Оборотное Э намекало на еврейское происхождение президента и ставило на нем точку.

Не ввязываясь в споры, я молча свернул в сторону, продолжая свой тихий роман с Петербургом. Он вынудил меня впервые в жизни затормозить, чего я ему никогда не забуду. Каждое утро я выбирал себе улицу и осматривал её всю, не выпуская из рук дореволюционного путеводителя (несмотря на историю, в городе не поменялись даже номера домов). Вникая в петербургскую архитектуру, я находил с ней много общего: вся она была, мягко говоря, заимствованная.

– Хорошие авторы одалживают, великие воруют, – не без зависти сказал один поэт про другого.

Как тот же Шекспир, Питер сросся в ансамбль, который был больше и лучше нахватанного.

Но меня интересовала не красота, а польза. СПб расположился между двумя городами моей биографии. Рига состояла из органической старины, которую не могли испортить ни сталинская высотка, ни памятник красным стрелкам. Нью-Йорк накрывал шведский завтрак для странника, выбирающего себе меню на час, на день, на жизнь. Зато Петербург учил произволу перевода: он переделывал чужое в свое, не оставляя швов и складок.

Бродя по городу, я завидовал той беспрекословной покорности, с которой экзотическая эстетика примирялась с родным пейзажем. Колоннада портиков защищала от чахлого солнца. Суворов мерз в римских латах. Голые статуи кутались в рогожи. И только маятник Фуко с просветительским презрением к локальным деталям резал воздух под куполом Исаакиевского собора, доказывая, что Бога нет, раз Земля вертится.

Историю в Петербурге можно было принять за аттракцион, но, в отличие от Диснейленда, она повторялась всерьез и выглядела крупнее оригинала. Живя на краю родной географии, СПб являл альтернативу отечественной судьбе: он примерял на себя Европу, и она была ему к лицу.

– Это – тоже Старый Свет, – сообразил я, прикинув, каким здешнее видится из-за океана.

Петербург навел на резкость мою картину мира. Их, миров, оказалось не три, как нам втолковывала политэкономия, а два: Старый Свет и Новый. Я жил в обоих и мог сравнивать. Собственно об этом мне и удалось написать первую собственную

книжку «Американская азбука». Азбучные истины в ней располагались в алфавитном же порядке, пропускались сквозь две призмы и преломлялись таким затейливым образом, что заурядное осложнялось сюжетом и обрастало метафорами.

– Филигранная работа, – похвалил Соломон Волков, – яйца Фаберже.

Но Арьев не одобрил это сравнение.

– С фамилией Генис, – сказал он, – о яйцах лучше не упоминать.

Труднее всего в этом опусе мне давалось единственное число личного местоимения, и «Я» в «Азбуке» появилось лишь тогда, когда она добралась до «Яхты».

Благодарный Питеру за вдохновение, я каждый день набирался у него мудрости в одиночку и уже привык говорить сам с собой, когда появился Герман, и мы, как советовал Мандельштам, отправились в Царское Село. Опустошенная погодой и политикой, аллея парка вела к кукольному замку с башней и флюгером.

– При большевиках, – сказал я, сглотнув слюну, – здесь подавали миноги.

– Забудь, как звали, – отрезал Алексей.

Из упрямства я толкнул ржавую дверь, исписанную словом из трех букв, зато по-английски: sex. Неожиданно легко она открылась. Внутри сияли огни и белели скатерти.

– Миноги есть? – обнаглев, спросил я.

– А как же! – ответил официант, и мы выпили под них с мороза.

Алексей решил, что в ресторане снимают кино из прежнего времени, но я не согласился, считая, что он сам во всем и виноват. Герман так упорно творил вторую реальность, что от напора прохудилась первая. Вымысел продавливает действительность и отпирает двери, включая заржавевшие от простоя. Вблизи художника колышется завеса, в щель дует, и происходят мелкие чудеса.

Много лет спустя мы встретились с Германом в Пушкинских Горах. Он уже не пил, но еще завидовал и по вечерам рассказывал о встречах с вождями, включая предпоследнего.

– Родину любишь? – спрашивал Ельцин Германа, зажав того под мышкой.

– Как не любить, – еле выдавил режиссер и был отпущен по добру и с наградой.

Послушать Германа приходил белый, словно сбежавший из фильмов Тарковского, жеребец. Он даже ржал вместе с нами.

– Как его зовут? – не сдержав, как всегда, праздного

любопытства, спросил я у пришедшего на веселый шум конюха.

– Герман, – ответил тот и повел купать коня в пруду, покрасневшем от заката.

Ноев ковчег, *или* Семейное

Даже Бог не без греха. Он сам раскаялся в одном – в том, что создал нас. В Библии так и сказано: *«Раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своём».* Но Ему стало жаль собственное творение, к которому у Бога не было претензий, если не считать людей. В остальном мир был прекрасен, особенно – фауна, лучшим представителем которой Бог хвалился перед Иовом. *«Вот бегемот: ноги у него, как медные трубы».*

Мне кажется, что и Ноя Бог выбрал не за особую праведность, не помешавшую ему напиться при первой возможности, а как дельного директора зоопарка. Собрав зверей на развод, Ной построил из смолистого дерева *гофер* ковчег-*теват.* С иврита это слово можно перевести как сундук или рундук, в котором мой киевский прадед торговал дамским платьем на Евбазе. Обшитая крепкими досками лавка наглухо, как ковчег, закрывалась со всех сторон, что спасало от погромов, но не от советской власти. До нас рундук дошел лишь в семейных преданиях. С ковчегом дело обстоит не лучше, и его обломки до сих пор ищут археологи и маньяки разных стран и трех вероисповеданий. Больше всего в этих разысканиях повезло русскому авиатору Владимиру Росковитскому, который в 1916 году, облетая Арарат, якобы нашел в горном озере на высоте 4300 метров остатки ковчега и описал его.

– Изнутри, – рассказывал летчик, перебравшийся к тому времени в Америку, – ковчег напоминал огромный курятник, снаружи он был сколочен из олеандровых бревен, исписанных загадочными рунами.

Несмотря на войну, Николай II отправил на место находки сразу две экспедиции библеистов-скалолазов. Одна пропала целиком, вторая – не совсем, но из-за начавшейся революции результаты исследований не дошли до научной общественности. Однако несколько уцелевших бревен ковчега сумели все-таки доставить на Волгу тайком от взявших верх большевиков-богоборцев. Об этом рассказал последний участник экспедиции солдат Федор Батов, скончавшийся в 1969 году.

– Чтобы скрыть от безбожных властей драгоценные бревна, – вспоминал солдат, – их использовали для постройки баржи купца Неметова.

Но вскоре судно отобрали, чтобы перевозить арбузы трудящимся. А в начале 1930-х баржа села на мель и вмерзла в лед возле небольшого приволжского села Духовницкое. Председатель райисполкома Безруков велел разобрать судно и построить здание школы из спасенных бревен. В этой сельской школе появились странные учителя, как-то: преподаватель трех языков бывший полковник царского генштаба Михаил Золотарев, приятель Бунина филолог Ленге и Прасковья Перевозчикова, служившая фрейлиной у матери Николая II.

– Возможно, – предполагает волжский археолог-самоучка Алексей, избегающий называть свою фамилию, – в задачу именитых педагогов входил перевод рунических надписей.

Так или иначе, бревна ковчега оказывали бесспорное ментальное воздействие на учащихся школы. Из ее стен вышли 60 докторов наук и несколько академиков, включая физика Гурия Марчука, последнего советского президента Академии наук. Кроме того, в духовницкой школе учились 38 профессоров, 29 заслуженных деятелей науки и летчик-космонавт Александр Баландин. Большая часть ученых стала физиками-ядерщиками, вероятно, потому, считают местные, что ковчег был на атомном ходу.

– Индиана Джонс, – скажут маловеры, но я точно знаю, что все это – правда.

Во-первых, с тех пор, как в перестройку магические бревна растащили неизвестные, школа в Духовницком перестала поражать мир талантами. Во-вторых, в этой школе учился мой тесть Вениамин Иванович Сергеев, который звал себя Веня и был самым необычным человеком из всех, кого мне довелось встречать.

Веня виртуозно врал на голубом глазу. Они у него были того интенсивного цвета, который мне напоминал о тельняшке, а жене – о врубелевском Пане. Лысый и приземистый, Веня выдавал себя за увальня, каким он точно не являлся. Однажды мы с ним нырнули в Даугаву вместе, но когда я всплыл, он уже приближался к другому берегу, показывая с каждым могучим рывком круглую, как у пингвина, грудь.

– Так, небось, – с восхищением сказал я, – вы и Волгу переплыть можете.

– Вдоль, – согласился тесть.

Анархист с непреодолимой склонностью к браконьерству, он годами жил без документов. Советскую власть Веня ненавидел по личным причинам, веря, что она принадлежит евреям, к которым он относил любое начальство – от Брежнева до участкового, сдуру конфисковавшего паспорт тестя.

Он умел делать все, кроме полезного: разбирать, но не собирать часы, фотографировать, но не проявлять пленку. Даже рыбу, без которой этот коренной волжанин не мог жить, Веня промышлял в порту, где она сильно пахла керосином.

Когда мы поженились, я всего этого не знал, поскольку тесть забыл прийти на свадьбу. Да и остальные гости не обращали на нас особого внимания, если судить по тому, как они орали «горько», не заметив, что молодые уже два дня как отбыли в свадебное путешествие по родному краю балтийского символиста Чюрлёниса. Нас провожала моя мама.

– Запомни, сынок, – сказала она, – холостым плохо везде, а женатым – только дома.

2

В сорок я вспомнил, что 20 лет женат и никогда об этом не задумывался. В молодости брак не мешал дружбе, а если мешал, то прекращался, чтобы не мешать.

Мораль советского человека живо напоминала конфуцианскую. Просвещенные бонзы, считая секс естественным отправлением, иногда занимались им, не отрываясь от государственных дел. Но публичное проявление супружеской любви, а тем паче нежности, осуждалось как постыдная несдержанность. Китайские поэты воспевали мужскую дружбу, наши – тоже, пренебрегая при этом половыми различиями: «Старик, ты кормила Алешку грудью?»

Проще говоря: жену стеснялись, любовницей гордились, даже когда её не было. Брак был ареной вечных ссор и источником глуповатых анекдотов.

– Был день, когда вы не ругались с матерью? – спросил Гендлер отца, умершего за месяц до своего столетия.

– Был, – ответил тот, подводя итог 75-летнему браку, – но он был прожит зря.

Мои провели вместе 60 лет, не переставая жаловаться друг на друга. Потаённая нежность требовала дергать жену за уже седую косичку. Но я, оставшись без соавтора, прервал родовую традицию: мне понадобился редактор, желательно – свирепый. Сперва, опасаясь непотизма и семейственной снисходительности, я нарочно бесил жену, прежде, чем дать ей текст на правку, но быстро выяснил, что напрасно боялся.

Читая с Вайлем друг друга, мы всегда выбирали выражения. Сомнительное место отмечалось точкой на полях, но если оно оказывалось дорогим и важным, мы делали вид, что след оставил

не карандаш, а муха. Попеременно выступая то критиком, то автором, каждый из нас избегал резкости и тогда, когда её следовало бы навести. Такт и трусость делали совместный текст итогом немых компромиссов. С Ирой о них речь не шла. Дочь своего отца, она во многом походила на него. Ира научилась фотографировать и ловить съедобную рыбу. Политике она, как и Веня, не доверяла, и не церемонилась с чужими, тем более – со мной.

Ее редакторские претензии не сводились к точкам и удовлетворялись истреблением абзацев, а иногда и страниц. Её интересовали не интеллектуальное усилие, не доказательная логика, не широта кругозора и глубина эрудиции, а ничем не замутненная чистота повествовательной линии. Понаторев на нашем факультете в филологическом жаргоне, Ира свела его к отточенным резюме.

– Каша, – говорила она, и я беспрекословно вычеркивал вымученный силлогизм, скрывающий за длинными словами то, чего не понимал и сам автор.

– Не включается, – говорила она, и я выбрасывал первую страницу, чтобы начать текст без разгону.

– Ну и что? – говорила она, и я присочинял эпилог.

– Убавь громкость, – говорила она, и я размазывал финал, чтоб замаскировать эффект.

Когда Ире было скучно, она не стеснялась зевать, когда забавно – хмыкать, и я с трепетом сторожил просмешки, делая вид, что не слежу за ней.

Начавшись с литературы в 213-й аудитории рижского филфака, наш брак успешно боролся за жизнь. Ира всегда делала, что хотела, в чем я убедился, когда мы купили водяную кровать.

В 80-е такие вошли в моду, и я не устоял: в них было что-то от Джеймса Бонда. Заменяя бедным яхту, налитый водой матрас вносил в семейный быт сдержанную экзотику и доступную роскошь. Дубовая рама, однако, не проходила в двери. Пытаясь втиснуть покупку в проем, мы покорежили косяк, поцарапали стену и замуровали спальню. Измерив рулеткой все, до чего дотянулся, я с цифрами в руках доказал, что выхода нет.

Переночевав на ковре в гостиной, утром я ушел верстать «Новый американец», а вечером кровать была внутри. Ира отказалась объясниться, и я годами перебирал варианты, остановившись, в конце концов, на телепортации.

Кровать, надо сказать, не оправдала ожиданий. Она вызывала морскую болезнь, и мы обрадовались, когда гектолитр воды из прохудившегося матраца залил соседей. Утихомиривая их, мы распилили монстра и выбросили по частям. Тайна, однако,

сохранилась и не давала мне покоя. С тех пор я стал присматриваться к жене, особенно по ночам, после триллеров про ведьм и вампиров.

Главным из её парапсихологических свойств было сверхъестественное упрямство. Приняв решение, в том числе – вопиющее, она не вступала в переговоры со мной, судьбой и начальством. Ира не верила в любую иерархию, отрицала просвещенный софизм и шла, не разбирая дороги, к цели, внушенной ей разумом, случаем или капризом. Еле успевая уворачиваться, я и тут вспоминал маму, которая брала свое тихой сапой.

– Муж, – твердила она, – в семье голова, а жена – шея.

Но Ира не верила в дипломатию. Выслушав мои цветистые аргументы, она не вступала в риторическое соревнование, а поступала по-своему – часто с умом, иногда – с пользой, но всегда – без оглядки.

Чтобы выжить в таком браке, я вел себя как посол в тоталитарной державе: предлагал на выбор два варианта – плохой и тот, что мне нравился.

– Серебряную свадьбу, – размышлял я вслух, – можно отметить, собрав сто гостей в брайтонском ресторане, а можно – вдвоем в Венеции.

Отель «Дом Рёскина» стоял на набережной канала Джудекки. Туристы с лайнеров заглядывали к нам в окно, и мы махали им, не вылезая из постели. К годовщине я подарил ей синюю птицу работы стеклодува с Мурано. Она мне открыла секрет водяной кровати.

– Чтобы она пролезла в спальню, – сказала жена, – надо было открутить деревянный порог перед дверью.

– Слава Богу, а то я уже подумывал об экзорцизме.

3

Набрав – вместе с родителями – век супружеского опыта, я решусь сказать, что с годами брак приобретает устойчивость не пирамиды, а небоскреба, безнаказанно виляющего под порывами любого ветра, не исключая ураганного, как в случае с «Сэнди».

За его приближением мы следили по телевизору. Захлебываясь от возбуждения, синоптик предупреждал, что ураган высадится на берег между статуей Свободы и мостом Джорджа Вашингтона.

– Это же – мы, – правильно рассчитала жена и предложила переехать в узкий коридор, чтобы нас не раздавила крыша.

Я возражал, надеясь увидеть приливную волну в десятиэтажный дом. В нашем было два этажа, и оба стонали. В самый интересный момент телевизор пискнул и отключился вместе с остальным электричеством. Стало страшно, темно и скучно. Натянув одеяло на голову, мы ждали худшего и незаметно заснули.

Утром обнаружилось, что у одних соседей ураган сдул крышу, у других – выбил окна, у третьих – повалил уже пожелтевший клен, и мы долго любовались им с балкона под нежарким осенним солнцем, пока я не вспомнил о холодильнике. В нем прозябали без тока три сотни закрученных на зиму пельменей. Позвав друзей, мы быстро, чтобы успеть до заката, пообедали дважды и разошлись в тихой темноте.

Ураган стер все, что принес прогресс: радио, светофоры, связь, интернет. Оставались, как у Пушкина в Михайловском, книги, но только днем, вечером приходилось экономить свечи. Когда осталась одна, мы перешли на аварийный режим и взялись за Мандельштама. Запалив с одной спички фитиль, я читал первую строфу, которую мы толковали, погасив свечу.

Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и не страшно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.

– Мандельштам, – начинал я, ссылаясь на Парамонова, – поэт культуры.

– Тогда почему, – удивлялась она, – ему не страшно в лесу, да еще и одному?

– Ну, он не совсем один – с крестом. Еще хорошо, что с «легким», который ничего не перечеркивает.

– И раз «опять», значит, привык: своя ноша не тянет.

– Если путь не ведет к Голгофе.

– Он себя и не сравнивал. Но ведь помнил, будто уже в 20 лет знал, что ему предстоит, – заключал я и зажигал огарок, чтобы прочесть следующую строфу.

За неделю без света мы едва закончили сборник «Камень», и я жалел, когда починили электричество.

– Любовь посредством Мандельштама? – заинтересовался рассказанным фрейдист Парамонов.

– Камасутра книжника, – поправил я его, заодно решив, как назвать свою любимую книгу.

Гарлем,
или
Утрачено в переводе

Перебираясь в Америку, я не беспокоился об английском. Родной язык меня тревожил больше иностранного. Как все, кто никогда не был за границей, я знал, что попавшие туда соотечественники забывают родную речь и говорят, словно герои «Войны и мир», на макароническом наречии, мешая слова и путая ударения. На этот случай я припас для чужбины четыре тома Даля, выменяв словарь на зачитанный восьмитомник Джека Лондона – из расчета два к одному, как меняли доллары на рубли по официальному курсу.

Английскому я давал две недели, от силы, делая скидку на варварский американский диалект – три. В конце концов, я уже и так знал английский, изучая его по настоянию отца. Сам он выписывал и с отвращением читал газету британских коммунистов, которая сначала называлась «Ежедневный Рабочий», а потом обабилась до «Утренней Звезды». Впрочем, в Пражскую весну советская власть запретила и ее вместе с Дубчеком. Вместо прессы мне достался адаптированный томик Уильяма Сарояна. Сокращенный до полной невразумительности, он внушал уверенность в собственных познаниях и сомнения в умственных способностях американцев. Судя по Сарояну, с ними ничего не стоило договориться, ибо беседа ограничивалась диалогом:

– Кофе будешь?

– Конечно.

Тем страшнее был удар, обрушившийся на меня в Америке, когда я впервые услышал по радио прогноз погоды. Ураганная речь диктора не показалась мне ни членораздельной, ни английской, ни человеческой. До меня дошла жуткая правда: как Паганель, перепутавший португальский с испанским, я выучил другой язык. С той, конечно, разницей, что мой английский существовал лишь в школьной реальности, где знали, как перевести «пионерский лагерь», «передовой колхоз» и «переходящее знамя ударника».

Это значило, что в Америке предстояло все начать заново, и мне было хуже, чем другим, ибо я мнил себя писателем. В эмиграции я обнаружил, что лучше всего английский дается детям, таксистам и идиотам. Вторым язык был нужен для работы, первые и последние не догадывались о его существовании.

Стремясь к общению и добиваясь его, они тараторили все, что попало, до тех пор, пока их не понимали.

– Для них язык, – утешал я себя, – средство транспорта, вроде джипа, доставляющего к месту без выкрутасов грамматики, которая оставляла меня немым.

Начиная фразу, я уподоблялся сороконожке, задумывавшейся о том, с какой ноги начать свой марш и какой его закончить. Не удивительно, что вместо английского у меня изо рта вырывались шум и ярость. Со словарем вышло не лучше. Купив и помяв первую машину, я обратился в мастерскую с просьбой починить разбитое крыло.

– Wing, fix, please, – сказал я, помахав руками для внятности.

– С этим – в зоопарк, – отрезал слесарь, веселясь за мой счет.

Спрашивается, у какого Шекспира или даже Сарояна я мог узнать, что эта часть автомобиля называется fender?

Завидуя тем самым идиотам, которые начали с нуля и обошли меня на три круга, я понимал, что должен брать с них пример и пользоваться только готовым. Язык составляют не слова, а фразы, склеенные до нас и вместо нас ситуацией и телевизором. Общение на все случаи жизни напоминает обои с уже нарисованными ягодами, цветочками, а иногда (сам видел) библиотекой.

– Если говорить не о чем, – злился я, – то можно говорить ни о чем, обмениваясь универсальными формулами: «Have a nice day».

Придя к этому упрощавшему жизнь выводу, я опробовал новую тактику на соседке. Милейшая фрау Шпигель, певшая Шуберта за стеной, принадлежала к австрийскому колену евреев, бежавших от нацистов и осевших на севере Манхэттена. Здесь вырос и Генри Киссинджер. Он так и не сумел избавиться от сильного немецкого акцента, которого напрочь лишен его родной брат.

– Как так вышло? – спрашивали его журналисты.

– Я – тот Киссинджер, – отвечал брат, – который не только говорит, но и слушает.

Беря с него пример, я решил хотя бы по-английски говорить мало и не умничать. Поэтому, когда Шпигель, встретив меня на лестничной клетке, сказала что-то непонятное, я вежливо посоветовал ей «иметь хороший день». Лишь со второго раза я понял, что у нее только что умер муж.

Придя в ужас, я зарекся говорить штампами, из которых, собственно, и состоит нормальная речь. К тому же, страдая от авторского самомнения, я мечтал перейти на чужой язык целиком, а не в той обрезанной форме, что исчерпывается

разговорником. Я стремился донести себя до собеседника, не расплескав, и вламывался в английский, избегая очевидного, натужно переводя шутки и ломая язык.

– Раз не Уайльд, – надеялся я, – буду Платоновым.

– Скорее – уж Тарзаном, – говорили добрые друзья, включая детей, идиотов и таксистов.

2

Регулярные лингвистические баталии не могли не привести к результатам. С каждым днем я все глубже вникал в тело и душу языка, конечно – русского. Я, например, любовался его синтаксисом. Благодаря ему, предложения умеют складываться, как чемодан, в который, если как следует надавить, удается засунуть еще одну пару носков или забытую зубную щетку. Но можно все выкинуть, и тогда в опустошенном эксцентрикой чемодане болтаются одинокие назывные предложения: «Ночь», или – «Улица», а также – «Фонарь» и «Аптека».

Попав в тотальное окружение, русский впервые заиграл для меня нарядными, тайными и нелепыми нюансами. В своей среде они стерты, как пушка в Пушкине или толстый в Толстом, в чужой – лезут наружу. Открыв русский заново, я с ужасом убедился в его категорической непереводимости.

И все потому, что в Америке у меня в голове поселился любознательный карлик. В клетчатых штанах и бейсболке, он был одет, как мой отец, который, чтобы не выделяться, наряжался, словно янки из провинциальной оперетты. Карлик не давал мне покоя, желая знать, как выразить на английском все, что я говорю и думаю.

– Что значит, – интересовался он, – когда русские на вопрос «кофе будешь?», отвечают «да нет, пожалуй»?

– Проще не бывает, – объяснял я, – это значит, что в принципе я люблю кофе и не прочь выпить чашечку, но не сейчас, а, впрочем, пожалуй, выпью. Или нет.

Общаясь с одним карликом, я не заметил, как в голове завелся другой, который тоже хотел все знать, но уже по-русски. («Лечиться надо», – заметила жена, дочитав до этого места). В кепке и тапках, он постоянно проверял меня на вшивость, заставляя переводить с виду простое, а на деле – невыразимое.

Взять, скажем, ученую монографию ‘Mind of its own’, посвященную культурной истории пениса. Автор назвал книгу цитатой из Леонардо да Винчи, который, как все, был увлечен секретами этого органа.

– Когда он спит, – писал гений, – я не сплю, когда я сплю, он не спит.

Переводя четыре простых английских слова, я страдал целый день, пока не нашел три русских, еще более простых: «Себе на уме».

Чтобы отдохнуть от интеллектуального штурма, я включил самый смешной сериал всех времен и одного – английского – народа: 'Fawlty Towers'. Владелец отеля, долговязый грубиян Фолти, которого играет великолепный Джон Клиз, довел строптивого постояльца до инфаркта. Чтобы избежать скандала, труп пришлось спрятать в корзину с грязным бельем. И тут за гостем пришли родственники.

– Где он? – спрашивают они хозяина.

– Тут, – говорит Фолти, показывая на корзину.

– Что он там делает? – с ужасом восклицают близкие покойника.

– Not much, – честно отвечает хозяин, вкладывая в эти слова всю могучую недосказанность англо-саксонской культуры и ее языка.

Как же перевести эту короткую реплику? «Ничего» – верно, но не смешно. «Не много» – и не верно, и не смешно. Средний вариант – «Ничего особенного» – втягивает в метафизические спекуляции на тему некротических явлений: получается, что покойник все же чем-то занят.

Потерпев судьбоносное фиаско, я понял, что этот минутный эпизод невозможно перевести, не поменяв регистра остроты, смысла мизансцены, ее героев, их манеры и национальную традицию.

– На любом языке, – вывел я для себя, – стоит писать только непереводимое.

Струсив, я предпочел русский.

3

Учась в школе, я твердо знал, что мне никогда не пригодится устный английский, ибо говорить на нем было решительно не с кем. Будучи в этом отношении мертвым языком, вроде латыни, английский предназначался исключительно для чтения всего того, что было недоступно в русском переводе. Так, отец, пренебрегая оригиналом, прочел по-английски «Триумфальную арку» Ремарка и «Мемуары» Казановы.

В Америке эти эзотерические навыки оказались ненужными, а нужными я и сейчас не обзавелся, не зная, как говорить с

простым народом. Я жму руку водопроводчику, чтоб не показаться снобом, и не спорю о цене, чтоб не показаться жмотом. Лишь однажды, разглядывая счет в 400 долларов за починенный кран, из которого все равно капало, я попробовал напроситься мастеру в ученики, но он меня не взял.

Зато с левой интеллигенцией (правой я никогда не видел) найти общий язык оказалось – раз плюнуть. Мы подружились на пикнике в День независимости. Свой национальный праздник тут отмечали, как мы – Седьмое ноября: потешаясь над властью. Среди гостей были актеры и музыканты, евреи и арабы, вегетарианцы и лесбиянки. Среди гостей не было охотников, скорняков, полицейских, республиканцев и русских, кроме меня, что не считается, потому что я уже научился голосовать за демократов. И еще здесь не было американских флажков, хотя левые в Америке считают себя не меньшими патриотами, чем правые. Они тоже любят родину и не стесняются ей говорить, что думают. Наши люди.

Ближе других я сошелся с писателем Ларри. Родившись в Южной Африке, он с детства ненавидел апартеид, боролся с неравенством и, сочувствуя нашей истории, предпочитал, как Окуджава, Ленина Сталину. Но меня больше интересовало не наше прошлое, а его.

– А в Кейптауне – спрашивал я, – у вас слуги были?

– Практически нет, – отвечал, Ларри, не чуя подвоха, – няня, шофер, сторож, кухарка. Ведь родители считались либералами и во всем себя ограничивали, когда дело касалось афро-американцев.

– А почему – «американцев»?

– Потому что, – отрезал Ларри, – в Америке слово на «н» не говорят. Разве что республиканцы.

Усвоив урок политкорректности, соотечественники обходили табу, называя негров «шахтерами». Меру нашего расизма лапидарно определил Довлатов.

– Приходя на радио Свобода, – говорил он, – я с белым охранником здороваюсь, а с черным еще и раскланиваюсь.

Боясь обидеть, да и просто боясь, мы относились к неграм с ужасом, не исключающим болезненного интереса и отчасти зависти.

– Негры, – считала русская Америка, – бедный и привилегированный класс, играющий в США ту же роль, что пролетариат в СССР.

К нам они относились не лучше.

– Такая милая, – говорила жене ее чернокожая коллега Анджела, – а замуж вышла за еврея.

Глубоко верующая пятидесятница, она знала и не забыла, что евреи распяли Христа. Но вышло так, что именно она стала моим проводником по интимному миру черной Америки, когда я упросил Анджелу взять меня в гарлемскую церковь. Я рвался туда потому, что негры считались утрированными американцами. Они казались нам непонятными вдвойне, особенно – в черной церкви, где белых не бывает. Дощатые стены храма украшали библейские картинки. Черными изображались все персонажи, кроме дьявола. Он был белым, во фраке, с хвостом и в цилиндре. По случаю воскресенья прихожане тоже надели все лучшее. Напоминающий школьного тренера моложавый пастор лучился приветливостью.

– Покажем белому гостю, – представляя меня, сказал он пастве, – как мы славим Бога, ни в чем себе не отказывая.

И показали. Служба, начавшаяся на благостной ноте, вскоре стала азартной. Вся церковь пустилась в пляс. Многие, даже старушки, впали в транс и исходили пеной. Пастора били корчи, открывавшие путь к глоссолалии. Он заговорил, потом закричал и наконец запел на ангельских языках. Священнику уверенно вторила паства. Как и все остальные, я ничего не понимал, но, в отличие от остальных, чувствовал себя тут категорически посторонним, еле скрывая стыдное этнографическое, как у Миклухо-Маклая, любопытство.

Праздник кончился, как начался: тихим стройным псалмом, но теперь все изменилось. Меня обнимали и поздравляли прихожане. Анджела даже пригласила в гости.

– Ничего, что еврей, – подбодрила она, – Бог, наверное, всех простит.

Я устало улыбался, будто сдал вступительный экзамен, только не понятно – куда.

Нирвана, *или* Кризис зрелости

В день своего сорокалетия я напился, что со мной случается чрезвычайно редко. Наверное – гены. Я никогда не видел отца пьяным, хотя он пил всю жизнь, а по воскресеньям начинал с утра под латвийскую селедку, политую подсолнечным маслом горячего жима, под картошку, желательно молодую и с укропом, под помидор, можно парниковый, и пахучий рижский хлеб с тмином. Все это было так вкусно, что отец знал меру, ибо больше всего другого боялся испортить праздник.

Я – тоже. Для меня выпивка – то же, что для иудеев суббота, а для остальных – Новый год: сакральный ритуал, который нельзя отправлять в одиночку, спустя рукава, закусывая мануфактурой.

Тем не менее, 11 февраля 1993 года я пришел домой пьяным, вызвав веселый переполох у не привыкшей к такому жены.

– Кри-зис зре-лости, – тщательно выговаривая слова, оправдывался я, – сорок лет карабкаешься по лестнице, приставленной не к той стенке.

– Ага, – съязвила жена, – понял, что тебе уже не стать балериной.

В сущности, она была права. Я горевал, твердо зная, что мне не испытать иной жребий, потому что я любил свой и не желал другого. Как и следовало ожидать, следующим утром мне не стало легче.

– Скука – отдохновение души, – твердил Мефистофель Фаусту, переживавшему радикальный кризис зрелости.

Одни разрешают его, сменив страну, другие – жену, третьи – религию. Первое я уже сделал, вторую было жалко, а третьей у меня не было вовсе, и я решил ее найти.

В России, сдается мне, еврею проще стать истовым православным, чем благочестивым иудеем. Такое, впрочем, случалось и в Америке, куда с большим трудом прорвался мой знакомый, мечтавший выучиться на раввина. Закончив в Нью-Йорке иешиву, он разочаровался в Боге и открыл в Сохо картинную галерею для авангардистов и атеистов. Я потерял с Яшей связь, поскольку не относился ни к тем, ни к другим. Когда мы встретились 20 лет спустя, он шел в церковь. Обычно ее наполняли русские прихожанки, пока их еврейские мужья ждали в машине – на Ист-Сайде не найдешь парковки.

– Где ж ты был все эти годы? – спросил я товарища, сделав

вид, что не обратил внимания на рясу.

– Окормлял японцев, – степенно объяснил он, – в православном храме Токио.

Поняв, что Бог взял реванш, я хотел было зайти за компанию с Яшей в церковь, но у входа висел список всего запрещенного. Даже на глазок в перечне было больше десяти пунктов. Собственно поэтому я побаивался верующих, тем паче неофитов, которым свежая, только что открывшаяся благая весть внушала ярость к тем, кто оставался слеп, прозрел не совсем или не так, как следовало бы.

– Придут в храм Божий, – жаловался мне бывший сионист, ставший воцерковленным прозаиком, – шубы сбросят куда попало, так бы и поубивал на месте.

Иудеи пугали меня ничуть не меньше, несмотря на то, что Израиль мне понравился – но весь, а не только еврейский.

– Это Масличная гора? – спросил я гида, показывая на холм над Стеной плача.

– Откуда мне знать, – с вызовом ответил он, – я же не христианин.

Вот это меня и не устраивало. Я хотел быть всем сразу, а не кем-нибудь одним.

– Экуменизм, – одобрил Парамонов, – чума образованщины.

Не найдя общего языка с верой предков, я стал в поисках света поглядывать на Восток, конечно – Дальний.

– Я – буддист, потому что я – еврей, – писал Аллен Гинзберг и никого не удивил, в Нью-Йорке таких хватает.

2

Пора признаться, что в моем представлении религия была не откровением, а приключением, естественно – экзотическим.

– Мальчишество, – вынес приговор Парамонов, который считал глупостью все духовные интересы, кроме фрейдизма и зарплаты.

– Религия, – напыжился я, – способ прожить обычную жизнь необычно.

– То же, – сокрушенно заметил Парамонов, – можно сказать про алкоголизм.

Но я уже закусил удила и принялся искать себе гуру на стороне. Почему Востока? Просто потому, что он не требовал веры, смысл которой до меня не доходил. Я не верил в Бога отнюдь не потому, что отрицал Его существование. Бог, как, скажем, светлое будущее, был для меня соблазнительной

гипотезой, требующей, но не допускающей проверки. – Во что же, – спрашивается, – я верю?

– В трех мушкетеров, – помог мне с ответом Парамонов.

Я действительно верил прочитанному, увиденному, услышанному и реже всего – в себя. Восток, обещая пустоту, тишину и молчание, мне понадобился для того, чтобы перевернуть доску и вступить в игру черными. Чтобы найти себя, я хотел стать другим.

– Готовясь к этому, как Моисей в пустыне, – уговаривал я себя, путая библейские цитаты, – я собирал камни, пришла пора их разбрасывать.

Причем, буквально, как выяснилось в горном монастыре, где суровой зимой мне довелось разгружать щебень, устилая им крутую тропинку. Она вела к могиле первого настоятеля – скромного японца, передавшего бразды правления своему американскому преемнику, с которым я приехал знакомиться.

Дайдо Лури, как его звали с тех пор, как он – не первым и не последним – достиг просветления, был буддой. Я не знал, что это значит, а он не мог объяснить – только продемонстрировать на примере, ради которого мне пришлось забраться высоко в Катскильские горы. Готовясь к аудиенции, я жил паломником. Спал на нарах, вставал в четыре утра, молча трудился на морозе, часами медитировал, читал вслух сутры и вместе с хором монахов перечислял имена всех будд – от первого, Гаутамы, до ныне действующего, к которому я записался на прием. Труднее всего было принимать эту жизнь всерьез и не глядеть со стороны на себя и других.

– Взрослые, вроде бы, люди, – шипел я, – прикидываются японцами, бубнят что-то на санскрите, сидят без дела в изуверской позе лотоса, горбатятся в снегу, едят соевые сосиски и притворяются счастливыми.

На второй день я не выдержал и поделился сомнениями с толстяком, занимавшим нижние нары.

– Зачем же вы приехали? – удивился он.

– Ну, видите ли, у меня особый случай: я писатель.

– Что ж тут особенного? – еще больше удивился сосед. – И я писатель, и все остальные, кроме того, в углу, который сочиняет стихи и сценарии.

Решив не бунтовать, я послушно изучал дзен-буддийские искусства, включавшие стрельбу из лука. Ей нас обучал пожилой еврей в золотых очках. В монастыре мастер щеголял в широких штанах-хакама и попадал в мишень из двухметрового лука.

Я беспрекословно натягивал тугую тетиву, сажал кляксы на рисовую бумагу, изучал звериные следы в лесу. В оставшееся от

другой науки время я натирал мастикой пол и дожидался, когда дойдет до религии, о которой заранее прочел, что мог. Но Дайдо не признавал богов, демонов, даже перерождения, хотя он и не считал себя тем, кем был.

– Каждые семь лет, – говорил настоятель, – сменяются клетки нашего тела, что уж говорить о душе, в которую, впрочем, буддисты не верят. Во все остальное – тоже. Встретишь будду, убей его, чтобы не поддаваться давлению авторитета.

Сам Дайдо не имел со знакомым по статуям буддой ничего общего. Он отличался огромным ростом, шишковатым черепом и фривольной татуировкой на руке, оставшейся на память от службы в морской пехоте. Когда Лури ездил на Восток, чтобы тамошние будды проверили нашего на просветление, руку пришлось уложить в гипс – с татуировкой в Японии ходят только гангстеры из якудзы. Насаждая в монастыре строгий тысячелетний устав, Дайдо легко пренебрегал подробностями. От прежней жизни у него осталась жена, дети и ученая степень. По двору он ходил в ковбойке, много смеялся, даже курил.

– Нирвана – это сансара, – вспомнил я Гребенщикова, чей альбом наряду с мандалами и четками продавался в подарочном магазине монастыря.

Сердитым я видел Дайдо лишь однажды – когда ему хотели подарить щенка.

– Я же говорил, – вскипел он, – не привязывайтесь!

Обжившись в монастыре, я постепенно втягивался в его плотную рутину и учился гнать посторонние, да и любые мысли, на которые все равно не хватало времени. О вечном, семье и доме я думал, когда торопливо чистил зубы.

Я уже понимал, что так можно жить всегда, но еще не догадывался – зачем, и терпеливо готовился к встрече с уроженцем Нью-Джерси, ставшим буддой и постигшим все, что я собирался.

– Вообрази, – говорили монахи, – что представился случай задать вопрос Христу, Магомету или, в вашем случае, Ленину.

– Не могу, – сознался я, – меня же волнует не будущее, а настоящее.

– О, – обрадовались монахи, – буддистов не интересует ничто другое.

Личные аудиенции с буддой проходили в кабинете монастырского делопроизводителя. Дайдо сидел на шелковой подушке, прихлебывал зеленый чай и помахивал витиеватой мухобойкой, старинным символом духовной власти. Следуя указаниям, я трижды приложился лбом к потертому ковру и задал вопрос, давно уже измусоленный сомнениями.

– Я – писатель, – начал я издалека, но заторопился, заметив обреченность на лице настоятеля, – и не знаю, зачем пишу, ибо стоит мне закончить, как все написанное становится совсем не тем, что я мечтал сказать.

– Еще бы, – согласился Дайдо, – ничего важного написать вообще нельзя, Будда и не пытался.

– Но как же быть писателю, – заныл я.

– Не убивайся, мы найдем тебе дело, – мирно сказал настоятель и вдруг страшно заорал, как Кинг-Конг.

Дождавшись, когда я приду в себя, он опять спокойно заметил, что криком можно огорчить, а словом обрадовать. Поэтому, зная о пределах языка, Будда им не пренебрегал, когда учил избегать страдания.

Я опять приложился к ковру и вышел за двери, пытаясь перевести совет с буддийского языка на человеческий. Получалось просто и коротко: пиши, что нравится, делясь не умом и горем, как это делали великие, а радостью.

Жене мой урок не показался глубоким.

– Стоило мерзнуть, – хмыкнула она, – ради марша энтузиастов.

3

Догадавшись, что я жду света с Востока, карма отправила меня в Токио, будто бы на конференцию. В университетской гостинице западных гостей поселили в специальном корпусе. В одном углу номера сгрудилось все нужное: койка, стол и телевизор. Остальная комната была совсем пустой, чтобы иностранцы не жаловались на тесноту. Пригласивший меня профессор отличался такой же деликатностью. Прогулявшись со мной по городу, он предложил на час расстаться, чтобы мы не надоели друг другу.

Зато на конференции кипели страсти. На дворе стояли 90-е, и японцы, желая, как все тогда, знать, что будет с Россией, спрашивали кого ни попадя.

– Согласно точным опросам, – обрадовал московский социолог собравшихся, – 97 процентов россиян согласны принять западные ценности, если, конечно, демократия и рынок принесут всем процветание и никого не оставят за бортом.

Не дослушав аплодисменты, я улизнул в Киото. За окном скоростного поезда мелькали уродливые окраины обеих столиц. Еще хорошо, что быстро, но мне все равно удалось взглянуть на белую, словно рафинад, вершину Фудзи. Прямо с вокзала я

отправился, куда глаза глядят. Добравшись до узкой, но древней речки, я снял номер в крошечном отеле. Хозяйка не знала английского, а по-японски я умел здороваться, прощаться и заказывать в ресторане кальмара – «ика». Молчание, однако, входило в мои планы. С вечера, чтобы не терять утром времени, я нашел нужный автобус и срисовал у него со лба иероглифы конечной остановки. Ею был монастырь со знаменитым садом камней, куда я отправился до зари.

День был будний, погода – скверная, сезон – не туристический. Усевшись с видом на сад в гордом одиночестве, я, как Будда, решил не вставать, пока не изменюсь. Глядя на 15 камней и насчитав, как задумано, только 14, я старался отбросить поэтические метафоры и педагогические аналогии.

– Главное, – говорили во мне монастырские уроки, – забыть о путеводителе и не думать о том, что камни напоминают острова в житейском океане или плывущих по нему тигров страстей.

Больше всего мне мешал я сам: бородатый, как айн, иноземец в носках пялится на серый гравий с голыми камнями.

– Стоит очистить жизнь от метафор, как она становится невыносимо пустой, – с тоской думал я, но именно этого добивался от меня буддизм.

Днем пришли школьники, потом начался дождь, захотелось есть и, прервав созерцание, я отправился в монастырский ресторан. Меню в нем было одно на всех: соевый творог, сваренный в пресной воде из священного источника. Официантка искусно манипулировала ширмами, чтобы представить каждому знаменитый сад в индивидуальной перспективе.

Вернувшись на пост несолоно хлебавши, я преумножил старания, пока мне это не надоело. Теперь я просто смотрел во двор, перестав чего-нибудь ждать. Отупев от безделья, я чувствовал себя одним из 15 камней и завидовал их безразличию ко времени.

Возможно, я сидел бы там до сих пор, но с закатом меня выперли за ворота, и я вернулся в Нью-Йорк, чтобы продолжить упражнения на знакомой территории. Для этого достаточно было закрыть глаза и ничего не делать, но это как раз труднее всего. Сидя неподвижно в подвале без света, я лениво наблюдал, как в голове безвольно всплывали явно не мои фразы.

– Акваланг – аппарат искусственного молчания, – гласила одна, и я не спорил, не слишком понимая, чего она от меня хотела.

Год спустя слов набралось на крохотную книжку, которую нельзя было назвать иначе, чем «Темнота и тишина». Ее проиллюстрировал художник Саша Захаров. Мастер игольного

рисунка, он тренировал руку, стреляя в цель из пистолета. Но и без картинок, я решил не повторять опыта. Буддизм обдирал и мой текст, и мой день, не оставляя ничего лишнего, а без него мне было страшно жить и не о чем писать.

Близнецы, *или* 9/11

Почему мы приняли именно этот праздник, объяснить легко. Хеллоуин создан для космополитов. Поднявшись над миром, точнее – опустившись под него, ночь чертовщины роднит эллина с иудеем, фею – с гоблином, и, переходя на личности, Горбачева – с Ельциным, а республиканца – с демократом.

– Роднит, как смерть, – язвили гости, собираясь к нам на маскарад.

– Лишь бы не больше семидесяти, – волновалась жена, боясь, что рухнет балкон, куда отправляли курящих.

За веселье отвечала «Смирновская» с насосом: в красном углу стояла бутыль размером со взрослого щелкунчика. На закуску я запекал окорок в сидре и солил целого лосося. Музыкой заведовал Журбин. Саша играл на пианино, единственным достоинством которого был год рождения. Ровесник революции, инструмент сохранился не лучше её, но Журбина это не смущало.

– Если клавиш больше половины, – деловито объявил он, – я могу сыграть, что угодно, если меньше, то лишь то, что получится.

Кульминацией праздника была групповая фотография. Искусная Марианна Волкова, снявшая всех русских звезд трех поколений, сгоняла гостей в кучу, строила в три ряда и укладывала строптивых на пол.

– История не простит, – объясняла она, вытаскивая зазевавшегося из уборной.

Если считать меня историей, то так оно и есть. Когда сегодня, уже совсем в другом веке я разглядываю эти длинные, склеенные, чтобы все влезли, снимки, то радуюсь, что одни друзья на них молоды, другие – живы.

На левом фланге пилястрами возвышаются дочки Смирнова: Дуня и Саша. Рядом с ними любой – метр с кепкой. Однажды сестры взяли меня под руки и подняли на смех.

– Втроем, – обрадовались ведьмы, – мы напоминаем букву W.

Рядом угадывается Битов, почему-то в маске коровы. Где бы мы ни встречались, на конференциях или за столом, я никогда не слыхал от него банального слова. Тем больше было мое удивление, когда в дни Грузинской войны мне попалась подпись Битова под своеобразным документом, назвавшим Америку врагом свободы и оплотом тоталитаризма. Живя здесь, я этого не

заметил, но Битову, который редко ее покидал надолго, ничего не сказал.

Я до сих пор не знаю, как себя вести со взрослыми, которые были кумирами моего детства. Однажды я выпивал на чужой американской кухне, сидя между Гладилиным и Аксеновым.

– В пятом классе, – сказал я, не сдержав восторга, – мне казались лучшими книгами человечества «История одной компании» и «Пора, мой друг, пора».

– А сейчас? – быстро и хором спросили классики.

– Не знаю, – признался я, – слишком люблю, чтобы перечитывать.

В заднем ряду на фотографии – Илья Левин, нарядившийся беглым каторжником. Он так и сидел за рулем всю дорогу из Вашингтона – полосатый, как зебра, на которых Илья насмотрелся в Африке. Ленинградский филолог и американский дипломат, Левин выучил суахили, идиш и фарси, чтобы работать в экзотических краях. Илья справлял Пурим во дворце Хуссейна, ел жареную кобру в Душанбе, на Занзибаре покупал пряности с ветки, в Москве лучше всех делал хреновую настойку. Не удивительно, что, попав в Эритрею, Илья первым посадил хрен в африканскую землю. В этой нищей, но гордой стране он служил атташе по истребленной марксистскими властями печати, а в свободное время осматривал достопримечательности.

– В оазисе, где родился Ганнибал, – вспоминал Левин, – есть отель «Пушкин».

Рядом с Ильей – Володя Козловский, знавший английский лучше всех эмигрантов. Для разгона он перевел на русский «Кама-сутру» и составил многотомный словарь нашего мата.

Художники Гриша Брускин и Вагрич Бахчанян снялись без масок, чтобы потомки опознали. Зато миниатюрный берлинский живописец Женя Шеф походил на эльфа, и не только в Хеллоуин. Рядом с ним – одетый цыганским бароном Сёма Окштейн, который прославился женскими портретами-фетишами в стиле «вамп». Моделью ему служила милая жена, сделавшая карьеру в банке.

– Сразу и не узнал, – застеснявшись, сказал я при знакомстве.

– Зато брак счастливый, – ответила она.

В центре снимка – королева бала Татьяна Толстая. Она неизменно получала «Золотую тыкву» за лучший костюм. И не удивительно, если учесть, что однажды Таня пришла в пальто, а скинув его, осталась в наряде орангутанга.

Шумная и веселая, на первый взгляд Толстая кажется не похожей на свою тонкую прозу. Но в ее литературе есть и нечто по-фольклорному залихватское, заговаривающееся, чуть ли не

кликушествующее. Вот так Наташа Ростова танцует барыню: по-народному и как бог на душу положит, чем меньше думаешь, тем лучше получается. Толстая знает, когда отпустить вожжи и распустить язык – он сам до Киева доведет.

Пожалуй, только в нем, в Киеве, мы с ней и не встречались, зато прочесали изрядную часть остального мира. Путешествуя по городам Старого и весям Нового света, мы всюду начинаем диалог с того места, на котором в прошлый раз его прервали. С Таней можно дружить дискретно. Пунктир разговора пересекается в точке встречи, чтобы побыть и посмеяться вместе. Например – в древнеримском, а теперь хорватском городке.

Литературный праздник в Пуле разворачивался в тенистом от пальм саду, где стоял помпезный Дом офицеров. В XIX веке здесь играли в бильярд австрийские адмиралы, в XX – югославские, теперь собрались писатели. Их встречала двухэтажная покровительница – голая, как леди Годива, резиновая женщина, оседлавшая книгу.

– ПУФКа, – представили ее мне, но разобрать аббревиатуру я не успел, потому что заиграл дуэт ударника с ударником.

– Национальный гимн? – спросил я.

– Скажете такое, – поджала губы соседка, и я больше не решался шутить над молодым и потому особенно обидчивым патриотизмом.

Книжную ярмарку поручили открыть Толстой.

– Живеле! – выкрикнула она, и все перешли к выпивке.

Тем же вечером мы допивали последнее под светлым от звезд адриатическим небом.

– Мы с тобой тут тоже звезды, – задумчиво сказала Татьяна.

– Еще бы, – благодушно ответил я, – ты – Большая Медведица, а я – Малая.

Отсмеявшись, мы решили, что глупо расставаться и после смерти. Толстая в нее не верила, я не знал, что сказать. Чтобы узнать, мы договорились, что попавший на тот свет первым пошлет оставшемуся на этом шибболет – тайное слово-пароль, содержащее благую весть. Пока жив, я, разумеется, тайну не выдам. Но иногда она мне снится: стихи, написанные такими словами, от которых отступает смерть. В Хеллоуин мы над ней еще хихикали.

2

В Америке я ничего не боялся. Разве что остаться без нее, когда нас с Вайлем пригрозили депортировать за репортаж из

Гарлема «Белым по черному». Не испугался я и в тот вторник, когда меня разбудил звонок приятеля.

– Как дела? – спросил я, зевая.

– Дела? – вкрадчиво сказали в трубку. – Выгляни в окно, кретин.

Все еще не понимая, чего от меня хотят, я выскочил на набережную Гудзона, отделяющего наш дом от Нью-Йорка. Сперва я заметил только гурьбу растерянных на паркинге. Все смотрели на юг, многие снимали. Взглянув куда все, я увидел Близнецов. Они всегда были моими любимцами. С нашего берега пара башен выглядела так, будто завершала кавычками Манхэттен, и я не уставал любоваться этой цитатой. К тому же, в них было что-то писательское: один небоскреб – небоскреб, два – гимн тиражу. Если, конечно, они не отличаются друг от друга. Но в то утро одну башню окутывал черный дым, а другую – белый. Когда оба столба растаяли, исчезли и Близнецы. Ветер относил звуки в океан, и в тишине слышалась лишь скороговорка радио из открытой настежь машины. Остальное я досмотрел по телевизору. Репортаж из Даунтауна перемежался реакцией мира на происшедшее.

– В стране – паника, президент бежал, – сообщил московский корреспондент из Вашингтона, но я ему не поверил. Буш был на месте и читал детишкам про козу – девять минут, считая с того момента, когда ему сообщили о налете.

Вслед за погибшей архитектурой потянулся шлейф историй и слухов. Иногда – со счастливым концом.

– Коллега с 83-го этажа, – рассказывали мне, – завел роман на стороне и вместо работы провел день со своей дамой в отеле с выключенным, естественно, телевизором. Домой вернулся как ни в чем не бывало и на вопрос жены, что на службе, сказал, что ничего нового. Жена, бедняга, и не знает, то ли радоваться, то ли разводиться.

– Характерно, – замечал другой мой знакомый, изучавший список жертв в «Нью-Йорк таймс», – что ни одного еврея не погибло. Видимо, Моссад своих предупредил.

– А кто по-твоему, – спрашивал я, взглянув на первые попавшиеся имена в газете, – Аронов и Бернштейн?

– Понятия не имею, – ответил он, не смутившись.

– Пожарным, – волновался другой, – досталась тонна золота, которое расплавилось в ювелирных лавках с первых этажей.

Но в целом дураков было немного. На Юнион-сквер жгли свечи, приносили цветы, пели грустные песни и развешивали стихи и рисунки. Мемориальная выставка, перекочевавшая потом в музей, выросла на границе опасной зоны: южнее 14-й стрит

никого не пускали. Воронки еще долго дымились, и спасатели носили респираторы, мы обходились марлевыми повязками.

Уже на следующий день все окрестные дома обклеили листовками, в которых спрашивалось, не знает ли кто о домашних животных, оставшихся без хозяев в запертых квартирах. Людям было не проще. Повсюду висели фотографии пропавших, о которых близкие все еще надеялись что-то узнать от прохожих. Люди обычно снимаются, когда им хорошо. Поэтому на фотографиях все смеются. Старик позирует на слоне: отпуск в Индии. Молодые веселятся на свадьбе. Девушка вымазалась мороженым.

Когда надежды иссякли, и пришла пора опознавать трупы с помощью ДНК, вдоль реки вырос палаточный городок экспертов. К нему выстроилась огромная очередь родственников. Они несли завернутые в пластик зубные щетки, расчески, тапочки, запасную челюсть.

В Близнецах погибли либо богатые, либо бедные. Первые – финансисты, воротилы, вторые – те, кто их обслуживал: официантки, швейцары, водопроводчики, лифтеры. Последние, впрочем, сразу остались без дела. На землю можно было попасть только по пожарным лестницам, а это значит крутые пролеты, тесные площадки, мелкие ступени. Подгоняемые дымом и страхом, люди спускались и с 46-го этажа, и с 89-го, а может и со 107-го, где я как-то ужинал в ресторане «Окнами в мир». До тротуара отсюда четверть мили, но по лестнице все спускались честным маршем. Никто не кричал, никого не давили, тут все были равны, кроме одной, парализованной. Оставшись без коляски, она, задерживая других, сползала на руках, пока её не взвалил на плечи юноша пуэрто-риканской наружности. Он не назвал своего имени, то ли из скромности, то ли – нелегал.

На третью годовщину теракта в городе открылся виртуальный памятник Близнецам. В ночном небе могучие прожекторы выстраивали две белые, словно призраки, башни. Но вскоре световой мемориал отключили. Выяснилось, что он сбивает с толку перелетных птиц, которые уж точно не виновны в наших распрях.

3

После 11 сентября город изменился. Возле мостов зачем-то дежурили танки. На улицах появились солдаты. До этого я видел только одного, на экскурсии в Пентагоне, где он ловко шагал спиной вперед и смешно шутил, выбалтывая военные тайны.

11 сентября я, как обычно, собирался на студию радио «Свобода», но взрывная волна выбила стекла и в нашем небоскребе. Манхэттен задыхался от зверских пробок, зато небо было пустым и чистым. Над страной не летал ни один самолет, пожалуй, впервые с тех пор, как их изобрели. Поэтому, когда я хотел послать рукопись московскому издателю, то на почте мне сказали, что через океан бандероль можно отправить только морем.

Вскоре все стало почти так, как было, и уже на следующий день моего товарища оштрафовали за нелегальную парковку. Недвижимость, на что я сдуру понадеялся, не упала в цене даже в оцепленных кварталах. Другое дело, что террор показал уязвимость Нью-Йорка, и за это я полюбил город как родного, особенно – Манхэттен.

Остальные боро растекаются по стране, теряясь в тусклых пригородах Квинса, тучных фермах Лонг-Айленда, волнах океана и лесах континентального Бронкса. Но Манхэттен, этот остров сокровищ, можно было охватить одним взглядом с крыши Близнецов или объехать за день на своих двоих. Лишенный одной радости, я увлекся другой, принявшись заново изучать город с седла велосипеда.

У меня их четыре. Горный – для гор, спортивный – для равнин, гибридный – для покупок и трехколесный – для жены, которая только на таком и умеет ездить. Я всегда любил велосипед, за то, что с него дальше видно. Аристократ дороги, велосипедист, как мушкетер, меньше зависит от закона, позволяя себе катить навстречу машинам – «лососить», как это называется в Нью-Йорке.

Объезжая Манхэттен по периметру, я крепил связавшие нас узы. В этом городе мне довелось жить дольше, чем в любом другом. Я видел его днем и ночью, зимой и летом, трезвым и пьяным, молодым и не очень. Но после 11 сентября у нас начался второй медовый месяц.

Первый, как это обычно и бывает, испортила неопытность. Сперва я не принял его старомодную нелепость и не оценил хвастливую, уместную только в Новом Свете эклектику. Чем лучше я узнавал Нью-Йорк, тем меньше понимал. Конечный и неисчерпаемый, как атом, он был начинен чудесами и с каждой встречей выглядел все более таинственным, словно в хорошем, как у Кеслёвского, кино, где реальность плывет незаметно и неизбежно.

Выбираясь теперь на нью-йоркские улицы, я ничего не ждал и не искал, зная, что город сам повернется другим боком, открыв новый вид на себя и представив очередного персонажа. Один

такой, одетый в одеяло, рылся в мусоре. Как все нью-йоркские бездомные, он казался целеустремленным и знал, что делал. Из бака вынимались алюминиевые банки, объедки пиццы, бутылка с недопитым креплеными вином «Дикая ирландская роза». Собрав находки в кучу, бездомный открыл спасенную из мусора газету «Уолл-стрит джорнел», достал из-под одеяла треснутые очки и, перекрестившись, чтобы отогнать дурные новости, принялся читать полосу биржевых сводок.

Лонг-Айленд, *или* Старость

Я приехал в Америку на рассвете своей жизни, отец – на закате. Он этого не знал и выглядел, как огурчик, которым мастерски закусывал особый 300-граммовый стакан, удивляя случайных гостей и радуя завсегдатаев. Отец никогда не болел, был крепок умом и обладал цепкой памятью. Он, например, помнил и ненавидел всех членов политбюро. Статный и находчивый, отец нравился женщинам, причем, не только трудной судьбы. Дожив до 50, он не растерял вкуса к жизни и ненависти к советской власти, которая напрасно старалась вкус отбить, а жизнь испортить.

Мне кажется, он немного презирал нас с братом за бледность чувств и ограниченность плотского опыта. Отец справедливо считал, что лучше меня распорядился бы писательской карьерой. К несчастью, он всю жизнь занимался не своим делом, хотя и был успешным инженером, популярным профессором и кандидатом липовых наук. Все это было чужое. После пиров и женщин, отец больше всего любил родную политику. Он читал стенограммы партийных съездов, выуживая оттуда пикантные подробности. Отец знал в лицо палачей и жертв, уличал власть во вранье и упивался им. Обрадовавшись перестройке, он открыл для себя гласность мемуарами Кагановича.

Меня отец воспитывал спустя рукава, зато научил главному: кататься на велосипеде, грамотно накрывать на стол и не верить всему, что говорят власти, в школе и вообще. Держать язык за зубами он и сам не умел, а в остальное не вмешивался. Отец не огорчился, когда я перестал стричься. Не перечил, когда я выбрал филфак. Не сетовал на то, что я женился в 20 лет (сам он справил свадьбу с мамой в 18). Мы прекрасно ладили, и, как все тогда, спорили только о книгах. Всем авторам отец предпочитал запрещенных. «Братьев Карамазовых» не дочитал, Кафкой любовался издалека. Стругацких считал молодежной причудой, вроде твиста.

В Америке, однако, в нашу дружную жизнь вмешалась политика. Отец вступил в республиканскую партию, влюбился в Рейгана и повесил его фотографию на холодильник.

– «Империя зла», – восхищался он, – про нас лучше не скажешь.

Как вся русская Америка, отец считал либералов манной

кашей, верил в сильную руку и ужасался, когда я голосовал за демократов.

– 49 штатов выбрали Рейгана, – горевал он, – и только мой сын за Дукакиса.

Несмотря на бодрящую пикировку американская политика не могла заменить отцу отечественную. Америка и в других отношениях не оправдала его ожиданий. Раньше она была песней сирены из «Спидолы», но вблизи новая жизнь состояла из своих будней и чужих праздников. Отец быстро устроился на работу по специальности, которую он и дома терпеть не мог. Купил машину, посмотрел Феллини, съездил в Париж, посетил Флориду и сник от свободы.

Без сопротивления властей угас его темперамент. Он тайно скучал по всему, что делало прошлое невыносимым: дефициту и риску, двоемыслию и запретному. Отец умел доставать, чего не было, говорить, что не следовало, и выискивать недозволенное из напечатанного. Его кумиром был Остап Бендер, который вошел в роман в тот день, когда отец родился: 15 апреля 1927 года. В Америке им обоим не нашлось места.

Об этом нас никто не предупреждал и в это трудно поверить. Поэтому, когда Павел Санаев прислал сценарий с просьбой приспособить его к Америке, я попал впросак. Первая сцена в Бруклине: собирая взятку врачу, вредная бабка, заворачивает коньяк, шпроты, конфеты.

– Понимаете, – сказал я, – здесь врачи не берут конфетами.

– А чем же? – удивился Павел, – Икрой? Шампанским?

– Деньгами, – вздохнул я, вспомнив, сколько стоит медицинская страховка.

Отец тоже слишком долго прожил с советской властью, чтобы тихо радоваться ее отсутствию. Не омраченные преступным умыслом Кремля американские дни ползли и сливались. По-настоящему отца волновали лишь вести с родины. Он опять приник к коротковолновому приемнику и слушал Москву, споря, возмущаясь, негодуя и радуясь. Америка осталась на полях его жизни: необходимое, но недостаточное условие существования.

– Ты заметил, – сказал мне брат, – как отец скукожился без советской власти?

– Как и она без него, – ответил я, потому что, умирая, СССР на глазах становился серее, чем был.

2

С трудом дождавшись пенсии, отец перебрался к океану,

купив на Лонг-Айленде домик. Раньше в нем жила ирландская пара с десятью детьми, спавшими в три этажа на нарах. Теперь там поселились мои мать с отцом. К новоселью мы подарили им ностальгическую березу. Она принялась и отбрасывала тень на весь сад, включая миниатюрный огород, где мама выращивала овощи по алфавиту из каталога. Отец ловил рыбу в канале. Иногда – угрей, чаще серебристую мелочь. Удочку он забрасывал через ограду, не отрываясь от приемника, поддерживающего беспрерывную связь с Москвой. Когда началась перестройка, отец стал горячо переживать за державу, радуясь переменам и боясь их. Отец страдал, глядя, как рушится режим, трижды исковеркавший его жизнь.

– Как смеют, – жаловался он, – лимитрофы срывать наш советский герб?!

– Но разве не от него ты бежал за океан?

– Империя зла, – отвечал отец невпопад, – полюбишь и козла. Не они этот герб вешали, не им его снимать.

Родина уменьшалась вместе с ним, и он жалел ее и себя. Преступления державы придавали некое величие тем, кто от нее спасся. В глазах отца Сталин рифмовался с Солженицыным, Горбачев – с гласностью, зато Ельцин – с бутылкой, и мы опять разошлись в политических пристрастиях.

С литературой дело обстояло не лучше. Устав притворяться, отец полюбил простое. Непонятное его раздражало, Бродский бесил, и, перестав ждать от меня чего-нибудь не заумного и внятного, он сам принялся сочинять стихи к семейным праздникам и мемуары каждый день.

За столом, однако, по-прежнему царил вечный мир. Арбитр вкуса, отец не верил в кулинарную демократию. Про еду он знал все и не позволял пренебрегать ее законами.

– Как говорил ваш Бродский, – объяснял он, – важно не что, а что за чем идет.

Каждую трапезу отец планировал, как стратег. Не удивительно, что обед, начавшийся под переросшей крышу березой, кончался под ней же, но уже завтраком, который отец именовал черствыми именинами и любил еще больше.

В этот дом гостей приезжало еще больше, чем в предыдущие. Оно и понятно: Лонг-Айленд считается роскошью. Летом – сто шагов до моря, но в сезон ураганов оно разливалось до крыльца, губило соленой водой высаженную для Рождества елку, а иногда заходило в гостиную. Тогда родители забирались на второй этаж и пережидали беду, прижав к груди самое дорогое: американский паспорт и свадебные фотографии.

Опасность, впрочем, лишь прибавляет азарта, и богачи строят

на берегу открытого океана 100-миллионные особняки, которые страховое общество Ллойда по степени риска приравнивает к океанским лайнерам. Мне больше нравилась песчаная коса – экологический рай и гомосексуальный курорт. На девственном пляже запрещалось то, что делает нас людьми и животными, а именно: есть, кричать и лаять. В дачном поселке нет автомобилей, в единственной лавке продаются солнечные очки, шампанское и разноцветные презервативы. Дети не шумят – их нет. Из нарочито простых бунгало, напоминающих некрашеные сараи, доносятся оперные арии.

К осени здесь никого не остается и начинается мой любимый сезон – мертвый. Дождавшись одиночества, я превратил косу в персональный пляж творчества. Пустынный пейзаж исчерпывался сиреневым маревом и жемчужным песком. Бродя по нему вместе с крабами, я проводил стилистический эксперимент, решив писать только о том, чего не знаю, – чтобы узнать.

Это надо понимать буквально. Обычно тексту предшествует план, расчет и умысел. Начиная страницу, автор знает, чем ее закончит или хотя бы надеется на это. Чтобы увеличить шансы, я иногда стартовал с финала, погоняя строчки к дорогому мне итогу. В этом нет ничего зазорного, ибо знать, что хочешь сказать, не так уж мало и очень трудно. Но не знать этого – еще сложнее.

Первое предложение новой книжки я – от суеверия и ужаса – вывел палкой на песке. Потом долго ходил вокруг него, пока – уже в блокноте – не написал второе. Сцепившись, как в пряже, они родили третье, но я по-прежнему не знал, что будет в конце абзаца, и с огромным интересом подглядывал за текстом – и собой. Трактуя автора как сумму друзей, врагов и родичей, я надеялся с их помощью прийти к выводу и узнать в нем себя. Это еще больше усложняло мою задачу. Ведь до тех пор я писал о придуманных, а не о настоящих людях.

– Копировать гипсовые отливки, – говорил Роман Якобсон, – несравненно проще, чем натурщиков.

То же относится и к литературным персонажам. Как бы противоречивы они ни были, живые всегда превосходят вымышленных сложностью – ведь их создавали без цели и умысла.

– Писать о чужом, – вывел я, глядя в безграничный океан, – все равно, что пускаться в каботажное плавание. Своя литература тем и опасна, что не видно берегов, за которые можно цепляться.

Книжка кончилась зимой. Бешеный ветер вырывал из рук бумагу, и я сдался, поставив точку. Труднее всего далось название. Оно не могло объяснить, о чем я написал, потому что мне вряд ли удалось узнать об этом больше, чем читателям. Не

справившись с вызовом, я пошел на подлог, заменив заглавие методом: «Трикотаж». Мне этот опус до сих пор дороже других, возможно, потому, что это мое, сугубо личное дело.

– Какую книгу пишете? – спросил Синявский, когда мы встретились в Нью-Йорке.

– «Трикотаж».

– Одного вашего кота я знаю, – вмешалась Марья Васильевна, – а где еще два?

3

Я понял, что отец стареет, когда ему начали нравиться мои сочинения. Закончив сражаться, он впал в мерехлюндию и перестал узнавать себя в зеркале.

– Каким я стал некрасивым, – удивлялся отец, привыкший быть статным мужчиной.

Не привыкнув к рефлексии, он редко замечал ход жизни, проплывал милю по морю, ел только вкусное и поразился, когда пришли болезни. Перед тем, как его первый раз забрали в больницу, он позвонил мне.

– Немедленно приезжай проститься, – строго сказал он в трубку, – если буду спать, не буди.

Догадавшись, к чему идет дело, он впервые стал жаловаться.

– Жизнь потеряла вкус, – говорил он всем, кто слушал, – и больше всего я боюсь, что она кончится.

Еще больше его огорчало то, что он принимал за мою индифферентность.

– Почему ты не спрашиваешь меня о главном, – удивлялся отец, – что такое жизнь, что – смерть, есть ли Бог?

– А ты знаешь?

– Нет, но ты все равно мог бы спросить.

Не веря в метафизическую мудрость отца, я завидовал его живучести, но он, как евреи и женщины, не ощущал в себе тайны, которую видят в них другие.

– Эгоизм и любознательность, – думаю я теперь, – придавали ему силу, питали его волю и держали на поверхности при всех властях – от Сталина до Бушей.

Отец ставил себя в центр любой истории, слепо верил в свою правоту, мог съесть последнюю конфету и сразу после операции спрашивал медсестру, неужели ей нравится недоумок Гарри Поттер.

Мне никогда до него не дотянуться, потому что я склонен наблюдать окружающую среду. Не слушаться других, но слышать

их, запоминая глупое, умное и всегда – смешное. Между тем, для писателя другой – злейший недруг. Чтобы не обращать на него внимания, автору нужно верить в себя без оглядки, не страшась остаться без читателя один на один с исписанной бумагой. Эгоизм – причина творчества, любознательность – его подмена. Дефицит одного и избыток второго всю жизнь мешали мне стать таким, каким был отец, хотя я не уверен, что и в самом деле хотел этого.

Отец умер за день. Еще накануне мы обсуждали меню их алмазной свадьбы, до которой он не дожил две недели. Последний вечер он провел, как многие из предшествующих – с Ильфом и Петровым. Под одеялом лежала «Одноэтажная Америка». Мать рассказала, что перед рассветом отец отправился в туалет и упал на обратной дороге.

– Она? Как интересно! – сказал отец и перестал дышать.

Мама положила в его открытый рот таблетку аспирина и вызвала полицию. На похоронах было людно. Вышло так, что в Америку перебралась половина их одноклассников. Все вспоминали только смешное. Ничуть не удивившись веселью, директор похоронного бюро посоветовал положить в гроб бутылку хорошего виски, как это делал он сам, провожая своих ирландских родственников. Но мама сунула под крышку банку меда. А мы-то думали, что ее жизнь с отцом была не сахар.

Как он просил, мы рассыпали прах в океане. Серая взвесь замутила волну и вместе с ней отправилась домой, на восток – с Лонг-Айленда больше некуда. Когда все кончилось, над мамой милосердно опустилась завеса. Она молилась пролетающим самолетам, забывала есть, делала вид, что читала, но еще три года – до самого конца – слушала любимую с юности бравурную классику: Листа, Грига, Рахманинова.

Глобус, *или* Метемпсихоз

О путешествиях я мечтал еще тогда, когда доступные мне средства транспорта ограничивались пригородной электричкой и трехколесным велосипедом. Но и в раннем детстве километровое расстояние между приморскими станциями приобретало тот истинный смысл, что преображает дорогу в приключение: дальше будет интереснее.

Мир рос вместе со мной, и я, освоив Дзинтари, где мы жили на казенной даче, открыл Дубулты. Раньше там отдыхал один Гончаров, потом – гурьба советских писателей в доме творчества. В Асари росла лучшая в мире клубника, попавшая за это в энциклопедию Брокгауза и Эфрона. Под Слокой жили цыгане, однажды съевшие выбросившегося на берег кита. В Кемери земной шар закруглялся, и электричка отправлялась обратно в Ригу.

Школьником я научился ездить на попутках – от Белого моря до Черного. Студентом уперся в западную границу на Карпатах. Эмигрантом преодолел ее и вошел во вкус.

Первой – разумеется, после Парижа – была Греция. Простодушно собрав каждый цент и не думая о том, что нас ждет дома, мы с женой отправились в путь, потому что другого выхода не было. Я выучил названия всех полисов, различал 49 видов греческих ваз и мог на салфетке нарисовать колонны трех ордеров и перечислить их элементы. Эллада оправдала вложенные в нее труды. И это несмотря на то, что «метафора», означавшая перевозку, красовалась на бортах грузовиков, «трапезой» назывался банк, газета – «эфемеридой», а в Элевсине вместо мистерий обнаружилась авторемонтная мастерская. Научившись смотреть на настоящее, скосив глаза в прошлое, я мог так совмещать время, что одно просвечивало сквозь другое.

– Всякая страна, – утверждала моя путевая теория, – палимпсест, позволяющий выбрать и разглядеть слой на выбор, вооружившись подходящей оптикой – и цветным зрением.

Его мне навязал диковинный журнал «Антураж». Дитя гламурного угара, он явно жил не по средствам и держал в московской редакции мартышку по имени Машка. Ручная и ласковая, она залезла ко мне на колени и незаметно стянула с запястья часы. Возможно, так решался вопрос финансирования роскошного органа, каждый номер которого выходил в своем

цвете. Я с радостью подчинился условием игры.

– Вериги, – обнаружил я на опыте, – не мешают, а помогают искусству – от футбола до любой словесности, но путевой – особенно. Обязательный элемент, словно намагниченный гвоздь, придает наглядную структуру опилкам дорожных впечатлений.

Пока «Антураж» не разорился, я снабжал журнал цветными пейзажами, которые причудливо иллюстрировала жена. Она унаследовала от отца вкус к фотографии и, когда я не вмешивался, снимала окружающее симпатичным и нужного цвета. Иногда наш мир получался белым, как альпийский снег, иногда – черным, как тени в Нью-Йорке, иногда – пестрым, как туземные базары, иногда – золотым, как рыбка, иногда – серебряным, как иней в новогоднем лесу. Когда палитра кончилась, я дополнил галерею ожившими пейзажами: звериным, мужским, женским. После того, как «Антураж» разорился, я выпустил «Книгу пейзажей» и продолжил полировать ритуалы странствий.

Заранее выбрав жертву своей неуемной любознательности, я месяцами в нее вживался. Путь начинался с истории, которая строила королей в династии и укладывала в колоду. Тут, почуяв жареное, моя душа открывалась наружу, и начиналось самое интересное. Готовясь к поездке в новую страну, я слушал ее музыку, читал ее авторов, готовил ее блюда, смотрел ее фильмы и узнавал ее мечты.

Тотальному погружению мешали не дававшиеся мне иностранные языки. Греческий разговорник, которым я из предусмотрительности запасся еще в СССР, предлагал спрашивать в афинском магазине, когда завезут сосиски, а у прохожих – как пройти в ЦК коммунистической партии. Японский словарь научил меня вежливой фразе «о-сева-ни-наримашита», которой я в Нарите оглушил таможенника, принявшего меня за шпиона.

Еще хуже обстояло дело с итальянским. Обследуя волшебный сапог от каблука к голенищу, я так часто по нему ездил, что мне пришла пора заговорить с местными. Готовясь к новой встрече, я взялся за убыстренный курс и три месяца повторял все, что мне говорил голос в наушниках.

– Buongiorno, – степенно начинал он, но тут же сворачивал на сторону, – что будет пить, bella ragazza, пиво, вино или сразу бренди? За столиком? Или в моем номере, где нам не будут мешать?

Чувствуя, что учусь не тому, я все же закончил курс и отправился в Тоскану. Первый эксперимент прошел в супермаркете, где я собирался купить овсянку на завтрак.

– Avena? – спросил я у кассира, найдя название злака в

припасенном лексиконе.

Тот смешался и пошел за подмогой.

– Овес? – убедившись в том, что я настаиваю на этом товаре, переспросил хозяин, – у синьора есть лошадь?

2

Географические запои перетекали из одного в другой так плавно, что я почти всегда жил где-нибудь еще. Под постоянным напором из года в год глобус сжимался, и карта дробилась. Из одной только Югославии вышло шесть стран, и во всех меня печатали, включая последнюю – Черногорию. Она появилась буквально на моих глазах, и я первым купил её почтовые марки. Свою маленькую, но гордую страну мне показывал (с вершины горы) такой же ерепенистый директор ее главного музея. Чтобы занять эту должность, ему пришлось заполнить анкету. В болезненной графе «национальность» он поставил «не колышет».

Открыв для себя Балканы с их региональной смурью, я понял, что в моих путешествиях мне не хватает живых людей и современных сплетней. Общаясь с покойниками и навещая руины, я обходился историей, но только местные могли ее оживить. Теперь я в каждой стране нахожу славистку и зову её на обед. Надеясь сделать встречу взаимовыгодной, она начинает беседу с предмета своих занятий – с Достоевского, Петрушевской или Акунина, но я коварно перевожу разговор на сплетни и узнаю много нового. Злословие – бесценный источник мелких знаний.

– В Японии, – объяснили мне, – нет антисемитизма, потому что все белые – на одно лицо.

– В Таиланде, – предупредили меня, – живут прирожденные дипломаты и перед дракой улыбаются.

– В Берлине, – сказали мне, – бывшие жители ГДР выключают компьютеры, выходя в туалет.

– Все евреи, – объявили мне в Израиле, – братья, которые делятся по престижу на сорок разрядов, когда выдают дочь замуж.

– Скандинавы, – предупредили меня шведы, – бойскауты Европы, кроме распутных датчан, простодушных норвежцев, диких исландцев и пьяных финнов, не являющихся скандинавами вовсе.

– Запомни, – учила меня англичанка, – шотландцы молчат, ирландцы пьют, а про валлийцев ничего не известно – они всегда поют.

– Каталонцы, – узнал я в Барселоне, – протестанты Испании, где все остальные любят корриду, не считая басков, которые

почти ничем не отличаются от людей и хорошо играют в футбол.

– Аргентинцы – растолковали мне их соседи в Бразилии, – итальянцы, которые говорят по-испански и думают, что они англичане.

В Перу я узнал о войне с Эквадором, которая не известно, чем кончилась. В Провансе мне показали французских ковбоев, придумавших джинсы. В Кельне мне дали понять, что немецкий ум растет с географической широтой, в Мюнхене – что он с ней убывает.

Собрав множество безответственных, непроверенных и бесполезных сведений, я открыл и полюбил мир – весь, но по-разному. В одних странах, во Франции, я счастлив каждый день, в других, в Италии – каждое мгновение. Но только в третьих включается темное, не проясненное разумом избирательное родство. Не в силах объяснить природу необоримой привязанности, я отдаюсь ей, не задавая вопросов.

Так, я твердо знаю, что у меня есть интимная связь с любым Севером. Германские народы – и немцы, и англичане, и уж точно голландцы – держат меня в пожизненном плену. А на пределе экзотики маячит Китай, который я именую «Катаем» и принимаю древним.

– Метемпсихоз, – высказался Парамонов, – душа твоя, прежде чем стать наполовину русской и наполовину еврейской, вселялась в прошлых рождениях в викингов, тевтонов и желтолицых. Более того, у тебя хватит ума поверить в эту чушь.

Я не верил, я знал и помнил заветные адреса, которые резонировали с тем, что Парамонов называл душой, буддисты – никак, а я – чем придется. Мой утопический глобус был меньше и лучше любого другого. В нем находилось место лишь для того, что удалось истории. Моря и континенты тут заменили банальные и бесспорные столицы вечного: лейпцигская церковь Баха, веймарский дом Гете, театр Шекспира, викторианские трущобы Диккенса, школа Конфуция, деревня Чжуан-цзы и музей в Рейкьявике, где я столь основательно прилип к витрине с рукописными сагами, что ко мне приставили полицейского, первого и единственного встреченного мной во всей Исландии.

Наметив адреса паломничества, я навещал их, следуя за случаем, который я принимал за шепот рока. Любой пустяк – кадр, экспонат, абзац, гость или блюдо – мог послужить катализатором бурной реакции. И тогда я на несколько месяцев перебирался в одну из любимых эпох и обчитывал ее до тех пор, пока не менялись сны. Это значило, что подсознание готово к метемпсихозу. Ведь я знал, что ел Гете (тефтели), пил Гофман (рейнвейн) и нюхал Наполеон (фиалки). Иногда в

культурологическом трансе я и впрямь перебирался туда, где мечтал сойти за своего, и тогда до меня доносился кислый дымок из фанзы или металлический перебор клавесина из тесных покоев.

– Мир для тебя – отвечал на мои признания Парамонов, – шведский завтрак, между тем, культуру не выбирают, в ней живут. А когда интересно все, то ничего не важно.

Я знал за собой грех всеядной любознательности, но не собирался каяться. Больше меня страшит черный день, когда мой глобус померкнет, исчезнет страсть к перемене мест, старость засыпет колодцы, и жизнь сведется к тому, что тут, а не там, к тому, что есть, а не было. Не дожидаясь конца, я собрал свои любимые путешествия в один том и назвал травелог вызывающе: «Космополит».

– Умно, – заметила жена, – космополит обычно бывает безродным и переводится «жидовская морда».

– Кто так считает, – успокоил меня практичный Иван Толстой, – не покупает книг, во всяком случае – ваших.

3

Греки считали космополитами тех, кто чувствовал себя дома либо всюду, либо нигде. Отрицая крайности, я искал компромисс, называя себя квартирантом Вавилонской башни, где мне удалось устроиться вместе со своим уютным глобусом. Беда в том, что в нем зияла дыра размером в одну шестую часть суши. Когда она уменьшилась до одной седьмой, Бродский, не найдя названия новой стране, предложил именовать её «Штирлиц». Впрочем, сам он в ней так и не побывал.

– Глупо, – неубедительно, но горячо объяснял Бродский, – возвращаться на место любви, а не на место преступления, где деньги зарыты.

Но я, прожив на родине не так долго, чтобы навсегда в ней разочароваться, каждый год приезжал в Россию с надеждой и путеводителем, а возвращался с похмельем и в смятении.

– Ни рыба, ни мясо, – объяснял я жене.

– Они?

– Я.

Мне никак не удавалось охватить отечество тем внутренним взором, что проникает в чужое, как в теорему Пифагора: раз и навсегда. Осмотрев и полюбив 70 стран, я не мог понять ту, которой от отчаяния придумал минималистское определение: «родина моего языка».

С одной стороны в ней все было знакомо, с другой – ничего, и каждый шаг обещал курьез, хотя московские друзья в это не верили.

– Держу пари, – говорил я им, – что еще до конца квартала мы найдем что-нибудь смешное.

– Чушики, – отвечали мне.

И зря. Задолго до перекрестка я разглядел на стене чернильное объявление, списанное с пьесы Шварца. Оно гласило «Продаются яды».

– У тебя свой есть, – обиделись спутники и оторвали себе по лепестку с телефонным номером.

Каждый визит усиливал недоумение, попутно обнажая ослабевшие в Америке национальные признаки.

– Зря мы евреев отпустили, – сказал московский таксист, взглянув на мой профиль.

– Почему?

– А как мы без вас с китайцами справимся?

– А они, то есть, мы – как?

– Откуда мне знать, – пригорюнился он, – я же не еврей.

Общий язык мне скорее мешал. Он был не очень общим, и я шевелил губами, переводя «манагеров» и «улучшайзинг» с одного русского на другой, родной. Возможно, поэтому меня часто принимали за чужестранца, кем я тоже не был.

– Американец, – развел руками Юрий Рост, – и пошел за скатертью, хотя я прекрасно бы обошелся газетой, когда мы ужинали в его дворе.

Хуже, что в Москве меня все попрекают Америкой: мол, разве ваши лучше?! И я кажусь себе самозванным богом, вынужденным отвечать за все промашки не им сотворенного мироздания.

– Между нами и ними, – вернувшись, втолковывал я жене, – невидимая мембрана, которая незаметно и фатально искажает смысл жестов, слов, чувств и выпивки.

– Возможно, – согласилась она, – но к нам это тоже относится.

Состарившись в Америке, мои друзья смотрят только русское кино. Внутри него они в безопасности – как в заповеднике. В нем все – слово, закон, или вещь – обретают прибавочную стоимость абсурда. Узнав, что Запад обесценивает уникальный опыт, наши тянутся обратно – в искусственную среду обитания. Стругацкие называли ее «зоной». Попав сюда, обыденное становится опасным, как «комариная плешь», но и волшебным, как «машина желаний». Не зря Сталкеру у Тарковского свободно дышалось только в зоне.

– Остап Бендер, – говорил мне отец, – мог жить лишь в СССР. Доведись ему попасть в Рио-де-Жанейро, он бы скучал там не

меньше моего.

Сам я приехал в Америку слишком молодым, чтобы ее не полюбить, но слишком взрослым, чтобы с ней породниться. От нее меня отделяет все та же мембрана. Как намыленная игла, я, не намокнув, скольжу по волнам океана, не растворяющего два мира.

– И оба, – заношусь я, – принадлежат мне.

– Зато ты, – ставит меня на место Парамонов, – не принадлежишь ни к одному.

Он, конечно, прав, но я, выбрав себе неконвертируемую судьбу, не жалуюсь.

Лес, *или* Рутина

Просыпаясь, я смотрю на елку, не узнавая ни ее, ни себя, и это – лучшая секунда остального дня. Зазор между сном и пробуждением дает представление о мире, в котором нас нет. Чистый и беззаботный, он прекрасен – ему ничего не мешает быть только собой, без примеси посторонней личности – моей. Жаль, что миг безвременья краток. Чтобы его растянуть, нужно быть буддистом, чтобы в нем исчезнуть – буддой. Мне это не светит, и я сдаюсь наступившему утру. Сознание возвращается. Я вспоминаю и ель, и то, что было, и все, что предстоит. Теперь уже не отвертеться: пора пить чай.

Раньше прежде, чем встать, я записывал сны, торопясь так донести до бумаги нелепую вязь, чтобы не спрямить углы и не растерять абсурда. Проглядывая дневник сновидений, я замечаю наследственные черты. Отцу часто снился Хрущев, мне – Брежнев, иногда я с ним дружил. Но в целом мои сны были не умнее яви. Лишь однажды мне приснилось нечто практичное.

– Отныне, – провозгласил кто-то невидимый, вероятно, бог, – сумма денег на банковском счету каждого будет равна его номеру телефона.

– Постойте, бог, – закричал я, – но у одних телефон начинается, скажем, на девятку, а у других – на двойку. Разве это по-честному?

– Значит, по-твоему – захохотал бог, – сейчас все справедливо?

Не сумев возразить, я проснулся и больше уже не надеялся выудить у снов ни мудрости, ни сюжета.

Утро начинается чаем, а не кофе, как в пропахшей им Риге. Там, притворяясь Европой, мы гордились венгерскими автоматами, подающими эспрессо, сильно разбавленный социалистической экономикой. Но однажды я прочитал в «Трех товарищах» странный диалог:

– Ты будешь пить кофе или чай? – спрашивает Пат у нашего героя.

– Кофе, – отвечает тот, – я же крестьянин.

Эта извращенная логика подготовила меня к Похлебкину, и, прочитав его эпохальную книгу «Чай», я сделал окончательный выбор, о котором сообщил ему письмом из Америки.

– Ничего удивительного, – ответил Вильям Васильевич, – эта

книга спасла от водки целое поколение диссидентов.

– Не мое, – подумал я, хотя теперь мне чай дороже.

Доведя мягкую воду до белого ключа и заварив в китайском чайнике цейлонский утренний с высокогорной плантации, я пью чай из столетней британской чашки зеленого фарфора с цитатой Бёрнса. И всё для того, чтобы донести до письменного стола по-утреннему тихое согласие с собой – ведь писать так страшно.

– Успех, – уговариваю я себя, – перемирие намерений с результатом.

Поскольку левая часть уравнения зависит от тебя, а вторая – нет, то главное – умеренность амбиций и сдержанность замаха. Переговоры, однако, не спасают от страха перед новым и стыда за старое. Я пишу сорок лет, и мне все еще хочется извиниться за каждую предыдущую строку и объяснить, что я хотел написать на самом деле. Но книги – выросшие дети: недостатки очевидны, пороть поздно. Остается только начать сначала, и это самое трудное, потому что не известно, где начало и куда оно приведет. Можно, конечно, с середины, как Гомер: «Гнев, о богиня, воспой, Ахиллеса, Пелеева сына». Было бы – что писать, но меня давно уже интересует только «как».

– Выход в том, – шепчет опыт, – чтобы усыпить бдительность и с деланным безразличием к читателю писать для себя как для другого – понятливого, дружелюбного, терпимого, словно любимый пес, а не злобный цербер, лающий «уже было». Писать, не слишком притирая фразы, оставляя пробелы между точками, прощая себе угловатость торопливых, чтоб не расплескались, сравнений. Писать так, чтобы словам было вольно, как в валенках, а мыслям тесно, как в голове. Но главное – писать, а не пялиться на пустой экран.

Очумев, я бросаюсь в прорубь и тыкаю в клавиши наугад: жжжжжжжжжжж.

– Про муху? Как Бродский? – удивляется жена, и, обидевшись, ухожу из дому.

2

Неподалеку от дома напротив Манхэттена расположен заповедник размером с 60 футбольных полей. Внутри – мелкий пруд, ручей, исчезающий в болоте, чтобы снова найтись и завершиться игривым водопадом, ископаемый, не знавший пилы лес. Дубы, вязы, но лучше всего – тюльпановые деревья. Их легко узнать по безупречно стройным стволам, уходящим выше других в небо. Одно, гласит табличка, ровесник Авраама Линкольна.

– Значит и Гоголя, – сообразил я и не постеснялся обнять шершавый ствол.

Заповедник окаймлен трехметровой оградой. Она нужна, чтобы посторонние звери не беспокоили местных. Но дикие собаки все равно забираются внутрь, если судить по следам на снегу или в грязи у водопоя. Сперва я принимал их за волчьи, но волки здесь не водятся. Зато медведей хватает. Помечая территорию, они обдирают кору намного выше моего роста. А однажды я встретил кошку – красивая, уши с кисточками, хвост – с руку.

– Кис-кис, – ласково сказал я ей.

Не ответив, она лениво двинулась навстречу и чем ближе подходила, тем меньше мне хотелось ее погладить. Мы холодно разошлись по своим делам, хотя я горько жалел, что оказался без камеры.

Заповедник вроде ковчега. Только птиц – 245 видов, включая хлопотливую стаю диких индеек, выводок шумных дятлов, меланхолического аиста-холостяка и молодого белоголового орла, позволяющего фотографировать свой государственный профиль. В пруду живут карпы размером с ванну, верткие нутрии и кусачие (это порода, а не характер) черепахи, откладывающие мягкие яйца на маленьком пляже. А в соседней луже я подсматривал за любовным ритуалом лягушек. Такого в сексшопе не покажут.

Конечно, и в этой идиллии не обходится без войн. То на кости наткнешься, то на перья. Я даже видел змею, поглощающую угря: единоборство двух шлангов. Но на чужой территории я не берусь отделять зерно от плевел, защищать добро от зла и разнимать палача с жертвой.

Привыкнув, здешняя фауна мало обращает на меня внимания. Зайцы пасутся, бурундуки греются, только олени не отрывают глаз. Особенно осенью, когда я встретил одного с ветвистыми рогами. Наклонившись, как в корриде, он наступал на меня, хотя я не посягал на его подругу. Не затевая скандала, я повернул назад, но обнаружил другого самца в такой же агрессивной позе. Оставив их выяснять отношения, я ретировался боком. Судя по тому, что стадо выросло, оба нашли себе любовь и пару.

В будни здесь нет ни одной души, если не считать звериных, и я делаю, что хочу, как Робинзон на пенсии. Вооружившись блокнотом, я скитаюсь по холмам, забираюсь в чащу и пишу, присаживаясь на пенек, как Ленин в Разливе, но лучше. В таком кабинете тает «страх влияния» – влиять некому. Природе все равно, людей нет, читателей – тоже. От одиночества труд

становится сосредоточенным отдыхом, вроде рыбалки, и бумага заполняется строчками, каплями дождя и кляксами от раздавленных комаров.

Из года в год, когда не слишком холодно или жарко, я, радуясь, что никому больше не приходит это в голову, пишу здесь книгу за книгой. Самой амбициозной была «Вавилонская башня».

3

Строя «Башню», я прочел центнер ученых трудов и ничуть об этом не жалею. Собрав мешок увлекательных фактов, тетрадь дерзких концепций и картотеку живописных примеров, я сводил их в универсальную формулу, которая обещала встретить XXI век и обжиться в нем.

– Завтра – это вчера, – утверждала книга, уговаривая время течь вспять к тому архаическому истоку, где все было еще волшебным и походило на то, что нас ждет.

По пути к выводу я сделал для себя множество открытий. Среди них – балийскую живопись и австралийскую математику. Но меня беспокоило, что расширяя эрудицию, я не встречал ничего противоречащего моей идее. Как будто книга была с воронкой, и вновь обретенные знания вливались в нее, не оставляя брызг.

Смущенный тем, что всякое лыко в строку, я решил проверить умозрительные гипотезы на практике, побыв немного тем самым архаическим человеком, которого ставил всем в пример. Опыт начался с того, что я втерся в доверие к десятипудовому индейцу, работавшему индейцем на Радио «Свобода», где он заполнял федеральную квоту на аборигенов.

– Запомни, – сказал он, когда мы подружились, – пляска – молитва ногами. Вот пленка нужных напевов. Это, правда, гунявое – луговое – племя, но тебе сойдет, главное – не останавливаться.

– Когда?

– Лучше никогда, но по крайней мере – дня три, и ночи тоже, разумеется.

Теперь, приходя в заповедник, я переодевался – втыкал за ухо перо, потерянное знакомым орлом, включал магнитофон и, убедившись, что на паркинге стоит только моя машина, начинал пляску, подпевая индейскому хору мычанием, поскольку слов я не разбирал. Надо сказать, что жители заповедника – ни зайцы, ни рыбы, ни индюки – даже не повернули головы.

– Мы, – вывел я новый закон природы, – способны удивить

людей, но не животных, которые не ждут от нас ничего разумного.

Индейская пляска не открыла новых горизонтов, но, видимо, помогала утрамбовать знания. Год спустя я закончил книгу, намешав в нее все, что меня увлекало – от первобытных мифов до квантовой механики. Несмотря на пляски, я все еще сомневался в центральном тезисе, но рассчитывал на то, что читателя подкупят бесконечные, как в «Онегине», отступления. Чтобы в них не запутаться, я показал рукопись Иванову, с которым познакомился в Букеровском жюри. Академик знал всё на всех языках, мог любую книгу прочесть за час, а мою – за 15 минут.

– 11 ошибок, – объявил он, – среди них одна связана с хеттским языком, другая – с буддийской сектой чань, третья – с хронологией «Книги перемен», а слово «мегаполис» надо писать с греческим корнем «мегало», а не латинским «мега».

Обрадовавшись, что наврал сравнительно мало, я пригласил Вячеслава Всеволодовича на обед и взялся за богатые щи, которые надо готовить два дня в трех бульонах и есть с полотенцем на шее.

– Приду с гостем, – предупредил он и привел его – толстого шумного итальянца в очках.

– Умберто Эко, – представился тот, будто мы его и так не узнали.

Усаживаясь за стол, писатель все еще кипел, переживая победу над Америкой. Пригласивший его Колумбийский университет запретил Эко курить, хотя бы за кафедрой. Услышав такое, он пригрозил немедленно вернуться в свободолюбивую Италию, не проронив ни слова. Администрация сдалась, первые ряды эвакуировали, и, выкурив пол пачки, Эко рассказал студентам про семиотику повседневности, о которой я узнал не от него.

– О, Лотман, – обрадовался Эко, – сперва нас было только двое.

Найдя было общий язык, мы потеряли его за обедом. Гость наотрез отказался от щей, которые я пытался ему навязать под видом ритуального блюда славянского язычества.

– Ненавижу квашеную капусту, – извинился Эко, – у меня была жена-немка.

Зато Иванов щи оценил, и я взял быка за рога.

– Вы говорите, – начал я для разгона, – на языке айнов?

– А как же! Мне пришлось изучить его по восковым валикам, записанным в начале XX века на Сахалине. Однажды беседовал со старухой на Хоккайдо, она разрыдалась от счастья, услышав родную речь.

– А эскимосы? – не отставал я.

– Гренландские или с Аляски? Диалекты сильно разнятся, но письменность одна на всех.

– И вы умеете ее читать?

– Конечно, хотя пока на ней написано лишь четыре романа. Три плохих, а один ничего.

– О чем?

– Автобиографии. Эскимосы так недавно открыли личность, что их не покидает восторг от тавтологии «я – это я».

Сам я в этом уже не уверен, и сомневаюсь каждый раз, когда смотрюсь в зеркало.

– Не может быть, – шепчу я.

– Запросто, – отвечает отражение.

И еще я никак не пойму, куда все делись – бабушка, мать с отцом, Петька, Довлатов и тот, чернявый, патлатый, с острой бородой и гонором, Вроде бы я ничего такого не сделал, чтобы они исчезли.

– Старость, – говорю я лишенному амбиций брату, – перемена без воли и вины, как будто ее единственная причина – монотонность, мешающая замечать ход времени.

– Вот и хорошо, – ответил он, – лучший час тот, что мы прожили, не заметив.

Послушав старшего брата, я полюбил рутину.

Улица Довлатова, *или* Некролог

Хорошие книги кончаются смертью героя – либо автора, но тогда они не кончаются вовсе, как это случилось с Гашеком и Музилем. Мемуары, естественно, сюда не подходят: последнюю точку сам не поставишь. Я вижу выход в memento mori и уже давно каждую книгу пишу как последнюю, а это значит не оставлять ничего на потом.

– Потом, – угрожал я Геродоту, когда он рассыпал по полу крупу или опрокидывал елку, – будет суп с котом.

Его смерть оставила меня безутешным. От людей я ничего другого не ждал, так как был всех моложе. Конечно, я делал вид, что не принимаю разницу всерьез и ничем не отличаюсь от старших.

– Возраст, – считал я, – всего лишь склад прожитых лет, отличавшихся друг от друга лишь числом написанных страниц.

Мои дни рождения разделяла пропасть. Я с нетерпением ждал их, чтобы уменьшить гандикап, незаслуженно полученный теми, кто родился раньше, иногда – намного. Бахчанян помнил войну, Парамонов – Сталина. Гендлера отправили в Мордовию чуть позже, чем Гагарина – в космос. Даже Вайль попал в армию, когда меня еще не пускали на «Великолепную семерку». Только книги – сочиненные и прочитанные – сокращали расстояние, и я ждал, когда Ахилл догонит черепаху, пока не умер Довлатов. Это сразу все испортило: постепенное сменилось разовым и вечным.

– Жил, жил человек и умер, – не без удивления написал Сергей.

Я тоже не могу принять квантового скачка чужой кончины – со своей не мне разбираться. До довлатовских похорон я думал о смерти в пять лет, когда планировал укрыть от нее бабушку в наш книжный шкаф. За его хорошо притертыми стеклянными дверцами хранилось лучшее в доме: собрания сочинений Гюго, Короленко, Шолом-Алейхема. Читать я еще не умел, но уже хотел там отсидеться от жизни и спрятаться от смерти.

Сергею книги не помогли. Его похоронили в армянском углу еврейского кладбища. Ливень чуть не затопил могилу. Мокрые и злые, мы с Вайлем шли первой парой. Гроб оттягивал руки, и я вспомнил Бориса Сичкина.

В России он прославился в роли Бубы Касторского, в Америке играл Брежнева, в Квинсе сочинил уморительные мемуары,

которыми восхищался Довлатов. Несмотря на ехидство, Сичкин дружил со свирепым литератором Павлом Леонидовым, который писал свои книги, торговал чужими и не выносил всех, кого встречал.

– Паша, – говорил ему Сичкин, – тебе придется с кем-нибудь помириться: я не могу нести твой гроб один.

Смерть Довлатова выбила меня из колеи. Мы ведь никогда не говорили с ним всерьез ни о чем, кроме литературы, но и в ней оба ценили смешное. При этом Сергей ухаживал за смертью, как за клумбой, охотно выставляя приготовления напоказ. Над его письменном столом висел запечатанный конверт с грозной инструкцией: «вскрыть после моей кончины». О содержимом он охотно рассказывал. Сергей требовал не печатать ничего из того, что осталось в России.

– Разве тебе не важно, – требовал он от меня ответа, – что будет после смерти?

– Со мной, – переспрашивал я, – или с книгами?

– В сущности, это – одно и то же, – говорил Сергей.

Он ненавидел метафизические спекуляции и вставал из-за стола, если до них доходило дело. Еще больше его раздражали верующие, особенно недавно вступившие на путь добра и не оставляющие других в покое.

– Главное, – лез я, – не путать Бога с религией. Он нам нужнее, чем она.

– А мы Ему?

– Понятия не имею. Его же, вероятно, нет.

– Тогда в кого же верят?

– Коммунизма тоже не было, – возразил я, – а Хрущев в него верил.

Боюсь, что ни тогда, ни сейчас мои представления о высшей реальности не стали яснее. Смерть к ним ничего не прибавила. Она была по эту сторону жизни, и я ничему у нее не научился.

До Довлатова мне не приходилось сочинять некрологи, хотя шутя и сдуру я обещал написать по одному на каждого из старших (других не было) товарищей. В результате я так и сделал. Более того, войдя во вкус, я перешел от людей к понятиям, отпев уходящее из нашей жизни – телеграф, почерк, скуку, эрудицию, даже ночь и славу. Но довлатовский некролог был первым. Я начал писать его еще до похорон, а закончил семь лет спустя.

Книга «Довлатов и окрестности» задумывалась оптической иллюзией на манер той, что не давала мне покоя с пятого класса, когда я обнаружил «Занимательную физику».

– Ты увидишь на картинке, – учил ее автор Перельман, – то,

на чем сосредоточил внимание – либо вазу, либо два профиля.

Завороженный этим эффектом, я мечтал применить его на практике. Но ради этого мне пришлось под видом одной книги написать две, оставив читателю решать, какая из них его больше интересует: про Довлатова или про окрестности, про литературу или про жизнь, про героя или про автора. Готовясь, я изучил каждую строчку Сергея. Я разложил его по полочкам, выписал сотни цитат и приготовил план на 18 глав «филологического романа». Должно было получиться 220 страниц, вышло – 219, но не тех, что я наметил. Помимо биографии и анализа, книга оказалась манифестом моей эстетики, коллективным портретом, авторской исповедью и признанием в любви ко всему, что мне дорого.

Так я понял, что каждая книга – муравейник. В детстве мы совали в него ободранную от коры палку, а потом слизывали кислый осадок. Мне и сейчас неловко за принесенный ущерб. Латая прореху, муравьи тащили, что попадется, – щепки, веточки, хвою. Став частью ажурной конструкции, оригинал, как факт или цитата в романе, выполнял новую функцию, не помня, чем был прежде.

– Счастье муравья, – думал я, – в том, чтобы находить применение встретившемуся по дороге.

Муравей пускается в путь лишь потому, что ему есть, куда возвращаться. Муравейник – и цель, и смысл и сумма опыта. Поэтому больше всего я боюсь остаться без книги, надеясь умереть на ее предпоследней странице.

2

Довлатов был старше, как мне тогда казалось, на поколение, Батчан – на три недели. Мы подружились в «Новом американце», где только он им, американцем, и был. Алик говорил по-английски без акцента, учился в Колумбийском университете, влез в нью-йоркскую политику и умер в 47, хотя не пил и не курил. Самой опасной его страстью было кино.

На заре Третьей волны, в кинотеатре «Океан» на Брайтон-Бич показывали фильмы, которые от нас скрывала советская власть. Часто – французские, к несчастью – Годара. Когда выяснилось, что его картина целиком посвящена муниципальным проблемам, камера не покидает мэрии, а женских ролей нет вовсе, стало ясно, что драки не избежать. Батчан пытался ее остановить, излагая взбешенным зрителям поэтику Новой волны, но оказался в центре потасовки и получил дубинкой от не разобравшихся полицейских.

Алик подал в суд на город, выиграл дело и не охладел к кинематографу.

Умер Батчан внезапно, упав на улице в Праге, и уж этого я совсем не мог понять, потому что не знал за ним, в отличие от нас с Довлатовым, никакой вины. В тот апрельский день в Нью-Йорке разразилась метель, покрывшая снегом цветущие нарциссы.

– Распалась связь времен, – объявил я, скрывая ужас.

Смерть ровесника намекала, что ко мне это тоже относится, но я не знал, что именно такая перспектива меняет. Непостижимая и необъяснимая, смерть существует будто для того, чтобы прервать, а не закончить мерный ход вещей. Толстой, растягивая кончину своих героев, пытался нагрузить её высшим значением, но я больше завидую Бублику.

Так звали нашего хомяка. Рыжий комок шерсти, он помещался в кулаке, но, твердо зная, чего хотел, любил морковь и свободу. По ночам Бублик исчезал из стеклянного ящика, хотя мы и припирали крышку томами того же Толстого. К утру хомяк возвращался с наглой, измазанной грязью физиономией. Мы подозревали, что он путался с мышами, пробираясь к ним сквозь недра квартиры. Прощая Бублику разгульный образ жизни, я сажал его обратно в клетку, где он неистово гонял в колесе, уверенный, что делает карьеру. Вот так, на ходу, как Батчан, Бублик помер, занеся ногу, но не сделав шага. Мы спрятали его в жестянку из-под печенья, чтобы труп не достался кошкам, и зарыли в лесу, ничем не пометив могилу. Я никогда не любил кладбищ. Мысль о месте, специально предназначенном для скорби, внушает мне отвращение.

– Только старые бабки верят, что в могиле живут их близкие, – говорю я жене, завещая рассыпать мой прах, где придется.

– Сейчас? – язвит она.

– Не раньше поминок.

Они дороги мне тем, что рано или поздно гости начинают смеяться, вспоминая усопшего. И это лучшее, что для него могут сделать оставшиеся. Смерть очищает жизнь от скуки, и в осадке остается веселое.

Лучше других об этом позаботился, конечно, Бахчанян. Когда мы затевали «Новый американец», он заведовал в газете юмором. Об этом в углу последней страницы сообщала нарисованная Довлатовым картинка: Вагрич в петле и подпись – «Бахчанян на проводе». Шутка была дурацкой. Через номер мы от нее избавились и забыли. Но я вспомнил о ней в день, когда Вагрича нашли мертвым, и как раз – на проводе, отрезанном от пылесоса.

Бахчанян всегда делал, не что мог, как все мы, а только то, что хотел, тем более, когда болезнь стала неизлечимой.

Поминки, как это у нас водится, устроили в «Самоваре» Романа Каплана. Сперва собравшиеся не знали, что сказать, потому что лучше всех говорил Вагрич. Но быстро выяснилось, что его смерть ничего не изменила. Ира, которую язык еще не поворачивался назвать вдовой, раздала каждому по оставленной Вагричем записке, заменившей скорбные тосты.

– «Эмигранты-лилипуты тоскуют по карликовым березам», – прочел один.

– «Евреи всех национальностей», – сказал другой.

– «Снобовязалка», – произнес третий.

– «Не ешьте натощак», – советовал четвертый, – особенно консервы «Язык без костей».

– «Дурак в России больше, чем дурак», – сетовал пятый.

– «Шестикратный Серафим», – объявил шестой.

Эстафета смеха обошла весь этаж и вернулась к началу.

– Поминки по Финнегану, – горевал и радовался я, зная, что такое не повторится.

3

В ту последнюю из пригодных для пляжа субботу русский Нью-Йорк собрался на 108-й стрит. Скучная, как весь Квинс, эта улица ничем не отличалась от других, кроме того, что ее описал Довлатов. При жизни он был неофициальной достопримечательностью района, после смерти – официальной, с тех пор, как отцы города согласились назвать его именем этот переулок.

– На доме Бродского, – жаловался довлатовский сосед, – нет даже мемориальной доски, а тут – целая улица, и меня угораздило на ней жить.

Мне это кажется справедливым. Сергей был нашим писателем. Бродский – для мира, Солженицын – для истории, Довлатов – для домашнего пользования. О чем свидетельствовали три миллиона проданных книг и толпа поклонников – новых, молодых, старых. Здороваясь с персонажами довлатовских книг, я осторожно огибал сотрудников московских каналов.

– Он умер, – доносился траурный голос ведущего, – от тоски по родине.

Но меня все же выловили и поставили к камере. – Феномен Довлатова, – начал я, – показывает, что русская словесность не так нуждается в государстве, как оно – в ней.

В вечернем репортаже от всего монолога оставили реплику «Сергей любил поесть».

Стоя на улице имени Довлатова, я понял, что раз влип в историю – как свидетель и соучастник, то пора ее написать. Но чтобы жизнь поместилась в историю, ее нужно вспомнить, спрямив и высмеяв. Память моя, однако, капризна, избирательна и неблагодарна. Она вычеркивает годы, игнорирует факты, забывает встречи. Она упрямо настаивает на мелочах, важных ей одной, вроде дачного жасмина, который в Америке не умеет пахнуть. Она выкручивает руки, безжалостно напоминая стыдные слова и поступки, от которых я тихонько вою, если нет посторонних. Она смешлива, как первоклассник. Она любит только тех, кто годится в анекдоты. Она не сидит на месте, устает от среднего, плюет на важное и, как и я, не знает главного.

– Пиши о том, что колется, – требовала она, и я ее слушал.

– В каком роде, – спросил меня издатель, – вы сочиняли воспоминания?

– Как Бог на душу положит.

– Тогда укажем «авторская версия».

Нью-Йорк

2014–2016

Фотографии

Я. Очки игрушечные. 1957.

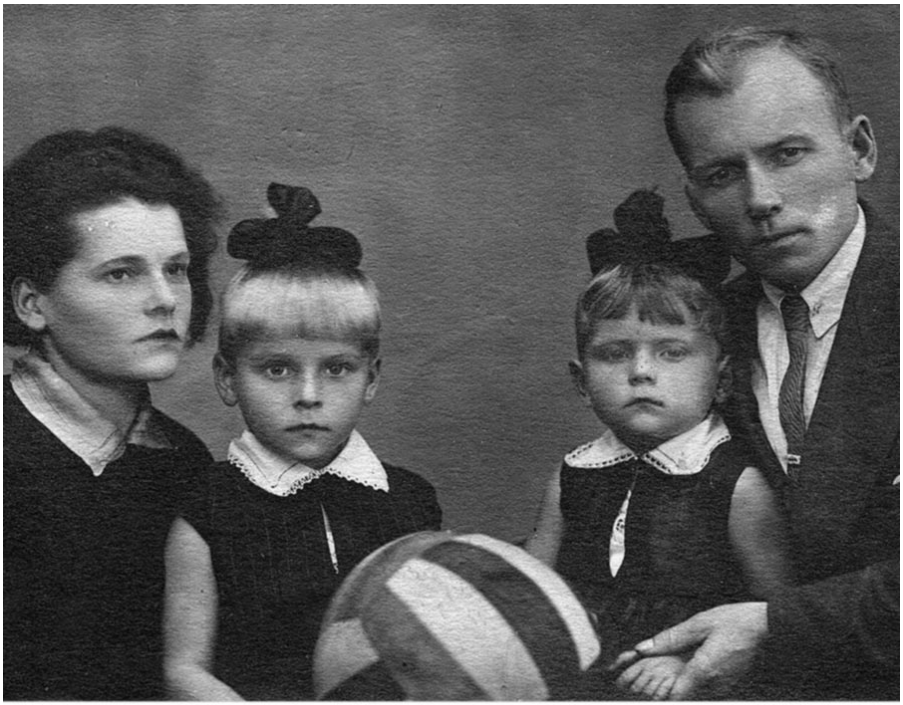
Луганск, 1920-е. Бабушка Анна Григорьевна Бузинова-Толстенко отличалась чрезвычайной красотой и зверским упрямством. Я ее любил больше всех.

Луганск, 1920-е. Мой дед Филипп Иванович Бузинов. Я его никогда не видел, но из-за румынского места рождения считал осколком Австро-Венгерской империи. За это его и расстреляли в 1938-м.

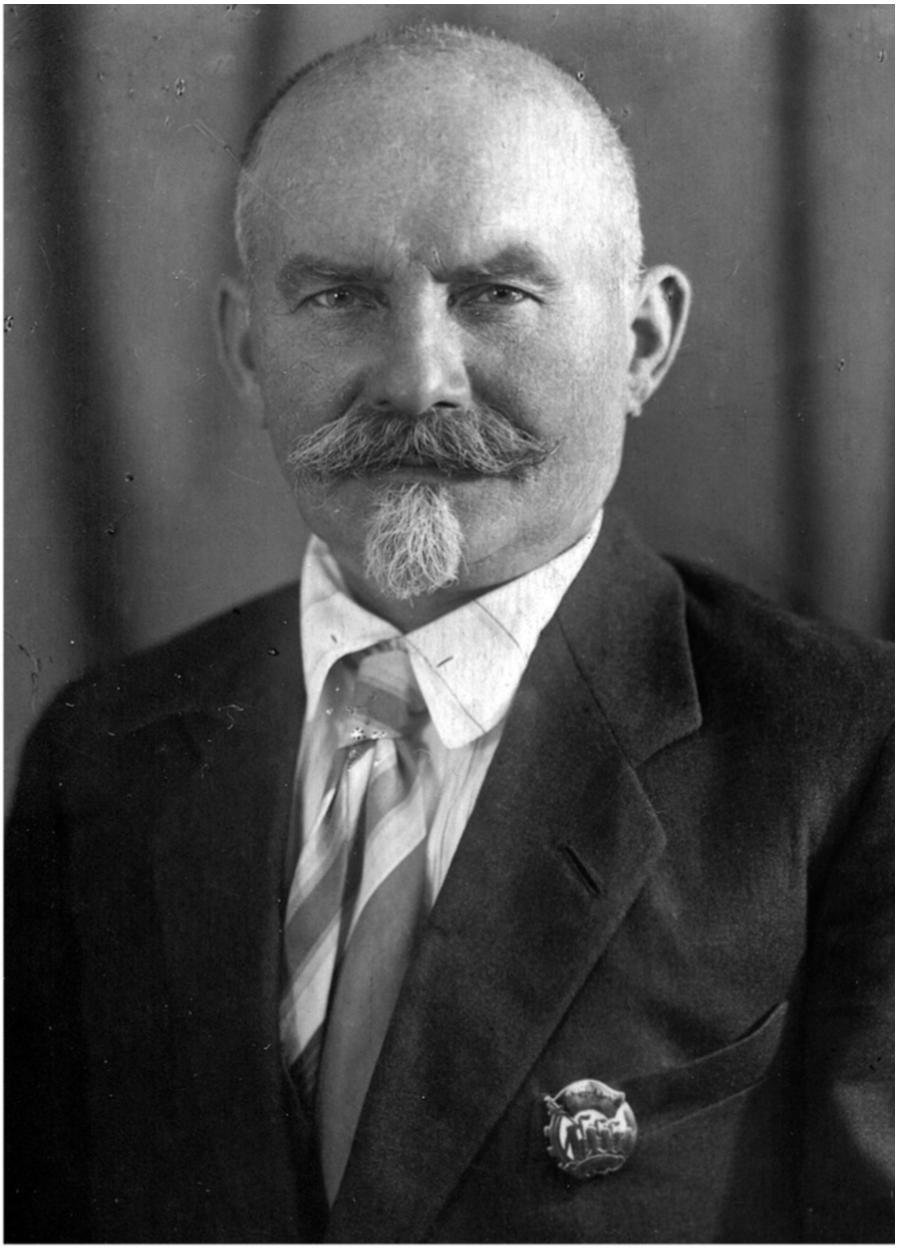
Село Алексеевка возле Луганска. В тужурке сидит прапрадед Иван, рядом в платке — прапрабабка, чьего имени я уже никогда не узнаю. Они были крепостными крестьянами. Поэтому я говорю знакомым неграм, что наших предков освободили в одно время.

Луганск, 1924. Бабушка А.Г. и дедушка Ф.И. Свадебная фотография. В приданое молодые получили дом, который вскоре подарили государству.

Гагры, 1920-е. Прадед Григорий Толстенко и прабабка Матрена Ивановна (ее я прекрасно помню). Их звездный час — курорт по путевке.

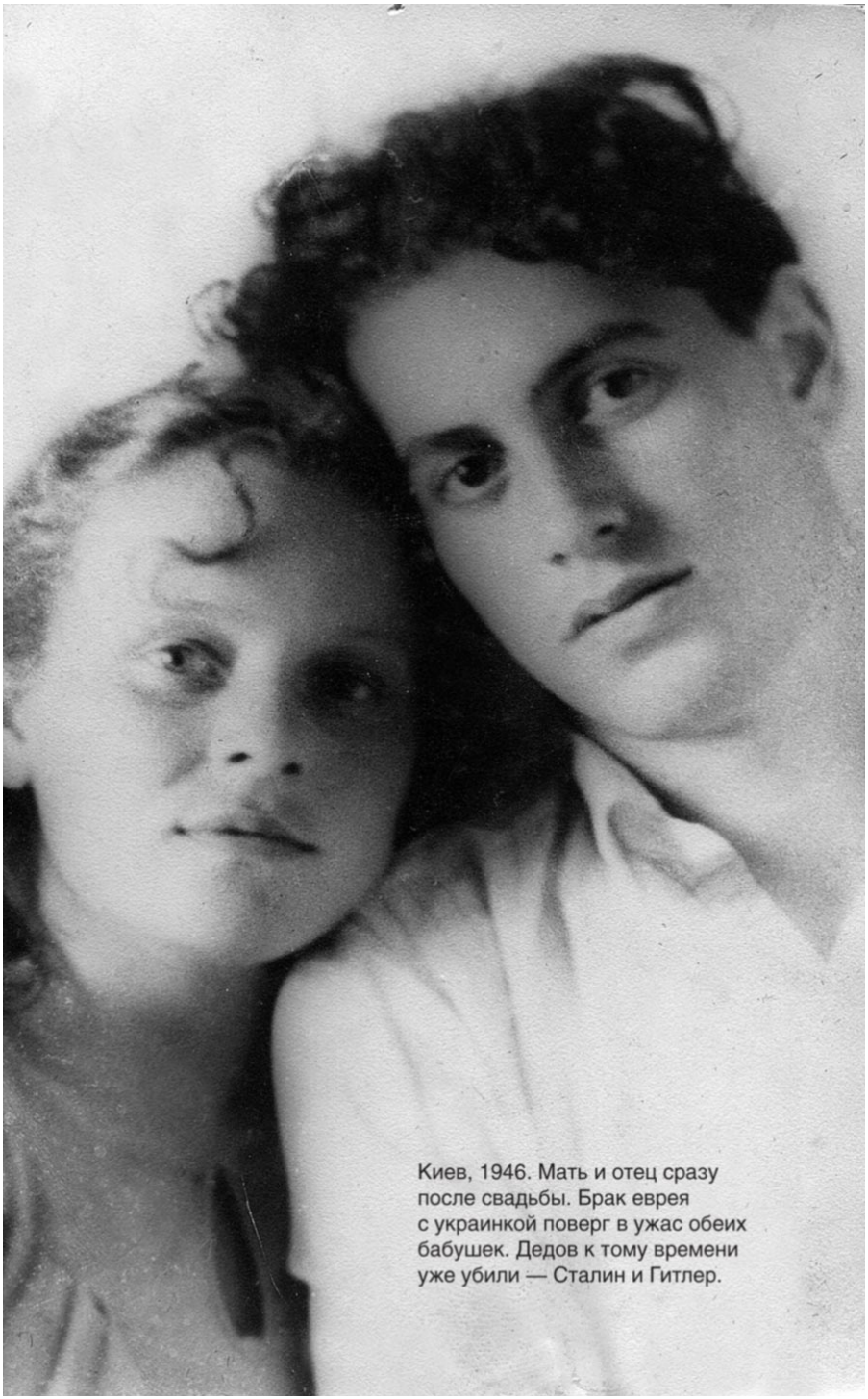


Киев, 1930-е. Бабушка и дедушка с маминой стороны.
Их лучшие годы: он выучился на инженера, она растила дочек.
Младшая (справа) умерла в детстве, старшая — моя мама.



Луганск, 1930-е. Прадед Григорий Иванович Толстенко первым завел мотоцикл. Мог починить любую машину. Снялся, чтобы похвастать трудовым орденом.

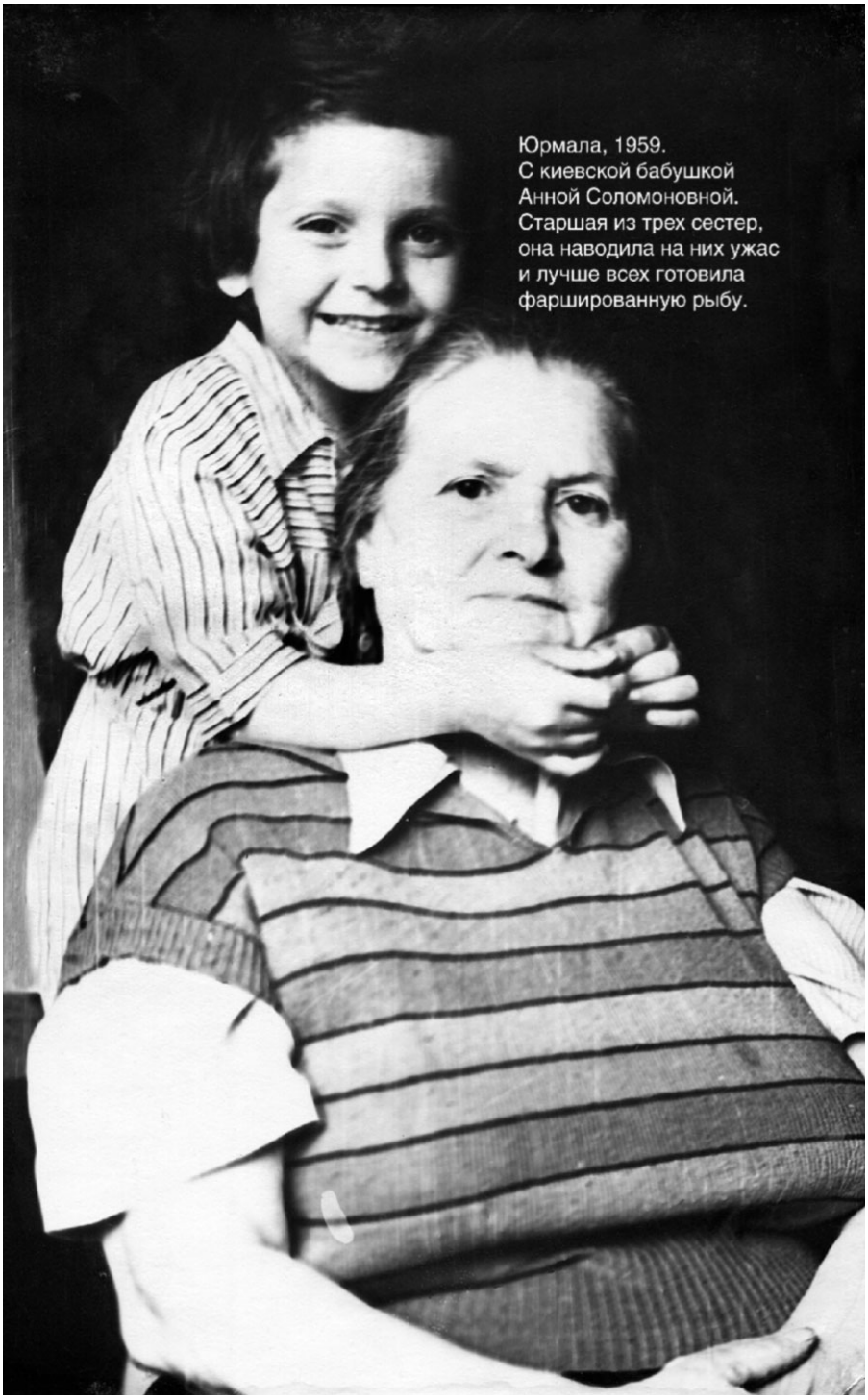
Киев, 1941. Отец Александр Аркадьевич Генис. Развитый мальчик, он читал газеты и болел за республиканскую Испанию. Мечтал попасть на войну, но ему здесь только четырнадцать.



Киев, 1946. Мать и отец сразу после свадьбы. Брак еврея с украинкой поверг в ужас обеих бабушек. Дедов к тому времени уже убили — Сталин и Гитлер.

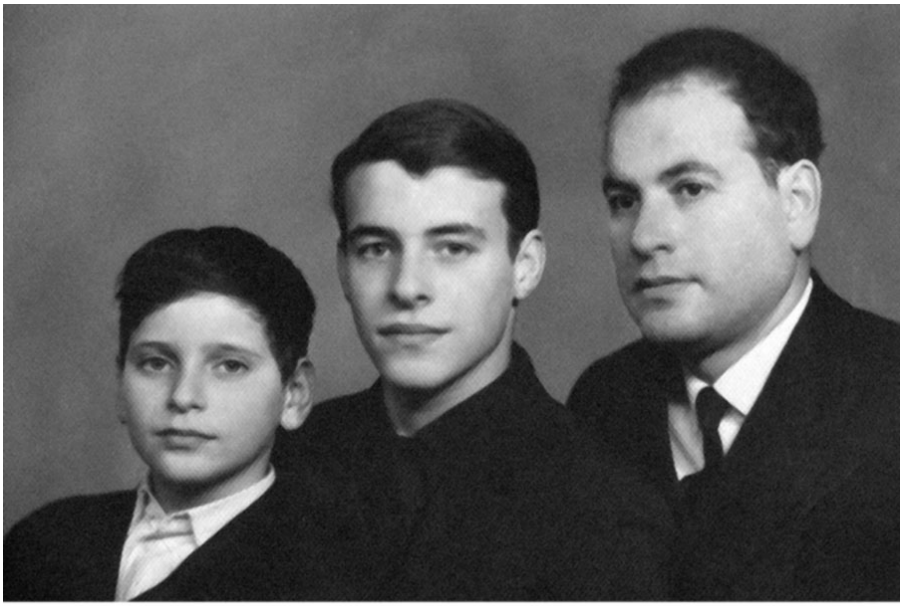
Вверху: Рязань, 1953. С отцом. Помню только ковер, который кочевал вместе с нами.
Внизу: Киев, 1958. Первый город, который я запомнил и полюбил за крутую улицу Чкалова и шелковицу во дворе нашего дома.

Рязань, начало 1950-х. Мама была очень красивой, пока не потеряла глаз. Отец первым в городе купил машину — серую “Победу”, на ней они и попали в аварию.



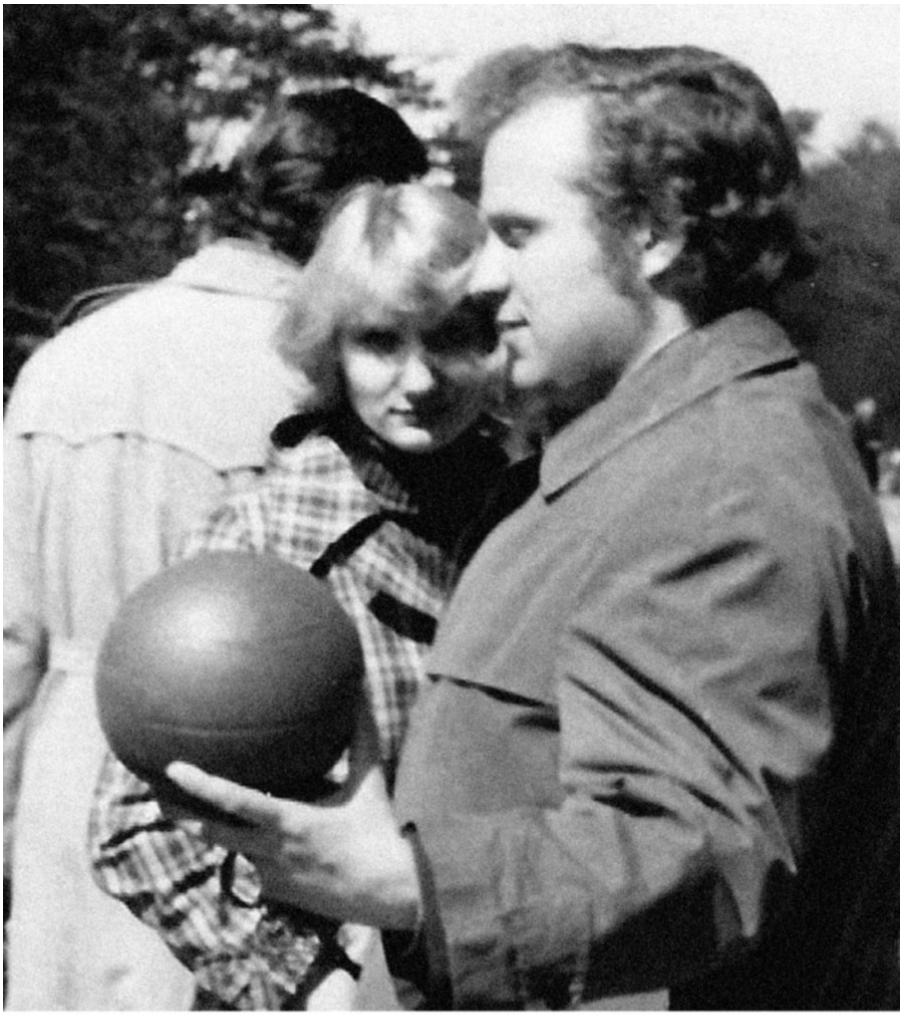
Юрмала, 1959.
С киевской бабушкой
Анной Соломоновной.
Старшая из трех сестер,
она наводила на них ужас
и лучше всех готовила
фаршированную рыбу.

Рига, 1961. Пятнадцатилетие свадьбы родителей. Стол накрыт, как на форзаце “Книги о вкусной и здоровой пище”.



Вверху: Рига, 1966. С отцом и спортивным братом Игорем.
Внизу: Ленинград, 1968. С мамой и с братом Игорем, служившим в Токсово. Родители боялись, что его отправят подавлять Пражскую весну, из-за которой солдатам запретили писать домой.

Рига, конец 1960-х. В Институте гражданской авиации отец преподавал кибернетику. Будучи глубоко штатским, он очень нравился себе в форме. Студенты его любили за бороду, анекдоты и либеральные взгляды.



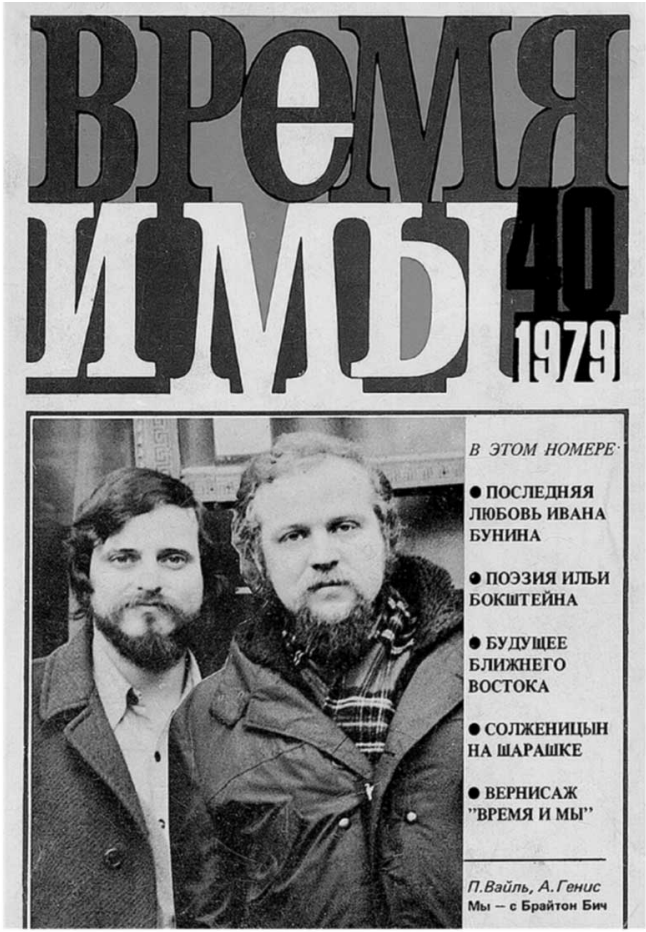
Рига, 1972. Мы с Вайлем отправляемся на взморье.
За Петей — однокурсница Зина Вишнякова, фотограф
от бога (этот снимок, разумеется, сделала не она).

Латвия, 1972. Снимки Зины Вишняковой-Терентьевой, на которых все всегда счастливы. *Вверху:* однокурсница Ира Сергеева, она вскоре поменяет фамилию на мою.

Рига, 1974. Самый лохматый в университете, я был хиппи и служил пожарным. Фото Зинаиды Терентьевой.

Рига, 1977. За день до эмиграции. В очках — тетя Сарра, последний осколок Евбаза. Крайняя справа — бабушка Анна Григорьевна, которая не поехала с нами в Америку, о чем я до сих пор горюю.

Нью-Йорк, конец 1970-х.
Отец в Америке обжился,
но не прижился. Для него
она так и осталась открыткой.



Нью-Йорк, Брайтон-Бич, 1979. С Вайлем — на обложке журнала. Фото Марианны Волковой. Нам понравилось.

Внизу: Редактор газеты "Новое русское слово" Андрей Седых, он же Яков Моисеевич Цвибак, был прижимист, но жовиален и без дам не обедал. Меня он считал любознательным варваром, а нас с Петей заслуженно прозвал "двое с бутылкой".

помещаем редкую фотографию, на которой читатель увидит совсем внизу маленького мальчика, будущего Лорда Луи Маунтбэттена, и над ним, в белом кителе, его двоюродного дядю Государя Императора Николая II. Снимок сделан в 1909 г. на Царской яхте.

ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ ●

Во вторник 4 сентября «Р. М.» посетили сотрудники «Нового Русского Слова» Петр Вайль и Александр Генис. Состоялся дружеский обмен мнений.

На фотографии слева направо: Петр Вайль, Александр Генис, Серафим Милорадович, Николай Боков и Кирилл Померанцев.

Париж, 1979. Мы с Вайлем с дружеским визитом в редакции "Русской мысли". Как вся пресса первой эмиграции, газета в основном жила за счет похоронных объявлений.

Волею Божией 7-го сентября 1979 г. скончалась

ЖОЗЕФИНА ИОСИФОВНА

ТОМАЗОВА

о чем с глубокой скорбью извещают муж, дочь, зять и друзья.
Похороны состоялись в Сент-Женевьев де Буа.
В девятый день кончины, 15-го сентября в 17 ч. 30 м., в церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы — 91, рю Оливье де Серр, будет отслужена панихида.

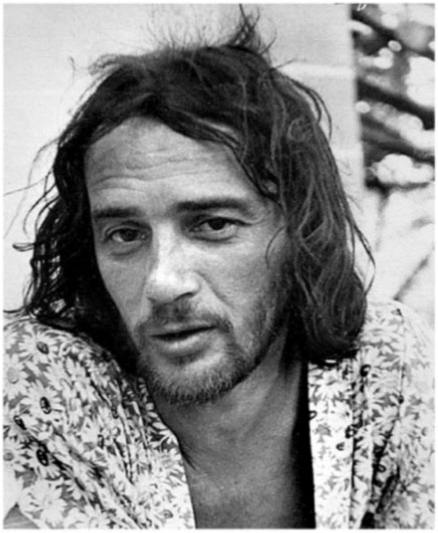
Волею Божией в Русском Доме в Шелль после долгой болезни 3 сентября скончался

АРТИСТ

Жорж ИВАНОВ

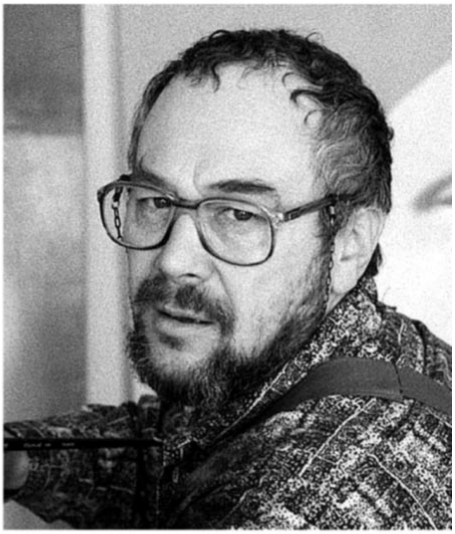
о чем с глубокой печалью сообщают жена Таня Максимова, ее сын Миша Максимов с женой Michelle.
Погребение состоялось 5 сентября на кладбище города Chelles.

Эдик Лимонов.
В Париже он жил с портретом Дзержинского.



Алексей Хвостенко, которого все звали Хвост, олицетворял безбашенную богему.

Шемякин жил напротив Лувра и горько жалел, что картины живых художников там не вешают.



По-деловому измеряя картины квадратными сантиметрами, Целков немного побаивался своих уродцев.

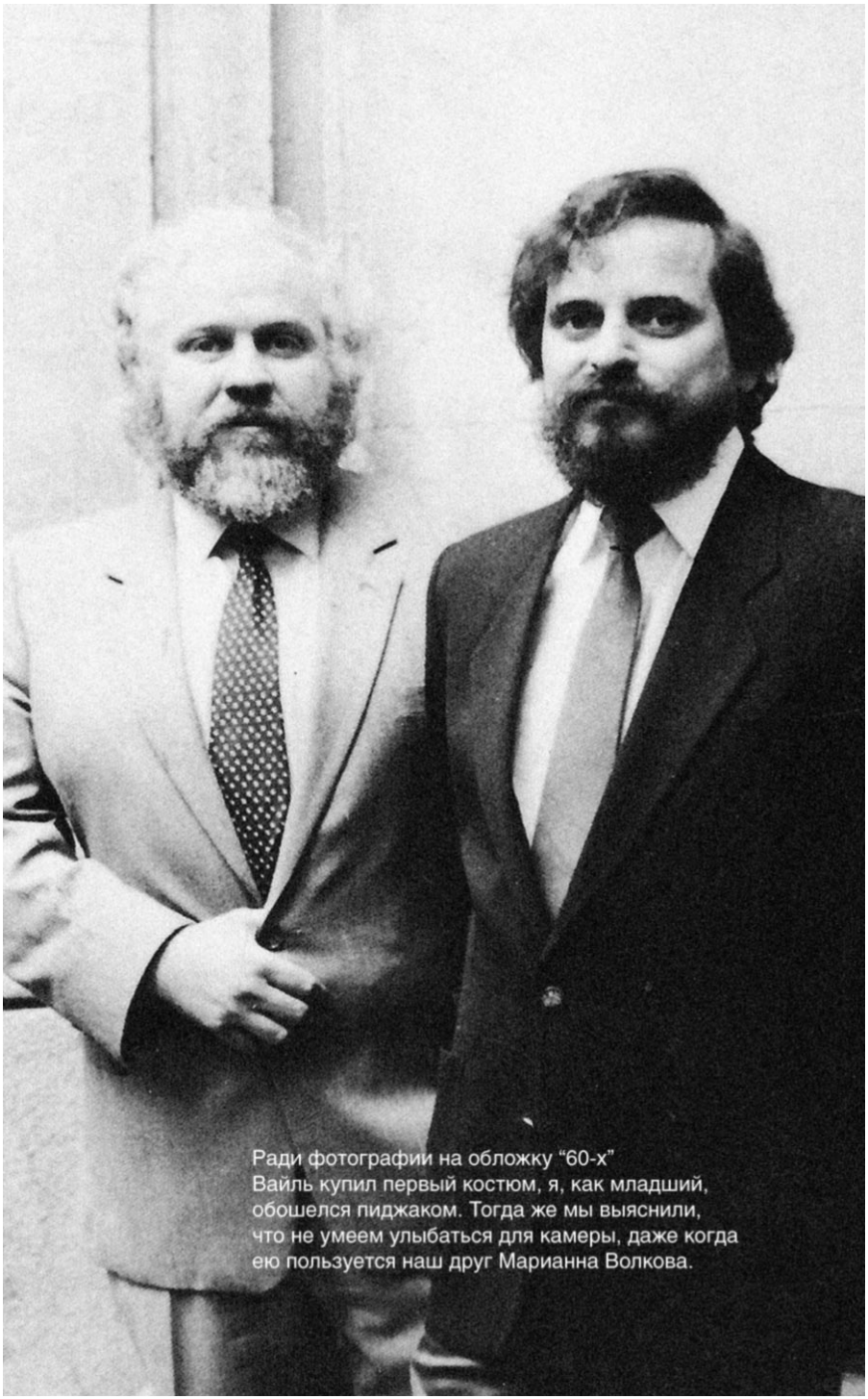
Бахчанян в наряде календаря.
Фото Льва Полякова.

Выполненная Вагричем реклама парижских изданий: традиционная “Русская мысль”, авангардный журнал “Эхо”, который издавал тот же Хвостенко с Владимиром Марамзиным, и “Континент” Максимова (носорог), яростно враждовавший с “Синтаксисом” Синявского (фехтовальщик).

Э
Х
О

Нью-Йорк, 1979. С Довлатовым и Вайлем на выступлении в Хантер-колледж. Единомышленниками с Сергеем мы стали с первого дня знакомства. Фото Нины Аловерт, хроникера эмиграции.

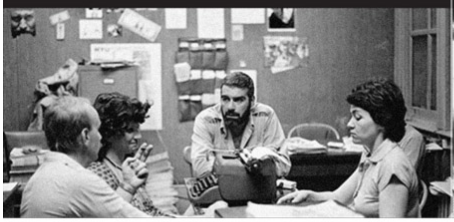
Из ехидства Довлатов звал нас второстепенными мушкетерами. Вайля — Портосом, меня — Арамисом. Шаржи Константина Валова.



Ради фотографии на обложку “60-х”
Вайль купил первый костюм, я, как младший,
обошелся пиджаком. Тогда же мы выяснили,
что не умеем улыбаться для камеры, даже когда
ею пользуется наш друг Марианна Волкова.

НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ

МЫ ВЫБРАЛИ СВОБОДУ, И ТЕПЕРЬ НАШЕ СЧАСТЬЕ В НАШИХ РУКАХ



Девиз газете выдумал Довлатов. На всех снимках он доминирует, что при его росте несложно. *Вверху:* деловая сцена в редакции. *Внизу:* Довлатов целует Юза Алешковского в лысину.

Вверху: праздничная сцена (денег на закуску не хватало). *Внизу:* любимец газеты, автор уморительных стихотворных фельетонов Наум Сагаловский (в очках). Все фото Нины Аловерт. Нью-Йорк, 1980.

Юра Мамлеев читал свои рассказы про упырей, которые мне до сих пор снятся, только при свечах.

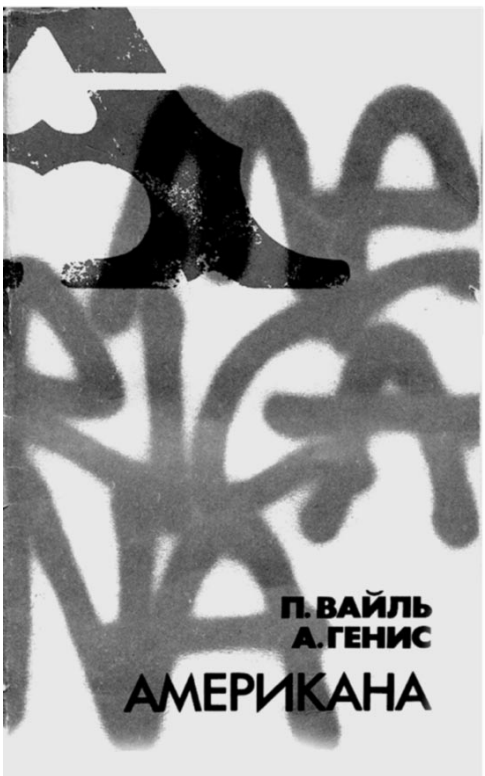
В 1980-е Комар и Меламид прославились в Америке соц-артом: на обложке журнала они изобразили Рейгана в виде кентавра.

Гениальный Эрнст Неизвестный обитал в Сохо и гордился тем, что у него выкрали двухтонную, кажется, скульптуру.

Лучший директор в истории радио “Свобода” Юра Гендлер хвалился тем, что выдавил из себя по капле интеллигента, и позвал на освободившееся место Довлатова, Парамонова и меня с Вайлем.

Петр ВАЙЛЬ Александр ГЕНИС

СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПРОЗА



Первые обложки всех шести книг, написанных вместе с Вайлем. 1982–1991. Лучшие из них (“Русская кухня в изгнании”, “Потерянный рай, “Родная речь”) сделаны Вагричем Бахчаняном.

Нью-Йорк. 1990-е.
Жена. Всё та же.

Вверху: Вашингтон, 1990-е. Аксенов был самым известным писателем американской столицы, известной, с грустью добавлял он, отнюдь не литературными достижениями.
Внизу: Нью-Йорк, 1990-е. Между Гандлевским и Кибировым. На заднем фоне — "Близнецы", которые я показывал всем приезжим авторам: один небоскреб — высотка, два — гимн тиражу.

"The New American's Press"
* Russian Weekly *
Room 701, One Times Square
New York, New York 10036
Telephone (212) 840-2660

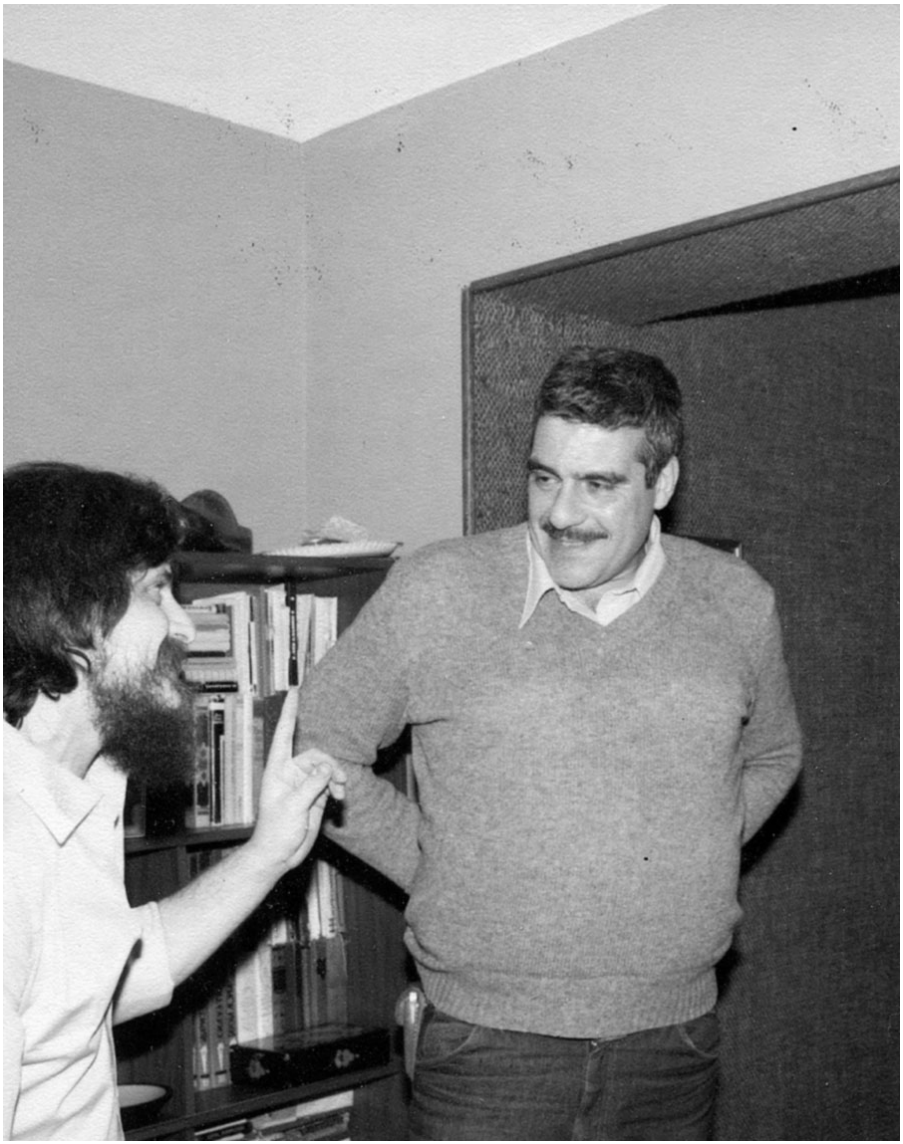
Прошу вернуть Халифа книгу,
Халифа книгу я прошу
Верните. Иначе горой Рогу
Я в черный список запишу!

Верните книгу, Саша с Петей,
Иметь такую книгу – честь!
Я просмотрел её в газете,
Теперь хочу её прочесть.

С. Д

Довлатов мог писать стихи километрами и не задумываясь. На обратной стороне снимка — его экспромт:

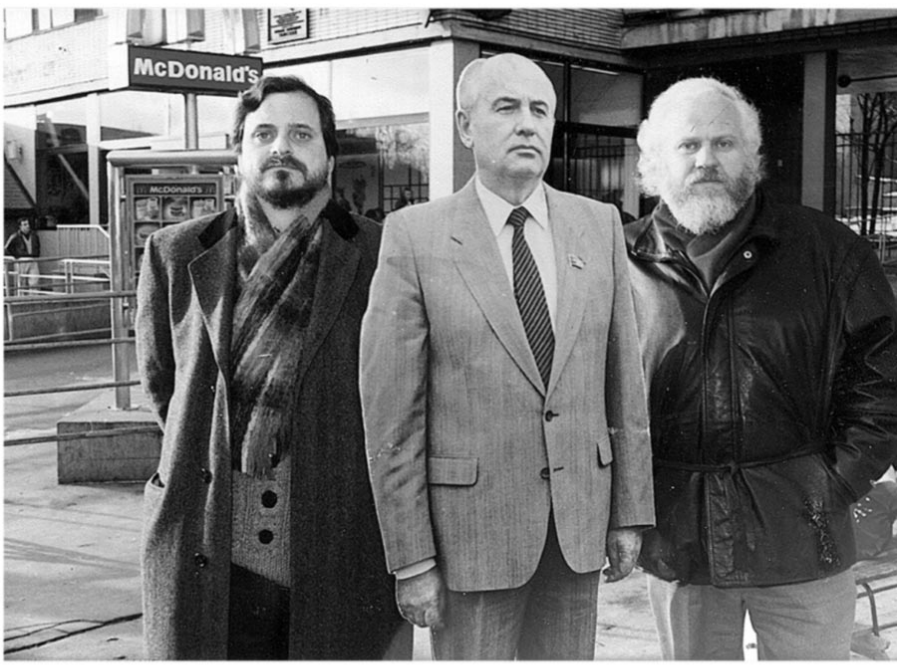
Сережа Д. спросил у Саши:
“Мой друг, ты хочешь каши?”
Ответил Саша с хитрой миной:
“Интересуемся свининой”.



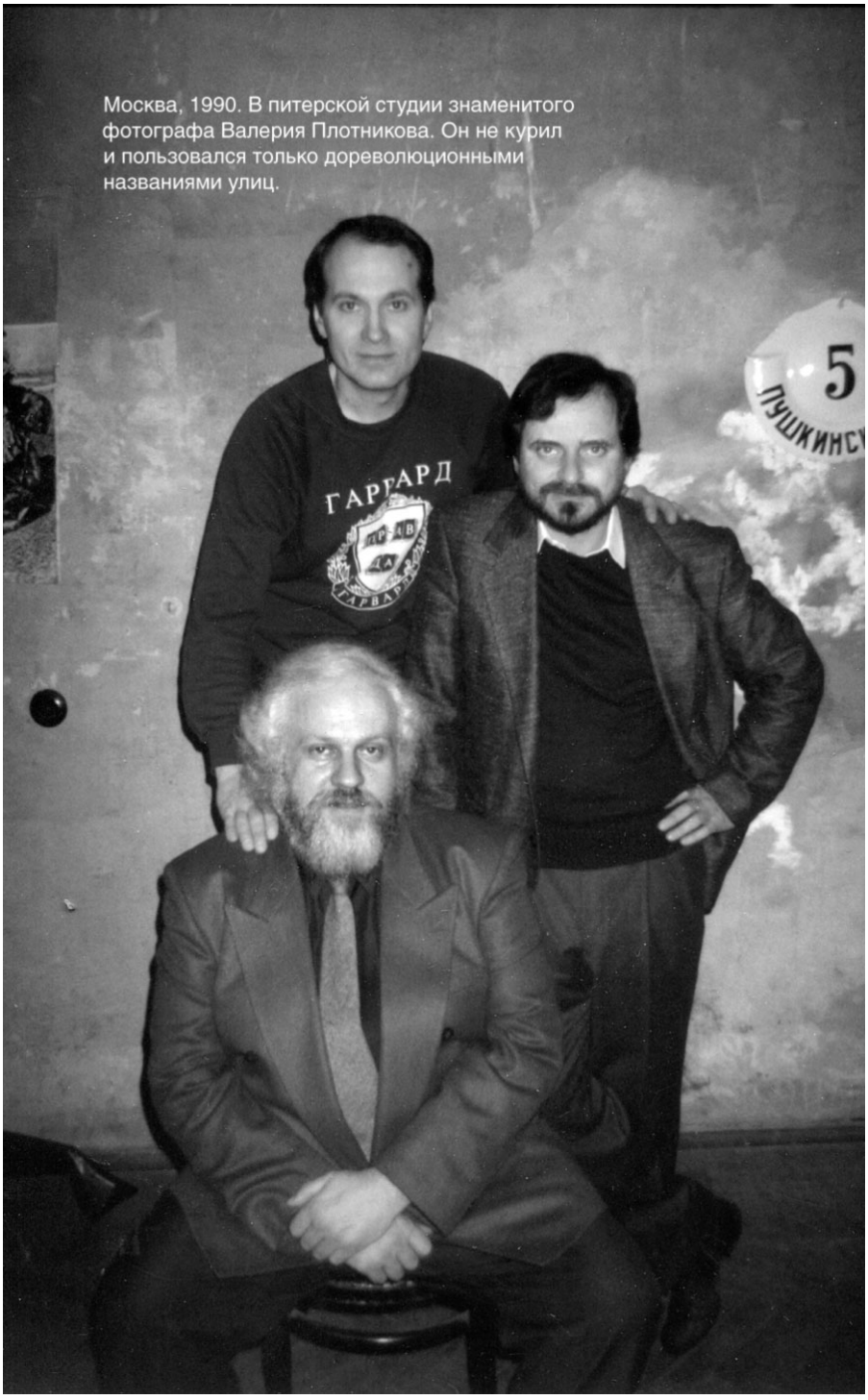
На улице Довлатова до сих пор живут некоторые его желчные критики.

Москва, 1990. Веничку Ерофеева я видел в гробу, так и не успев познакомиться, о чем горячо мечтал.

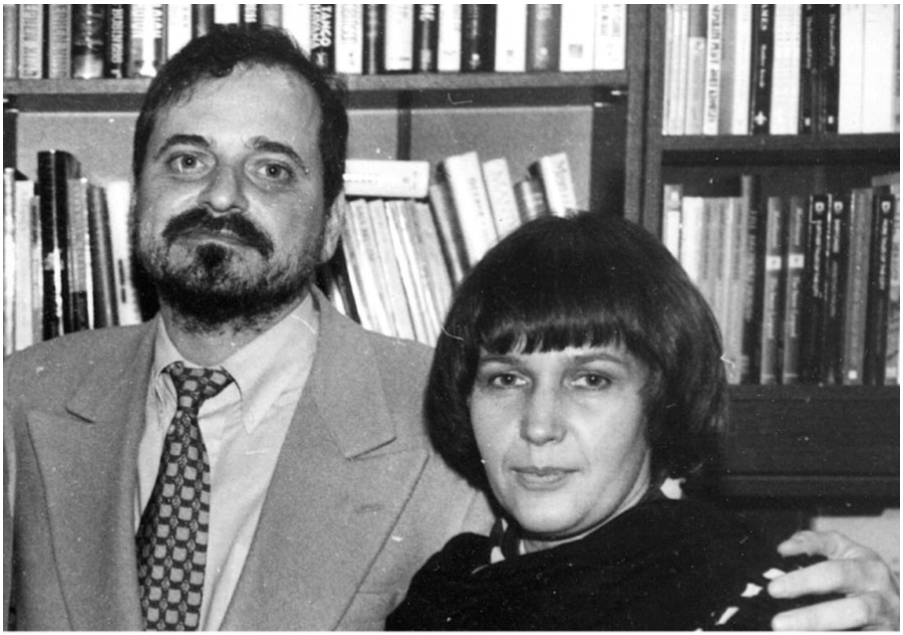
Москва, 1991. Сгоревший во время путча троллейбус в Музее революции. Сейчас его убрали.
“Музей, — сказал мне директор, — должен идти в ногу со временем, а не плестись за прошлым”.



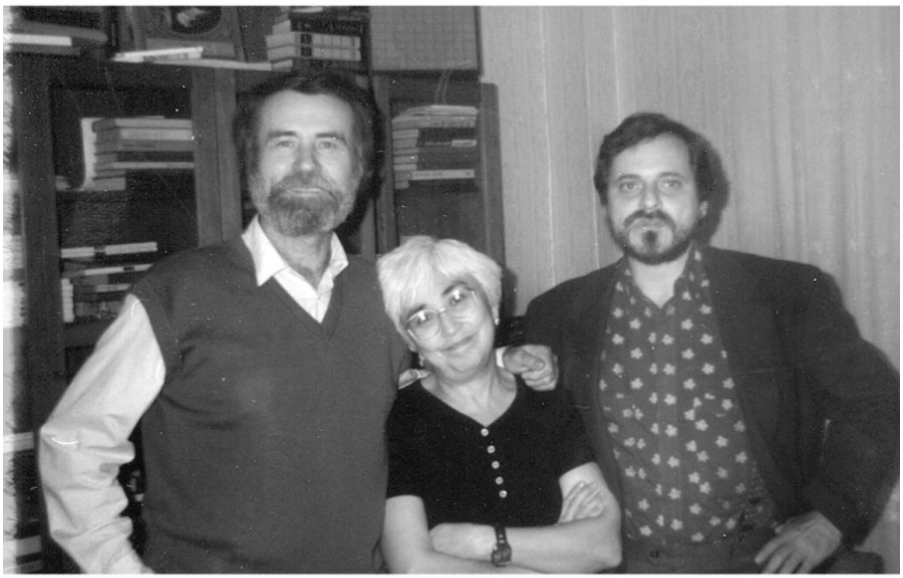
Москва, 1990. Горбачев — фанерный, “Макдоналдс” — настоящий. В него стояла очередь, как на модную премьеру.



Москва, 1990. В питерской студии знаменитого фотографа Валерия Плотникова. Он не курил и пользовался только дореволюционными названиями улиц.

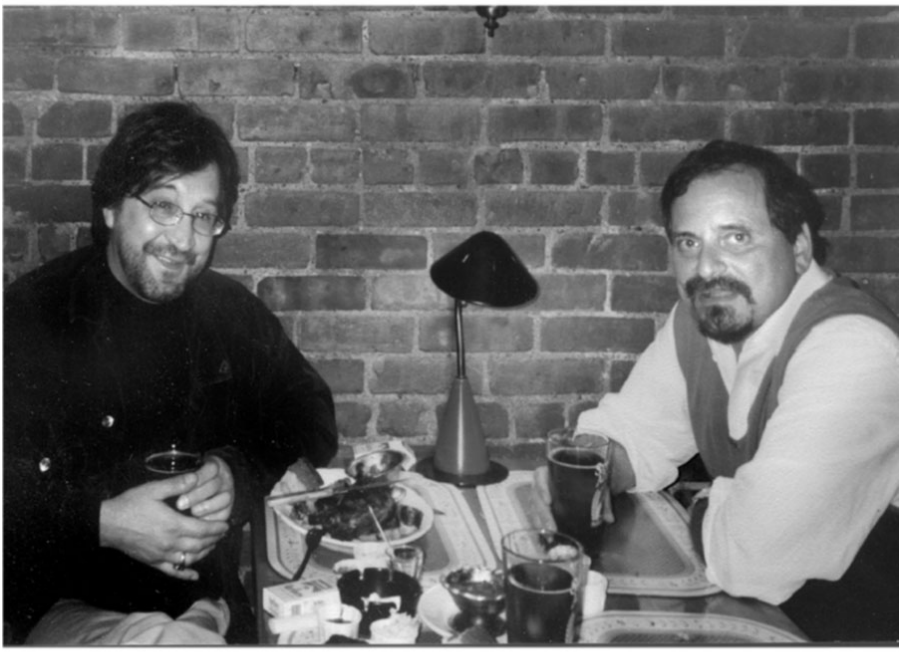


С Олей Тимофеевой — моим московским ангелом-хранителем.

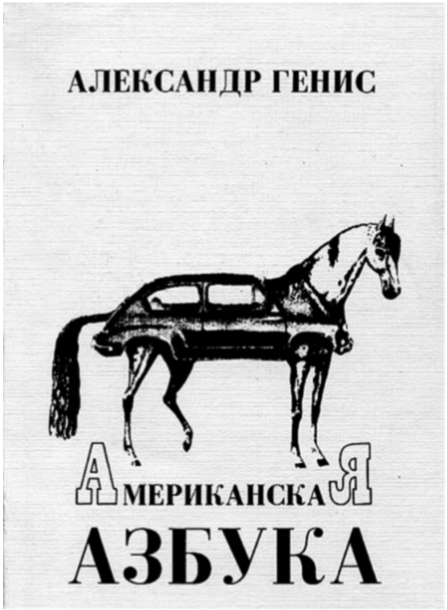


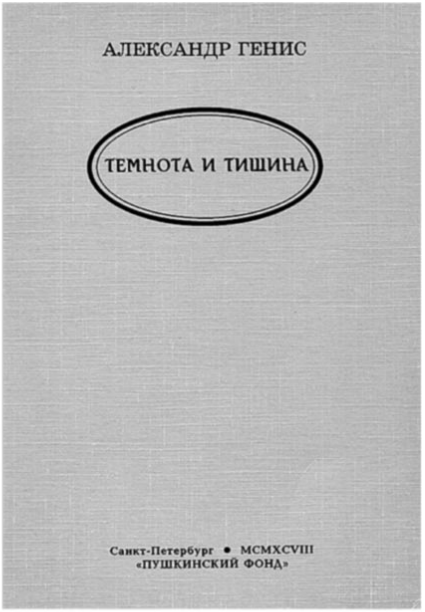
Москва, 1991. В гостях у Маканина. Мы долго дружили и часто спорили. Однажды его жена приготовила для меня фаршированную рыбу.

С Владимиром Сорокиным в отеле “Пекин”.

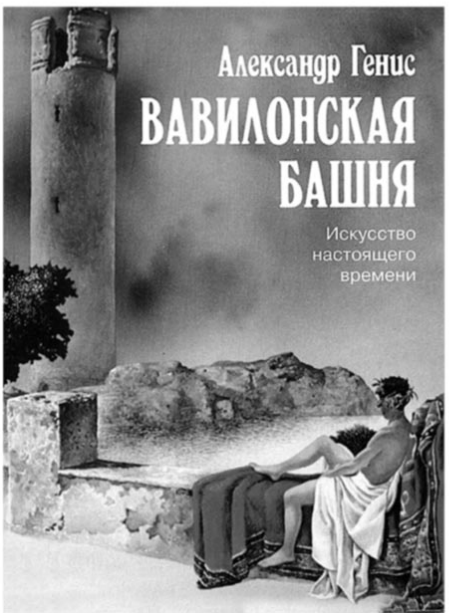


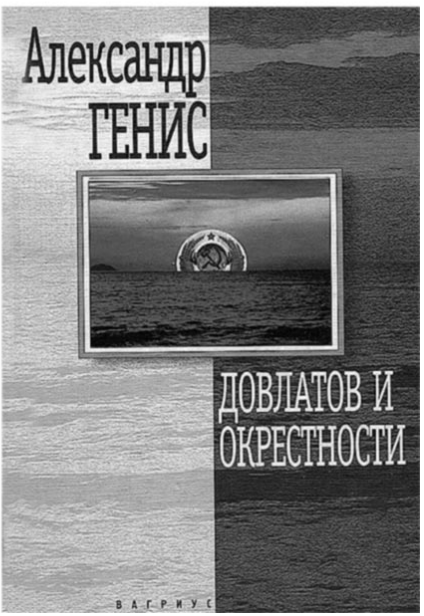
Нью-Йорк, 2000-е. За пивом с Юрой Шевчуком. Когда он пел
у нас дома, послушать пришли американские соседи.

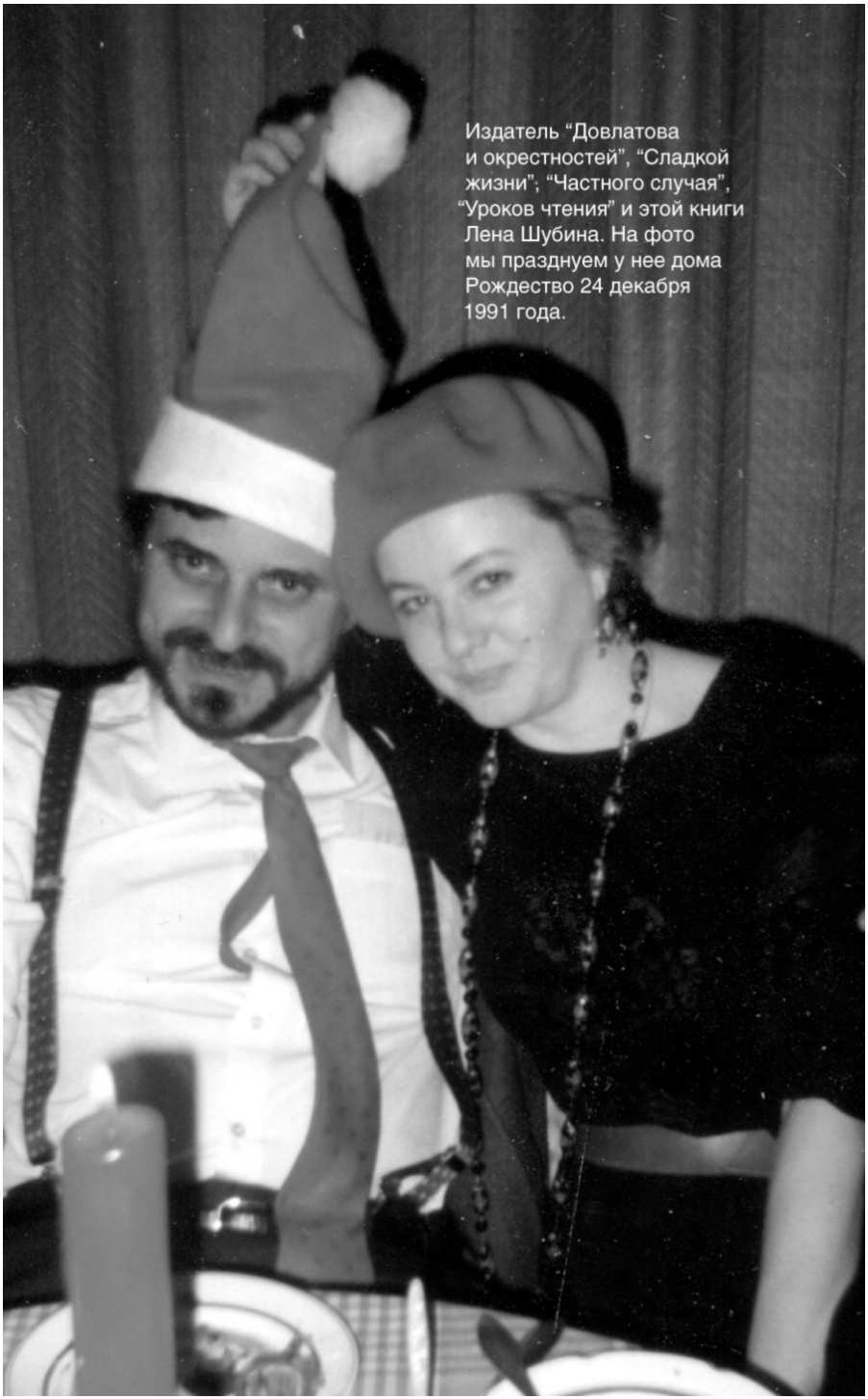




Обложки моих первых книг. 1994–1999. Первую из них сделал Бахчанян. Картину “Вавилонская башня”, специально к этой книжке, нарисовал напоминающий эльфа берлинский художник Женя Шеф. В “Довлатове” тоже использована картинка Вагрича.



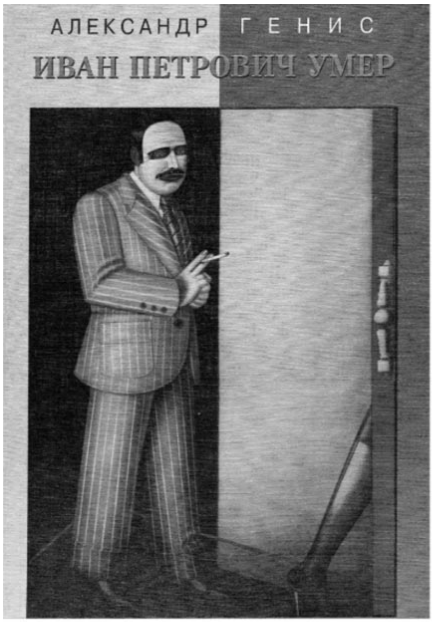


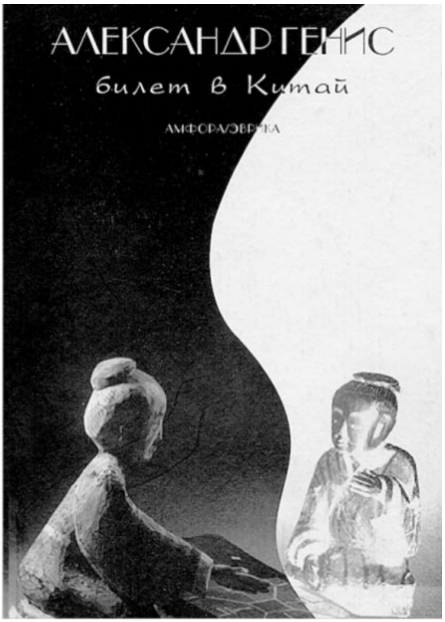


Издатель “Довлатова и окрестностей”, “Сладкой жизни”; “Частного случая”, “Уроков чтения” и этой книги Лена Шубина. На фото мы празднуем у нее дома Рождество 24 декабря 1991 года.

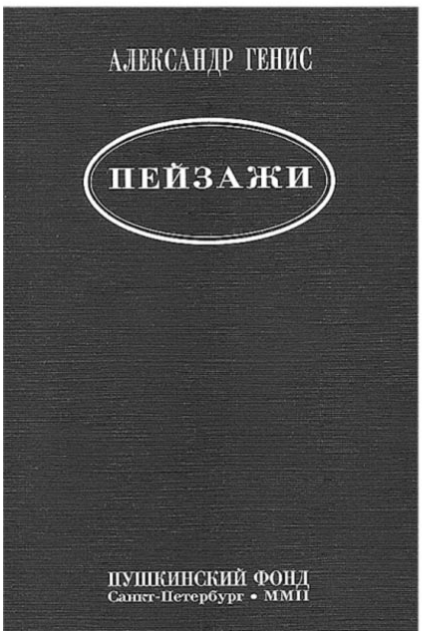
С Татьяной Толстой в погоне за Геродотом.

Милорад Павич, с которым мне повезло подружиться,
называл себя последним византийцем, что бы это ни значило.
Фото Ирины Генис.

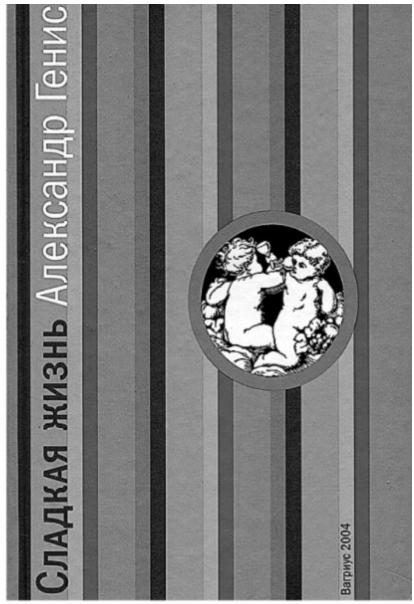


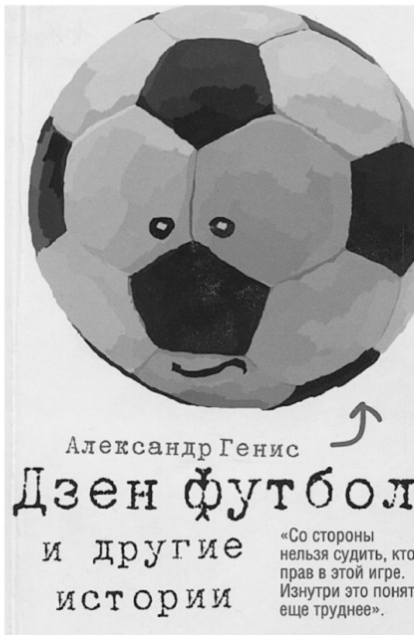


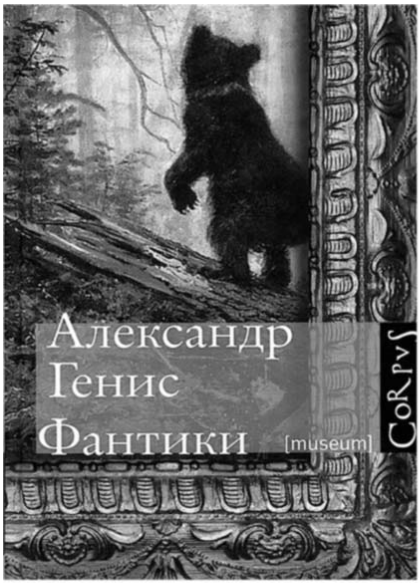
1999–2002. Следующие мои книги,
любимая из которых — “Трикотаж”.

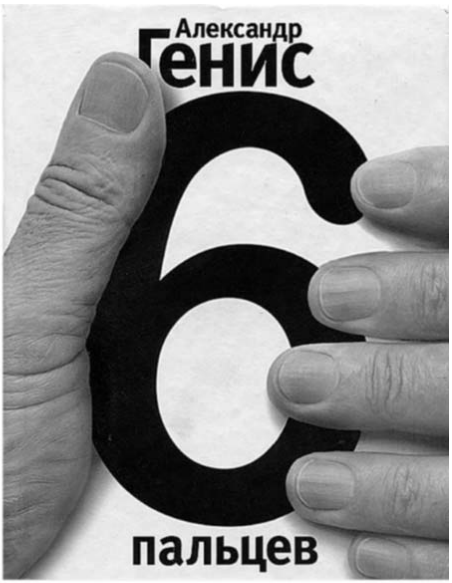


2004–2014. Опять обложки. Четыре из них — работы Андрея Бондаренко, без которого я уже давно не решаюсь выпустить книгу.

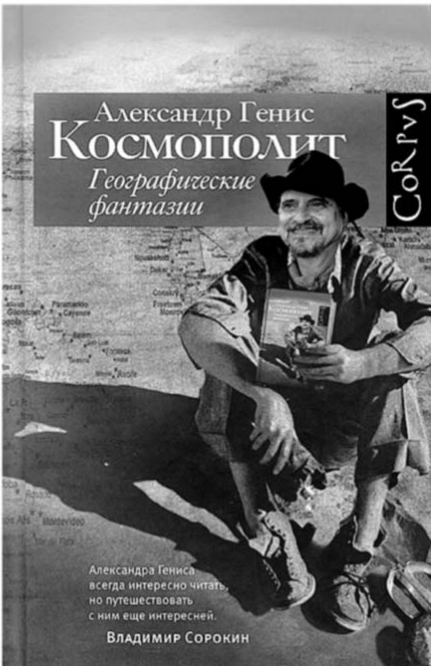



Александр Генис
Дзен футбол
и другие истории
«Со стороны нельзя судить, кто прав в этой игре. Изнутри это понят еще труднее».


Александр
Генис
Фантики
[museum]
CoRpuS

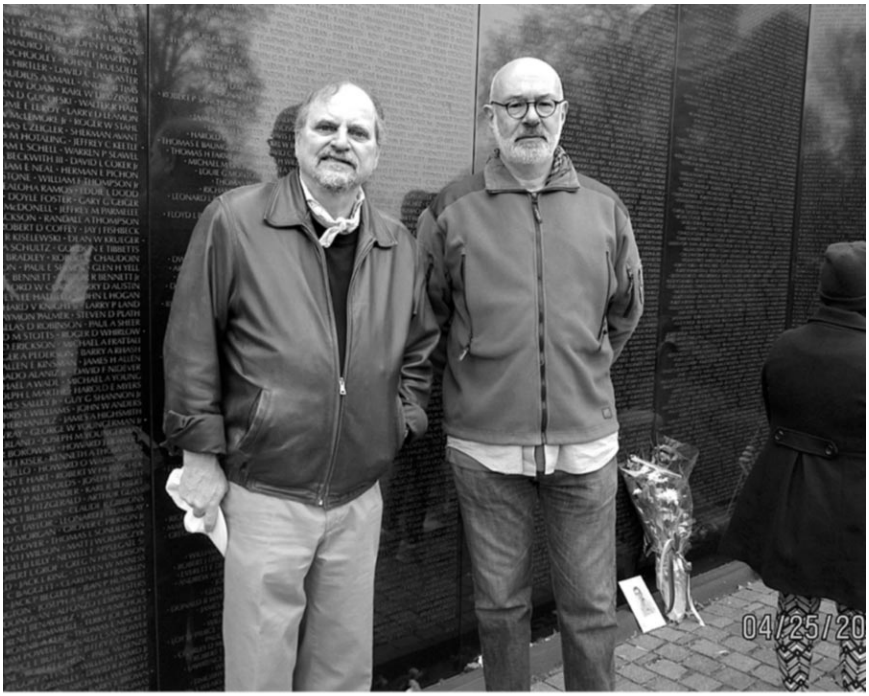

Александр
Генис
6
пальцев

ДЕТАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ
НАСЛАЖДЕНИЯ
·ИЗ КНИГ·
АЛЕКСАНДР
ГЕНИС
УРОКИ
ЧТЕНИЯ
КАМАСУТРА
КНИЖНИКА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ·АСТ·


Александр Генис
Космополит
Географические
фантазии
CoRpuS
Александра Гениса
всегда интересно читать,
но путешествовать
с ним еще интересней.
Владимир Сорокин

Борис Парамонов — великий эрудит и верный собутыльник. Пора признаться, что он часто появляется на моих страницах под псевдонимом Пахомов.

Виталий Комар дожил до того, что соц-арт опять стал актуальным. Катскильские горы, 2014.



Вашингтон, 2015. Филолог и дипломат Илья Левин работал в самых экзотических странах — от Эритреи до Туркмении, и всюду делал непревзойденную хреновую настойку.

С тех пор, как 12 лет назад Дмитрий Муратов позвал меня работать “писателем в газете”, я прямо на глазах читателей пишу книги. Включая эту. Москва, редакция “Новой газеты”, 2013.

Нью-Йорк, 2010-е. В студии “Свободы” с Соломоном Волковым. Наши радиодиалоги тянутся уже четверть века, но нам по-прежнему есть о чем спорить.

Москва, 1991. Алик Батчан занимался головоломным кино, но работая корреспондентом на всех постсоветских войнах, носил (я сам видел) бронежилет.

Нью-Йорк, 1990-е. Хвостенко поет у нас дома на Хеллоуин в шапке с енотовым хвостом.

Нью-Йорк, 1990-е. Леша Лосев у нас в гостях. Мы всегда были “на вы”, яростно спорили о писателях и любили кормить друг друга домашним.

Любимая фотография вдовы Бахчаняна. Вагрич, как всегда, иллюстрирует телефонный разговор, возможно — со мной.

APAVU NAMS
Schwarzkopf
WELLA
KÉRASTASE
maria nila
Рига, 2015. Обратный адрес: Суворова, 8, предпоследний этаж, дождь.
05/18/2015